

Жизнь Замечательных Людей
СЕРИЯ БИОГРАФИЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ИОСИФА ГЕНКИНА

СУВОРОВ

К.ОСИПОВ

*Се.
№ 2100.*

7-8
выпуск
/127-128/

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОСКВА

Annotation

Книга посвящена жизненному пути исторической личности — Александра Васильевича Суворова. Писатель, дипломат, военный руководитель, непобедимый полководец — таков образ Суворова, одного из замечательнейших представителей русского народа.

- [К. Осипов](#)
 -
 - [ВВЕДЕНИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ДЕТСКИЕ ГОДЫ СУВОРОВА](#)
 - [СУВОРОВ — СОЛДАТ](#)
 - [БОЕВОЙ ДЕБЮТ](#)
 - [«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»](#)
 - [СУВОРОВ В ПОЛЬШЕ](#)
 - [ПЕРВАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [В СТЕПЯХ ПРИВОЛЖЬЯ И КУБАНИ](#)
 - [ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ](#)
 - [ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ](#)
 - [ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ](#)
 - [СНОВА В ПОЛЬШЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ССЫЛКА](#)
 - [В КОНЧАНСКОМ](#)
 - [ВЫЕЗД В ВЕНУ](#)
 - [ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ](#)
 - [ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ](#)
 - [ЛИЧНОСТЬ СУВОРОВА](#)
 - [ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД](#)
 - [ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ](#)
 - [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
 - [I. ПРИМЕЧАНИЯ](#)
 - [II. ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИИ В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУВОРОВА](#)
 - [III. БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
-

**К. ОСИПОВ
СУВОРОВ**



ВВЕДЕНИЕ

В галерее исторических личностей Суворову принадлежит особое место. Это, бесспорно, одна из своеобразнейших индивидуальностей, встречавшихся в мировой и, тем более, русской истории. Яркий военный талант, смело отринувший современную ему военную теорию и руководствовавшийся собственными, совершенно оригинальными методами, он редко находил должную оценку даже у передовых людей своего времени. Соотечественники не умели понять его; в эпоху, когда, по словам Пушкина, «не надо было ни ума, ни заслуг, ни дарований, чтоб занять второе место в государстве», целеустремленная и независимая личность Суворова, не унижавшегося до придворных интриг, не могла рассчитывать на признание. Иностранцы терялись в противоречивых суждениях. Они считали Суворова «генералом без диспозиции», чем-то вроде кулачного бойца, который, отвергая все правила боя, лезет в драку напролом. Ярче всех выразил это Клаузевиц, беспелляционно окрестивший Суворова «ein roher Naturalist»^[1]; это мнение имело наибольшее число приверженцев, начиная с Павла I в вплоть до значительной части позднейших исследователей. Даже Фридрих II, чувствовавший мощь военного гения Суворова и советовавший полякам всячески избегать столкновений с ним, не мог составить ясного представления о нем. Наполеон ограничился высказыванием, что «у Суворова душа великого полководца, но нет головы такового». И наряду с этим адмирал Нельсон писал Суворову: «Меня осыпают наградами, но сегодня удостоился я величайшей: мне сказали, что я похож на вас. Горжусь, если я, ничтожный по делам, похожу на человека великого»; просвещенный, талантливый полководец де Линь признавал в Суворове великого военного вождя, а один из соратников Суворова, принц Кобургский, благоговел перед ним.

Столь резкое различие в суждениях о деятельности Суворова покажется, быть может, менее странным, если вспомнить, что вся жизнь его протекала под знаком кажущихся противоречий и глубокой неудовлетворенности. Суворов достиг высших ступеней славы: к концу своей жизни он имел титул графа Рымникского, князя Итальянского, графа Священной Римской Империи, фельдмаршала русской и австрийской армий, генералиссимуса сухопутных и морских русских сил, великого маршала пьемонтских войск, наследственного принца сардинского

королевского дома, гранда короны, был кавалером всех русских и многих иностранных орденов. И, несмотря на это, через всю биографию Суворова красной нитью проходит драма непризнанности. В течение всей своей деятельности Суворов страдал от мысли, что его обошли, и на самом деле, на протяжении его долгой жизни можно насчитать очень немного дней, когда он пользовался заслуженными почестями.

Однако изучение политической обстановки того времени, с одной стороны, и раскрытие сложного психологического рисунка личности Суворова, с другой, позволяют об'яснить основные коллизии его жизни.

Суворов жил и действовал в эпоху расцвета чиновничье-дворянской монархии, наступившего в царствование Екатерины II, военная политика которой диктовалась, в первую очередь, интересами крепостнического дворянства. Между тем специфические личные качества Суворова заключались не только в его исключительном военном таланте, но и в том, что он был чужд дворянской спесивости по отношению к русскому солдату, умел понять его желания и потребности и показал всему миру, какую несокрушимую силу представляет этот солдат, если им правильно руководить.

Благодаря своему пронизательному уму и тесной связи с русским солдатом Суворов отчетливо видел бездарность и гнилость того правительства, которому служил, — и все-таки он верно служил ему. Далеко опередив свою эпоху в области военного искусства, он не смог опередить ее в области социальных воззрений. Он ограничивался частными протестами против интриганства и угодничества, против бессмысленных жестокостей в покоренных странах, против пруссифицирования русской армии, но по зову правительства он послушно отдавал ему свое огромное военное дарование. Согласно своим правилам, он сокрушал военных противников, даже если идейно относился к ним без вражды (как это бывало, например, во время польских войн).

Однако Суворов не только не примкнул к правительственному лагерю, но был к нему в постоянной фронде, — и, конечно, не был там принят, несмотря на пожалованные ему внешние знаки отличий. Внутренний конфликт тревожил его всегда и приводил даже к неоднократным просьбам о разрешении перехода на иностранную службу. Русская действительность XVIII века наложила на всю жизнь Суворова свою тяжелую лапу.

Уяснение этой исторической обреченности Суворова тем более необходимо, что она не была показана никем из его многочисленных русских и заграничных биографов, чьи приемы исследования оставались вне марксистско-ленинской идеологии и методологии.

Суворов был не из тех людей, которые легко и радостно проходят свой путь. Он не принадлежал и к числу тех, кто стремится быть понятым окружающими и с этой целью поясняет причины своих поступков. Тем более следует отыскать эти причины, рассмотреть ту сложную обстановку, в которой жил и действовал знаменитый русский полководец.

Показать во весь рост образ этого замечательного представителя русского народа, гениального военачальника и человека со стальной волей и неиссякаемой жизненной силой — такова давно назревшая ответственная задача, которую по мере сил своих попытался выполнить автор.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ДЕТСКИЕ ГОДЫ СУВОРОВА

В своей автобиографии, представленной Суворовым в 1790 году в Герольдмейстерскую контору в связи с пожалованием ему графского достоинства, он так устанавливает генеалогию своего рода: «В 1622 году, при жизни царя Михаила Федоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор и, по их челобитью, приняты в российское подданство, именуемы „честные мужи“, разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовыми».

Позднейшими исследователями в эту родословную внесены некоторые поправки: предки Суворова прибыли из Швеции в Россию еще при московском великом князе Симеоне Гордом (сыне Ивана Калиты), то есть в середине XIV столетия. Прибывшие «мужи честны» Павлин с сыном Андреем имели в числе своих потомков Юду Сувору, от которого и пошел род Суворовых. Таким образом, к моменту рождения знаменитого полководца род этот жил в России уже около четырехсот лет.

Дед Суворова, Иван Григорьевич, служил при Петре I в Преображенском полку в должности генерального писаря. Работая постоянно на глазах государя, он был ему, разумеется, хорошо известен, и когда в 1705 году у него родился сын Василий, крестным отцом новорожденного стал сам Петр. Впоследствии, когда крестнику исполнилось пятнадцать лет, Петр взял его к себе денщиком и переводчиком. Вскоре Петр отправил его за границу для изучения строительно-морского дела. Из-за границы Василий Суворов привез, между прочим, переведенную им и выпущенную в 1724 году книгу Вобана «Истинный способ укрепления городов, издание славного инженера Вобана». После смерти государя Екатерина I выпустила Василия Суворова в Преображенский полк сержантом, и с этого началась чиновная карьера деловитого юноши. В начале сороковых годов он был бергколлегии прокурором в чине полковника, а в пятидесятых годах получил генеральский чин и даже был недолгое время прокурором сената.

Василий Иванович Суворов был небогат: он имел около 200 душ крестьян; кстати сказать, он был чрезвычайно скуп и передал в некоторой мере эту черту своему сыну.

В 1720 году он женился на Авдотье Федосеевне Мануковой (дочери дьяка) и имел от этого брака двух дочерей и сына Александра.

Александр родился 12 ноября 1730 года в Москве, в доме,

находившемся на Большой Никитской улице.

Со времен Петра I каждый дворянин обязан был вступать в военную службу, притом проходя ее с нижних чинов. Дворяне нашли способ приноровиться к этому закону: они записывали своих сыновей в гвардию при самом их рождении. Живя в родительском доме, мальчик год за годом подымался по лестнице служебной иерархии. В записках Андрея Болотова находим описание того, как происходило подобное повышение. «В сие время приехал какой-то генерал для смотрения полку нашего, и был покойным отцом моим угощаем. Я при сем случае пожалован был сим генералом в сержанты, ибо сам покойный родитель мой не хотел никак на то согласиться, чтоб меня произвестъ в сей чин, совестясь, чтобы его тем не упрекали. Но как сему гостю я отменно полюбился за то, что будучи ребенком, умел порядочно бить в два барабана вместо литавр при игрании на трубах, то взяв сие в предлог, сделал он сие учтивство в знак благодарности за угощение хозяину»^[2]. К своему совершеннолетию такой юнец переводился в армию капитаном, а то и штаб-офицером. Не имея жизненного опыта, совершенно не зная военной службы, он становился начальником поседевших в боях людей. «Молодой человек, записанный в пеленках на службу, в 20 лет имел уже чин майора и даже бригадира, выходил в отставку, имел достаточные доходы, жил барином привольно»^[3]. Впоследствии одним из первых декретов Екатерины II будет запрещение принимать в гвардию рядовыми молодых людей ниже пятнадцатилетнего возраста. Но в год рождения Суворова обычай этот никем не оспаривался. Сам Василий Иванович Суворов числился в то время в Преображенском полку, хотя никогда не бывал в нем; подобных «мертвых душ» в этом полку было больше, чем действительного состава.

Однако, по иронии судьбы, будущий генералиссимус не был записан при рождении в полк. Отец предназначал его к «цивильной карьере». Он вообще не благоволил к военной деятельности, а тут еще мальчик оказался хилого сложения, на вид болезненный. Как было пустить единственного сына по пути бранных невзгод?

Это решение отца в дальнейшем неожиданно обернулось для Суворова благоприятной стороной: вынужденный пройти солдатскую службу по-настоящему, он сумел глубоко ознакомиться с бытом и нравами русских солдат.

Но для маленького Александра было избрано гражданское поприще. Отец не удосужился позаботиться о серьезной подготовке сына. Занятый служебными и хозяйственными делами, а того больше, опасавшийся

расхода на преподавателей, он мало обращал внимания на воспитание мальчика. Только природные дарования и неукротимая любознательность воспрепятствовали Александру сделаться типичным «недорослем» со скудным багажом поверхностных и бессистемных знаний. Отсутствие руководства в первоначальных занятиях сказывалось в продолжение всей жизни Суворова: в его обширном образовании всегда чувствовались пробелы, а слог и стиль его страдали, при всей их яркости, существенными неправильностями. Тем не менее, Александр даже самоучкой сумел приобрести больше знаний, чем это было свойственно сверстникам-дворянам его круга. Он начал знакомиться с иностранными языками, занимался арифметикой. Но все это было на втором плане; главные его интересы заключались в другом.

Памятуя о былой работе над переводом Вобана, Василий Иванович подобрал недурную библиотечку по военным вопросам. Там были Плутарх, Юлий Цезарь, жизнеописание Карла XII, биография виконта Тюрена, знаменитый трактат Морица Саксонского, записки Монтекукули. Пытливый ум мальчика нашел богатую пищу в этих книгах. Он перечитывал их без всякого разбора, одну за другой, но отовсюду выбирал и сохранял в памяти крупницы полезных сведений. Постепенно он разобрался — насколько это было ему доступно — в основных приемах великих полководцев древности. Сидя по целым дням в пустой библиотеке, он разыгрывал настоящие сражения: переходил с Аннибалом через Альпы, воевал с Цезарем против галлов, совершал молниеносные переходы с Морицем Саксонским.

Детское воображение Александра было поражено картиной военных подвигов, и только в эту сторону устремились все его помыслы.

С проявившимися уже в детстве упорством и настойчивостью он начал готовить себя к военной деятельности. Это выражалось не только в штудировании специальных книг, но и в целой системе самовоспитания, которой подверг себя мальчик. Будучи от природы болезненным, легко подверженным простуде, он поставил себе целью закалиться; для этого он обливался холодной водой, не надевал теплого платья, скакал верхом под проливным дождем и т. д. Домашние удивлялись странностям ребенка, отец между делом читал ему нотации, пытался отвлечь от чтения военных книг. Все это способствовало еще большему самоуглублению мальчика, усилению его природной замкнутости и некоторой нелюдимости и еще больше заставило его пристраститься к облюбованному им поприщу. В конце концов, Василий Иванович махнул рукой на упрямого ребенка, а окружающие уже тогда окрестили его «чудаком». Эту кличку Суворов

пронес через всю свою семидесятилетнюю жизнь, и она неизменно свидетельствовала не столько об его странностях, сколько о непонимании его, да еще об ограниченности тех, кто награждал его такой кличкой.

Нет сомнения, что, подростки, Александр сумел бы настоять на своем и пойти не по тропе намеченной для него отцом гражданской деятельности, а по военной. Но тут счастливая случайность помогла ему. Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, к его отцу приехал старинный приятель, генерал Ганнибал, увековеченный Пушкиным под именем «Арапа Петра Великого». Василий Иванович со вздохом поведал приятелю о причудах и упорстве сына. Заинтересованный Ганнибал прошел к мальчику.

Сидя в своей комнате. Александр предавался любимому занятию — разыгрывал одно из знаменитых сражений. Ганнибал стал с интересом наблюдать. Вскоре он заметил, что это не просто игра: мальчик довольно умело ориентировался в тактических сложностях маневра. Ганнибал стал подавать свои советы. Маленький Суворов ловил их на лету, иногда соглашался, иногда спорил. Завязалась оживленная беседа о военных правилах, о великих полководцах — и старый генерал поразился меткости суждений мальчика. Он вернулся к Василию Ивановичу и категорически заявил, что вопрос о призвании Александра решен им самим, и притом вполне правильно.

— Если бы жив был батюшка Петр Алексеевич, — добавил он, — поцеловал бы его в лоб и определил бы обучаться военному делу.

Суворов-отец, вероятно, и без того испытывал беспокойство, предвидя наступающие стычки с сыном, не желавшим примириться с чиновничьей службой. Положившись на авторитет Ганнибала, он безоговорочно согласился на перемену своих планов: Александру было дано согласие на военную карьеру.

В следующем после описанного эпизода году отец записал Александра в гвардию. Теперь оказалось, что мальчик не был своевременно записан в полк: вместо того, чтобы «дослужиться» уже до офицерских чинов, Александр должен был добывать офицерский патент действительной солдатской службой. Он был зачислен в Семеновский полк в качестве солдата, но с оставлением пока в родительском доме.

«1742 года октября 22-го дня по Указу Е. И. В. лейб-гвардии Семеновскому полку господа полковые штапы^[4] приказали: явившихся с прошениями нижеозначенных недорослей, а именно... Александр Суворова... написать лейб-гвардии в Семеновский полк в солдаты сверх комплекта без жалованья и для обучения указных наук, со взятъем обязательств от отцов их, отпустить в дома их на два года».

Семеновский полк насчитывал в это время тринадцать рот — гренадерскую и двенадцать мушкатерских; Александр числился в 8-й мушкатерской роте.

Когда истекла двухлетняя отсрочка, Василий Иванович, по заведенному обычаю, выхлопотал продление ее еще на три года.

До нас не дошло никаких известий о том, как протекала жизнь подраставшего Суворова в эти пять лет.

«Указные науки», за которые должен был приняться дома двенадцатилетний Суворов, были довольно многочисленны: «арифметика, геометрия, тригонометрия, планов. геометрия, фортификация, часть инженерии и артиллерии, из иностранных языков, также военной экзерциции и других указных наук». В большинстве случаев «недоросли» выполняли эту программу более чем поверхностно. Что касается Суворова, то отец мог дать ему некоторые указания по фортификации и артиллерии, иностранные языки он начал изучать еще раньше, но серьезных занятий любознательный мальчик был попрежнему лишен из-за скупости отца.

За это время Александр, еще ни разу не появлявшийся в полку, начал продвижение по лестнице чинов: в 1747 году он был произведен в капралы — попрежнему сверх комплекта и без жалованья, «на своем коште».

Наконец, 1 января 1748 года он прибыл в полк и был прикомандирован к 3-й роте. С этого дня началась действительная служба будущего генералиссимуса.

СУВОРОВ — СОЛДАТ

Длинная, геометрически ровная линия солдат... Каждый статен, щегольски одет; волосы тщательно убраны и напудрены; у кирасиров и карабинеров черные подчесанные усы; тесаки горят, как огонь; ружья чисты в отполированы, как зеркало.

Так выглядела русская армия в середине XVIII столетия. Но за этой молодцеватостью, за внешним лоском скрывалось совсем другое. В сиявшем тесаке полоса оказывалась заржавевшей. Из ружья невозможно было метко стрелять: ложе его было устроено так, чтобы прямо лежать на плече, но, являясь прямым продолжением ствола, оно исключало возможность прицела. «Люди отменно хороши, — писал генерал Ржевский, — но как солдаты слабы; чисто и прекрасно одеты, но везде стянуты и задавлены, так что естественных нужд отправлять солдат не может: ни стоять, ни сидеть, ни ходить покойно ему нельзя».

Чтобы солдаты в марше не гнули колен, им подвязывали лубки так, что положенный на землю солдат без посторонней помощи не мог подняться. В некоторых полках был заведен специальный станок, в который завинчивали солдат на несколько часов, чтобы сделать «попрямее». Солдатам, назначенным в караул, начинали устраивать прически за сутки, и те, которые были «убравши», не могли спать иначе, как сидя.

Непомерно узкая, связывающая все движения одежда губительно отзывалась на здоровье солдат. Вновь прибывавших рекрутов не решались даже одевать по форме сразу, а вынуждены были приучать к ней постепенно, «дабы не вдруг связать и обеспокоить».

Когда же рекрут обживался, становился полноправным, вернее, «полнообязанным» солдатом, тогда с него взыскивали за малейшее нарушение. Если солдат плохо стрелял — это было в порядке вещей, но если в его головном уборе оказывалась незначительная неправильность, его жестоко наказывали.

Современники свидетельствуют, что в лагере не проходило часа без палочной экзекуции, без криков истязуемых. Исправным унтер-офицером и офицером считался тот, кто больше дрался, «ибо тиранство и жестокость придавали название трудолюбивого и исправного».

Службы никто не знал; офицеры были сплошь невежественны. Поэт Державин, — состоявший в шестидесятых годах фельдфебелем в Преображенском полку, сообщает, что в его роте ни один офицер не знал

команды. При выступлении в лагерь, капитан роты, не имевший понятия, что следует делать, возложил командование на фельдфебеля из старых солдат.

Большинство офицеров не имело не только строевого, но и общего образования. За многих полковых командиров подписывали бумаги их адъютанты. Даже через несколько десятков лет, при Павле I, были неграмотные губернаторы, во времена же поступления Суворова в армию это было обычным явлением.

Солдаты были нищи и голодны; под туго стянутым поясом было всегда голодное брюхо. Армейские офицеры также жили в бедности. Екатерина II писала: «Слышно нам, яко бы в полках армейских многие обер-офицеры, содержащие себя одним только жалованьем, такую претерпевают нужду и бедность, что для вседневной пищи иные рады были бы иметь место в обществе артелей солдатских». Нечистые на руку полковые командиры производили огромные вычеты из офицерского жалованья под предлогом необходимости обновить офицерскую одежду: в результате малосостоятельные армейские офицеры довольствовались «самою гнусною пищею».

Иначе обстояло дело в гвардии. Все, что имело достаток в богатство, стремилось туда в поисках легкой карьеры. Офицеры вели жизнь изнеженную, роскошную, исполненную развлечений. Вся социально-политическая обстановка того времени благоприятствовала этому: незадолго перед тем пал Бирон; воцарившаяся Елизавета Петровна, всемерно потворствовавшая дворянству, сделала развлечения главным занятием своего двора. Задавленные непомерными поборами крестьяне оплачивали «вечный праздник» веселой царицы. Дворяне со средствами втянулись в роскошную жизнь, пример которой подавала сама императрица. Не только офицеры, но даже унтер-офицеры гвардии, состоявшие в подавляющем большинстве из дворян, проходивших при полках военную выучку, участвовали в празднествах. Они приглашались даже на высочайшие балы.

«...В маскараде, который по высочайшему соизволению назначен быть в будущую пятницу... быть всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранному с фамилиями... Того ради в ротах и заротной команде всем чинам об'явить и кто из дворян пожелает быть в том маскараде, о тех подать в полковую канцелярию ведомости неотменно». Этот приказ, изданный в 1751 году, относился к обер-и унтер-офицерам. Об'явление о бале читалось в ротах, наряду с другими приказами.

Энгельгардт вспоминает, что когда он был записан сержантом в Преображенский полк, великий князь Павел Петрович сказал его отцу: «Пожалуй, не спеши отправлять его на службу, если не хочешь, чтобы он развратился».

Щегольство фронта и общее военное невежество, забитость солдат и безграмотность начальников, нужда одних и роскошь других — вот чем была русская армия в момент появления в ней Суворова.

Бросим теперь беглый взгляд на то, что представлял Семеновский полк, когда в него прибыл новый семнадцатилетний капрал.

Местом расположения полка являлась Семеновская слобода в С.-Петербурге, простиравшаяся от реки Фонтанки до Шушерских болот (близ Пулкова). Слобода была разбита на перспективы и прямые улицы; каждой роте был отведен особый участок, на котором строились дома, отнюдь не напоминавшие казармы. В комнате помещалось обычно четыре человека. Многие жили семьями, и в приказах того времени нередко встречались разрешения лицам разного звания селиться у своих родственников — солдат и офицеров.

Столь льготные условия об'яснялись тем, что полк состоял в подавляющем большинстве из дворян, что и определяло как отношение к нему общества, так и характер службы.

Одна из важных льгот, дававшаяся солдатам из дворян, заключалась в разрешении жить на вольных квартирах, вне черты расположения полка. Суворов воспользовался этим правом и поселился у своего дяди, капитана-поручика Преображенского полка; там он жил в течение всего периода своей солдатской службы. Другая льгота состояла в разрешении солдатам-дворянам брать с собой крепостных; некоторые приводили с собою в полк по пятнадцати-двадцати человек дворни. При получении приказа о выполнении тех или других хозяйственных поручений, дворянам разрешалось в ряде случаев посылать вместо себя крепостных. Приводим один из приказов, дающий понятие об этом: «Ниже писанных рот солдат: князь Стокасимова... как ни караулы, так и на работы до приказу не посылать понеже оные, вместо себя, дали людей своих в полковую работу для зженья угля». Суворов также имел нескольких крепостных, но, повидимому, не более двух-трех.

Полком командовал граф Апраксин. Однако, согласно введенному Петром I коллегиальному устройству, имевшему целью уменьшить злоупотребления, роль командира полка сводилась к председательствованию в «полковом штапе»; даже приказы по полку не подписывались командиром, а отдавались от имени полкового штаба.

Строевому учению не придавали большого значения: полк еще обстраивался, да помимо того, длительный срок службы внушал уверенность, что солдаты успеют обучиться. В приказе от 1 мая 1748 года можно прочесть: «Ежели на сей неделе будет благополучная погода, то господам обер-офицерам начать роты свои обучать военной экзерциции».

Таким образом, служебное положение солдат-дворян в гвардии не было тяжелым. Тем более это относится к тогдашним унтер-офицерам. На них возлагались серьезные поручения, их посылали в ответственные командировки за границу, давая широкие полномочия. Унтер-офицер резко отличался от простых солдат, даже дворянского происхождения. При различных служебных нарядах унтер-офицеры и капралы перечислялись, наряду с офицерами, поименно, в то время, как солдат наряжали общим числом.

Но Суворов не отделился от «нижних чинов», не замкнулся в узком кастовом, кругу. Его тянуло узнать этих неведомых людей, одерживавших с Петром I и с Минихом столь славные победы и так покорно подставлявших свои спины под палку любого офицера. Суворов сызмала привык общаться с простым народом. В нем не было презрительного высокомерия выросших в хоромах дворян, до зрелых лет полагававших, что хлеб растет на полях в готовом виде. Изнеженность и праздность были ему непривычны и не привлекали его. Он охотно общался с «солдатством». Несомненно, что отличавшее его впоследствии умение подойти к солдату, вдохновить и увлечь за собой во многом проистекало от этого длительного соприкосновения с солдатской массой. В процессе своего сознательного сближения с солдатами Суворов сам подвергся сильному влиянию солдатской среды. Будучи по натуре глубоко народным, он всем существом откликнулся на многие взгляды и обычаи, которые были присущи русскому солдату. Здравый смысл, грубоватый юмор, умение довольствоваться малым, мужество, лишенное театральных эффектов — все эти и им подобные свойства подхватывались на лету Суворовым, во многом определяя его нравственную физиономию. Тогда же, вероятно, у него начало складываться убеждение в необходимости применения такой боевой тактики, которая бы наиболее отвечала национальным особенностям русского солдата: энергии, храбрости и выносливости.

Но все-таки он оставался для солдат дворянином, хотя и несравненно более близким и понятным, чем другие начальники. С высшими дворянами, своими сослуживцами, он не сближался. Почти каждый из них имел свою квартиру, шикарный выезд, ливрейных слуг. Что было делать в этой обстановке провинциальному капралу из среднепоместных дворян, не

имеющему ни денег, ни титулов, а главное, не расположенному к подобному образу жизни?

Время, которое его сотоварищи проводили за картами и вином, он проводил за книгами. Суворов занимался дома и в полковой школе. Не пренебрегал он и полковой службой, неся дежурства, аккуратно посещая ученья, работая в казарме.

Однако, следует опровергнуть распространенный взгляд, будто Суворов постоянно стремился вынести на себе все тяготы «солдатской лямки». Мы видели, что Суворов не преминул воспользоваться основными привилегиями, которые давало дворянское происхождение: возможностью проживать на частной квартире и распоряжаться крепостными «для услуг». При передвижениях полка он иногда двигался не походным порядком, а отдельно, на перекладных; в Москве, во время командировки, он, вместо тяжелой караульной службы, которую нес полк в городе, устроился на дежурство в «Генеральный сухопутный гофшпиталь» и проводил там по нескольку недель (однажды — восемь недель, не сменяясь, вопреки правилам)^[5].

Вполне естественно, что молодой Суворов ограничивал свое «спартанство» и не прочь был обеспечить себе досуг и некоторые удобства: ничего полезного он не мог вынести ни из караулов, ни из редких строевых учений, лишенных обычно боевого характера и сводившихся к «метанию ружьем», к перестроениям и церемониальному маршу. Обуреваемый в мечтах своих страстным стремлением к военному подвигу и славе, он дорожил временем для занятий. Все же, по сравнению с остальными своими сверстниками, Суворов был гораздо более ревностным служакой: все основные обязанности — строевые и нестроевые — он, как правило, исполнял аккуратно и добросовестно^[6].

Благодаря этому он был в полку на хорошем счету. В конце 1749 года, то есть через два года по прибытии в полк, он был произведен в подпрапорщики, а в 1751 году — в сержанты. Высокое мнение начальства сказалось и в том, что с первых месяцев своей службы Суворов начал получать почетные командировки. В мае 1748 года он был включен в сводную команду Преображенского и Семеновского полков для торжественного «провождения» военного корабля в Кронштадте, неоднократно бывал командирован в Москву.

Характерно, что даже ценившие Суворова начальники, а тем более его сотоварищи, относились к нему с некоторым недоумением. Им казались странными его пристрастие к солдатам, его демократические приемы;

непонятны были и прилежание в занятиях и добросовестность в службе. Среди разгульных гвардейцев он был какой-то белой вороной. «Чудак», — пожимали плечами юные дворяне, и полковое начальство втайне соглашалось с ними.

В 1750 году Суворов был назначен бессменным ординарцем к одному из первых лиц в полку, члену полкового штаба, генерал-майору Соковнину. Последовавшее вскоре производство в сержанты было, сколько можно судить, по инициативе последнего. Соковнин же выдвинул кандидатуру Суворова для посылки за границу в качестве курьера с депешами. Этого было нетрудно добиться благодаря знанию Суворовым иностранных языков. Когда выяснилось, что первоначально намеченный к посылке офицер заболел, послали Суворова. Командировка длилась с марта по октябрь 1752 года; Суворов посетил Вену и Дрезден. Он с интересом осматривал чужие страны, но, находясь впервые на чужбине, остро осознал, как дорога ему его темная, многострадальная родина. Как-то он повстречал в Пруссии русского солдата. «Братски, с истинным патриотизмом расцеловал я его, — вспоминал об этом впоследствии Суворов, — расстояние состояний между нами исчезло. Я прижал к груди земляка». Сквозь расплывчатые контуры молодого сержанта в этой сцене уже проглядывает будущий полководец, за которым охотно шли солдаты, видя, что перед лицом служения родине для него не существует «расстояния состояний».

Время шло, а Суворов все не получал производства в офицеры. Служебную репутацию он имел хорошую, так что единственную причину этого можно видеть в существовавшей тогда общей медлительности производства: многие дворяне дожидались офицерского патента по десяти-пятнадцати лет. Имело значение и то, что он поздно начал свою службу. Иные сверстники Суворова в то время были уже генералами: Румянцев получил генеральский чин на двадцать втором году жизни, Н. Салтыков — на двадцать шестом, Репнин — на двадцать девятом и т. д. Суворов, конечно, очень досадовал на необходимость столь длительного пребывания в безвестности. Впоследствии, когда он «взял реванш», обогнав всех этих блестящих генералов, он удовлетворенно говорил:

— Я не прыгал смолodu — зато теперь прыгаю.

Верный своему правилу извлекать из всего пользу для своей военной деятельности, он продолжал знакомиться с солдатской жизнью и все больше заимствовал из нее такие черты, которые в будущем сделали его единственным в своем роде «генералом-солдатом».

Наконец, в 1754 году — через шесть с лишним лет после прибытия в

полк — Суворов был произведен в поручики. 10 мая того же года последовало назначение его в Ингерманландский пехотный полк.

Мы уже отмечали, что образ жизни Суворова, его замкнутость, строгое соблюдение выработанных им для себя правил создали ему и в Семеновском полку репутацию «чудака». Однако внимательный наблюдатель без труда мог заметить, что этот щедушный, странный молодой человек представляет собою неординарную личность. Ближайшее начальство Суворова, капитан его роты, неоднократно говорил о нем:

— Этот чудак сделает что-нибудь чудное.

БОЕВОЙ ДЕБЮТ

В Ингерманладском полку Суворов провел два года. Службе он отдавал мало времени; серые полковые будни с кое-как проводимыми ученьями, с неизбежно следовавшими за ними экзекуциями, с мелкими дразгами господ офицеров — все это претило ему. Он предпочитал числиться в отпуску и жить в родной деревне. Иногда, послушный отцовской воле, он помогал Василию Ивановичу в хозяйстве, вел хлопоты в «присутственных местах». Но попрежнему он пользовался каждой свободной минутой, чтобы продолжать свое самообразование: изучал историю, инженерное и артиллерийское дело, уделял много времени литературе. В этот период Суворов перечел произведения лучших писателей и поэтов того времени и на протяжении всей дальнейшей жизни охотно цитировал их. В процессе чтения он нередко делал выписки. «Я верю Локку, — говорил он, — что память есть кладовая ума; но в этой кладовой много перегородок, а потому и надобно скорее все укладывать, куда следует».

Тот, кто много читает, неизбежно испытывает в определенный момент желание попробовать писать самому. Суворов не явился исключением. Он избрал модную тогда форму — «Диалоги в царстве мертвых» — и в течение года (1755) написал два диалога — Кортца с Монтезумой и Александра Македонского с Геростратом. Увлечение литературой было так велико, что он решился выступить со своими произведениями перед авторитетной аудиторией.

В тридцатых годах XVIII века в Петербурге возникло первое Общество любителей русской словесности. Оно составилось из кадетов сухопутного шляхетного корпуса — одного из наиболее передовых учебных заведений того времени. Одним из деятельных членов этого общества был поэт Сумароков.

Заинтересовавшись литературой, Суворов не мог пройти мимо этого общества, — особенно, если принять во внимание военный состав его. Наезжая в столицу, он не упускал случая побывать на его собраниях. Здесь же он выступил со своими литературными опытами. Оба его произведения были напечатаны в 1756 году в издававшемся при Академии наук первом русском журнале «Ежемесячные сочинения». Журнал этот редактировался Сумароковым, который, по словам Штелина, «поставил себе законом, чтобы без присылки его стихотворения не выходила ни одна книжка

журнала». Появлявшиеся материалы подписывались начальной буквой имени их автора. Это послужило причиной недоразумения: одно из произведений Суворова было подписано инициалом С., другое — А. С. Сходство инициалов дало повод приписывать эти сочинения Сумарокову.

Мы не имеем известий о том, как были приняты суворовские «Диалоги». Литературные достоинства их очень невелики. Язык искусственный, под явным влиянием сумароковской школы. Вот, например, как заканчивает Кортец свою речь:

«Ты имел также многие почтенные достоинства, коими подлинно превозвышел мексиканцев; но пороки твои были причиною твоей гибели. Благость моя с союзниками моими и милосердие мое с побежденными; гордость, же твоя и тиранство твое над подданными твоими послужили мне главною помощью в завоевании царства Мексиканского и в покорении оною Гишпанской державе».

Как видим, слог и стиль сочинения совершенно не напоминают того чеканного, лаконического языка, которым отличался впоследствии Суворов.

Содержание «Диалогов» также не блещет оригинальностью, но зато представляет биографический интерес.

В первом из них пылко доказывается, что герою приличествует милосердие. Во втором проводится сравнение между подвигами Александра Македонского и поступком Герострата: Александр стремился к истинной славе, а Герострат, сжигая храм, был во власти недостойной жажды известности.

Эта вторая тема — о военной славе — была, нужно полагать, особенно сродни молодому поручику.

Занятия хозяйственными и литературными делами не остановили служебного продвижения Суворова. В начале 1756 года он был назначен обер-провиантмейстером в Новгород, через десять месяцев — генерал-аудитор-лейтенантом с состоянием при военной коллегии, еще через месяц переименован в премьер-майоры. Таким образом, вместе с повышением в чине Суворов был переведен со строевой службы на хозяйственную и юридическую. Повидимому, в этом сказалось влияние его отца, имевшего крупные связи в интендантстве, занимавшего там заметное положение и попрежнему не одобрявшего чисто военной карьеры своего сына.

Но в 1757 году Россия вступила в Семилетнюю войну, и для Суворова открылась, наконец, возможность «понюхать пороху».

Сделавшаяся только в XVII веке независимым государством и, лишь в начале XVIII века возведенная до степени королевства, Пруссия вела

агрессивную, захватническую политику. При вступлении на престол Фридриха II население Пруссии состояло всего из четырех миллионов человек. Однако страна была сравнительно благоустроена, обладала четкой военной организацией и отличной армией. Хорошо обученные солдаты быстро выполняли нужный маневр; войска были подвижны, приспособлены к стремительным маршам, обладали первоклассным для того времени вооружением. В то время, как солдаты других армий делали три выстрела в минуту, прусские солдаты, благодаря тому, что ружья их были снабжены железными шомполами, могли производить пять выстрелов. Наконец, они являлись послушным инструментом в руках смелого, талантливоего полководца, каким был Фридрих. Все это делало прусскую армию грозной для ее отсталых противников. «Военная организация Фридриха Великого была наилучшей для своего времени»^[7], — отметил Энгельс. Однако, поскольку эта организация покоилась на палочном режиме юнкерской монархии, на отрыве от народных масс, которых Фридрих не привлекал к защите страны даже в самые опасные моменты, она несла в себе зародыши своей — гибели. Армия Фридриха, пополнявшаяся путем вербовки и принудительной поставки рекрутов, была сцементирована беспощадной муштровкой и мертвящей, свирепой дисциплиной. Такая армия, годная для агрессивных действий при благоприятной обстановке, не могла осуществлять «стратегию сокрушения» будущих французских армий. «Одеревенелые линии — верное отражение защищавшегося армиями абсолютизма», — указал Энгельс. Через полвека, при столкновении с более передовой, на иных началах построенной армией, прусская организация потерпела полное поражение; Иена и Ауэрштедт были тому свидетелями. Но в середине XVIII века Пруссия была мощной военной силой.

Политика Фридриха отражала захватнические интересы связанных с монархией юнкерства и торгового капитала. Цель этой политики была ясна: округлить прусские владения, захватить выгодные торговые центры и овладеть прилегающими промышленными областями. Для этого надо было воевать с соседями — ну, что ж! «Философ из Сан-Суси» отнюдь не прочь был сменить перо на шпагу военачальника.

Он начал борьбу с одним из сильнейших европейских государств — с Австрией. Пока Австрия оставалась одинокой, она не могла противостоять Пруссии. Но безудержные аппетиты Фридриха возбудили тревогу во всех правительствах. Составилась могущественная коалиция в составе Австрии, Франции, России, Польши, Швеции, Саксонии и большей части германских княжеств. В 1756 году открылись военные действия; началась Семилетняя

война.

В первый период военных действий счастье сопутствовало Фридриху: саксонский курфюрст был вынужден бежать, Дрезден был занят, австрийцы разбиты. Русская армия все готовилась к операциям, предоставляя Фридриху бить союзников поодиночке.

Именно в это время Суворова назначили в армию. Не известно в точности, была ли в этом инициатива начальства, или сам просился в армию, но во всяком случае получил он не то, к чему стремился. Его командировали в распоряжение начальника этапного пункта в Либаве, а затем, после занятия русскими войсками Мемеля, назначили туда оберпровиантмейстером. Ему было поручено снабдить провиантом двигавшуюся к театру войны армию Фермора, используя для этого течение рек. Однако сплавная операция не удалась «по неспособности реки». В следующем, 1758 году Суворову дали другое поручение: участвовать в формировании и отправке в армию резервных батальонов. Сформировав в Лифляндии и Курляндии семнадцать батальонов, он привел их в Пруссию и остался при армии без определенного назначения. Война способствовала быстрому продвижению по службе; проявленная Суворовым энергия доставила ему повышение в чине: он был произведен в подполковники.

Проницательный взор молодого офицера ясно видел недостатки организации русской армии и невежество начальствующего состава. Тысячи храбрых русских солдат пали на полях битвы, но их стойкость не принесла никакой пользы из-за бездарности командования. Апраксина сменил Фермор, Фермора — Салтыков. Салтыков все время ссорился с австрийским главнокомандующим Дауном, ездил в Петербург жаловаться на него, армия же топталась на месте.

В начале кампании прусский король пренебрежительно отзывался о русских: «Это — орда дикарей, не им воевать со мною». Вскоре он изменил свое мнение. При Цорндорфе (1758) он хотя и одержал победу, но с таким трудом, что воскликнул: «Этих русских можно перебить всех до одного, но не победить».

В августе 1759 года русско-австрийские войска нанесли под Кунерсдорфом страшное поражение армии Фридриха. После этой битвы Фридрих в отчаянии искал смерти, считая, что дело его безнадежно проиграно. «Ужели для меня не найдется ядра!» — вскричал он. Потеря 25 тысяч солдат и 172 пушек ставила его поистине в безвыходное положение, но бесталанность союзного командования и на этот раз спасла его. Естественно было ожидать, что победители займут прусскую столицу, дорога в которую была открыта. Фридрих и сам так думал; он отдал приказ

эвакуировать из Берлина архивы и вывезти королевскую семью. Но Салтыков, ссылаясь на продовольственные затруднения, приказал отступить. Он руководился при этом соображениями отнюдь не военного порядка: всем было известно пристрастие наследника престола, Петра III, к прусскому королю. Чем старше становилась Елизавета, тем большее значение приобретала при дворе партия наследника. Представители этой партии развивали тот взгляд, что полное ослабление Пруссии противоречит русским интересам, так как оно непомерно усилит Австрию. Они прилагали всяческие усилия ж тому, чтобы ограничивать действия русских войск, и отказ от использования Кунерсдорфской победы был прямым результатом этих стараний.

Битва при Кунерсдорфе была первой, при которой присутствовал Суворов; однако непосредственного участия он в ней не принимал.

В это время он состоял в корпусе князя Волконского, но часто бывал допускаем к Фермору, на которого произвел благоприятное впечатление и, которого сам высоко ценил. О Ферморе он навсегда сохранил хорошую память. «У меня были два отца, — выразился он однажды, — Суворов и Фермор». Зная отрицательное отношение Фермора к некоторым генералам, Суворов позволял себе резко критиковать распоряжения высшего командования. Когда выяснилось, что русская армия после победы не продвигается вперед и даже не преследует бегущего неприятеля, он с удивлением и горечью открыто заявил Фермору:

— На месте главнокомандующего, я бы сейчас пошел на Берлин.

Делая это смелое, характерное для него заявление, Суворов, понятно, не учитывал придворных интриг, влиявших на образ действий Салтыкова.

В конце 1759 года пришел новый приказ: Суворов назначался «к правлению обер-кригскомиссарской должности». Но ему уже было невтерпеж. Хозяйственные должности опостытели ему — он рвался к боевой деятельности. Суворов обратился к отцу с просьбой, столь настойчивой, что тот, уступая ей, возбудил ходатайство о переводе сына в полевые войска — «так как по молодым летам желание и ревность имеет еще далее в воинских операциях практиковаться». Ответ пришел незамедлительно: Суворов был оставлен в действующей армии с назначением «генеральным и дивизионным дежурным» при Ферморе.

Теперь Суворов стал заправлять штабом корпуса, которым командовал Фермор. Но и штабная работа не удовлетворяла его. Он чувствовал, что его место на полях сражений, среди «живых стен» солдат. В стремлении к боевой деятельности, он принимает участие в экспедиции на Берлин.

Экспедиция эта явилась данью, которою хотел откупиться Салтыков от

тех, кто настаивал на более активных действиях русской армии. Легкий кавалерийский отряд под начальством Тотлебена внезапно двинулся осенью 1760 года на столицу прусского короля. Одновременно туда же направился отряд австрийцев под командой фельдмаршала Ласси. Никаких серьезных военных или политических целей, — которые, несомненно, открывались в связи с занятием неприятельской столицы, — союзное командование себе не ставило. «Поелику главною целью при сей экспедиции было получение превеликой в Берлине добычи, и оною, сколько с одной стороны мы, а того еще более цесарцы прельщались, то походом сим с обеих сторон делано было возможнейшее поспешение... Но как много зависело от того, кто войдет в сей город прежде, то наши были в сем случае проворнее»^[8].

Находившиеся в Берлине три батальона не могли долго сопротивляться подступившим войскам и, спасая город от бомбардировки, отступили. Началось взятие «добычи», в котором особенно энергичное участие приняли подоспевшие австрийцы. Тотлебен потребовал четыре миллиона талеров контрибуции; после долгих споров сошлись на полутора миллионах. Тем временем казаки, совместно с австрийскими солдатами, взимали свою контрибуцию. Участвовавший в налете на Берлин Болотов записывал: «Солдаты... вынуждали из обывателей деньги, платье и брали все, что только могли руками захватить и утащить с собою... Кто опаздывал на улицах, тот с головы до ног был обдираем».

Впрочем, все это было в порядке вещей; прусская армия вела себя так же в занимаемых ею городах, и берлинцы даже преподнесли русскому коменданту 10 тысяч талеров в подарок за «хорошее и великодушное поведение».

Между тем пришло известие, что Фридрих с крупными силами идет на выручку Берлина. Услышав об этом, русские и австрийцы тотчас со всей поспешностью удалились восвояси. Единственный результат экспедиции был тот, что Салтыков получил возможность отвести от себя обвинения в «непонятной медлительности».

Суворов участвовал в берлинской экспедиции в качестве волонтера; никакой самостоятельной роли он все еще не играл.

Эта роль пришла к нему в следующем, 1761 году. Только с этого года Суворов вплотную соприкоснулся с боевой деятельностью, на этот раз в качестве хотя и скромного, но самостоятельного боевого командира. Салтыков был, наконец, смещен. Новый главнокомандующий русской армией, Бутурлин, образовал особый конный отряд под начальством генерала Берга, на который возлагалась обязанность парализовать действия

прусской кавалерии, уничтожавшей продовольственные склады русских. Берг неоднократно встречал Суворова у Фермера и составил о нем высокое мнение. К тому же, ему была известна тяга молодого офицера к боевой активности, к трудностям походов и опасностям сражений. Он предложил ему занять пост начальника штаба в своем отряде. Суворов с готовностью принял предложение. Добились согласия Фермера, и новый начальник штаба выехал к месту формирования отряда.

Русское командование действовало под руководством Бутурлина чуть ли не хуже, чем при Салтыкове. Продолжались вечные ссоры с австрийцами, все делалось без энергии и нерешительно. Фридрих укрепился в заранее выстроенном лагере при Бунцельвице; обладавшие тройным превосходством сил, Бутурлин и австрийский главнокомандующий Лаудой простояли месяц под лагерем, договариваясь о плане действий, но, так и не сумев сговориться, сняли осаду.

На фоне этой вялости резко выделялись предприимчивые действия кавалерийского отряда Берга. Первоначально этот отряд двинулся на Бреславль, прикрывая начатое Бутурлиным отступление. Под деревней Рейхенбахом он подвергся нападению пруссаков. Суворов отбил атаку артиллерийским огнем, но, вопреки будущему своему правилу, не преследовал отступившего противника.

Потянулась боевая, полная тревог жизнь.

Можно без преувеличения сказать, что русская армия не видала дотоле подобного начальника штаба. Вместо того, чтобы посылать издали директивы и распоряжения, Суворов шел в первой шеренге отряда. В рукопашных схватках, «под градом раскаленным» метких пуль он чувствовал себя, как рыба в воде. Не было стычки, в которой он не принял бы личного участия, и даже старые ветераны поражались его бесстрашию и удали.

Под Швейдницею он атаковал с шестьюдесятью казаками сотню прусских гусар; будучи отбит, пошел вторично в атаку — вновь неудачную; тогда предпринял третий отчаянный натиск и, в конце концов, опрокинул гусар.

Фридрих II отправил одного из лучших своих офицеров, Платена, во главе кавалерии на выручку осажденного Румянцевым города Кольберга. Русское командование выделило десять конных полков для противодействия Платену. Берг поручил эти полки Суворову.

«Остановлял я Платена в марше елико возможно», — свидетельствует Суворов. Иногда он прибегал к серьезным операциям: он врезался в растянутый на походе прусский корпус, едва не погибнув при этом, так как

лошадь его завязла в болоте, через которое пришлось перебираться, опрокинул левый фланг пруссаков и нанес им большие потери. Иногда же он тормозил движение Платена короткими стремительными набегами, которыми неизменно руководил лично.

Однажды Суворов переправился с сотней казаков вплавь через реку, совершил ночной переход в сорок верст, перебил около пятидесяти прусских гусар и сжег мост через реку Варту. Платену пришлось потерять много времени на наводку понтонов. В другой раз с эскадроном драгун и полусотней казаков он напал врасплох на посланных для фуражировки пруссаков, смял их и захватил двадцать пленных и две пушки. Оправившись от неожиданности, пруссаки окружили малочисленный отряд Суворова. Создалось критическое положение, но Суворов, моментально приняв решение, стал пробиваться сквозь кольцо. Он сумел не только выбиться из окружения, но даже вывести пленных, бросив только захваченные ранее пушки. Соединившись с пришедшими ему на помощь полковниками Медемом и Текелли, он возобновил атаку и принудил пруссаков отойти, нанеся им урон почти в тысячу человек.

Еще более крупное столкновение с пруссаками произошло через некоторое время у Аренсвальда. Корпус Берга получил распоряжение не пропустить отправленный Платеном под сильной охраной обоз. Суворов поскакал к Фермору просить подкреплений. На обратном пути он был застигнут грозой; потеряв ориентировку, он заблудился и наткнулся на прусский пикет. При нем было всего двое казаков. Однако он не потерял хладнокровия и, прежде чем скрыться, внимательно высмотрел неприятельское расположение. Вернувшись в отряд и переменив намокшее платье, он тотчас отдал распоряжения к битве. Смелым ударом он опрокинул прусскую кавалерию, захватив 800 пленных. Пруссаки отступили за городок Гольнау, оставив в нем пехотный отряд. Берг дал Суворову три батальона, поручив овладеть городом. Суворов стал во главе солдат, под сильным огнем выломал городские ворота, — которые безуспешно обстреливались дотоле русскими батареями, — и ворвался в город. По его собственному свидетельству, он «гнал прусский отряд штыками через весь город за противные ворота и мост, до их лагеря, где побито и взято было много в плен».

В Гольнау Суворов получил две раны: «поврежден... контузией в ногу и в грудь картечами». Лекаря подле не было. Суворов сам примочил рану вином и перевязал ее, но принужден был выйти из боя.

В этих первых боевых сшибках Суворов проявил уже многие свои качества: чрезвычайную энергию, решительность, внезапность, умение

верно нащупать слабое место противника. Полностью выявилась здесь и другая характерная черта Суворова: личное бесстрашие, переходившее в непозволительную для командира отряда удаль. В результате многолетней тренировки он закалил свой организм, но физически — в смысле мускульной силы — остался очень слаб. Тем не менее, он бросался в самые опасные места штыкового боя, вооруженный тонкой шпагой, и не раз колот ею ошеломленного такой дерзостью неприятеля.

Первые же боевые действия Суворова выделили его из числа других офицеров. Бутурлин представил его к награде, указывая, что «Суворов себя перед прочими гораздо отличил». Тот же Бутурлин особо написал Василию Ивановичу Суворову, назначенному в это время губернатором в Пруссию, что сын его «у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу».

Берг отзывался о своем начальнике штаба как о прекрасном кавалерийском офицере, который «быстр при рекогносцировке, отважен в бою в хладнокровен в опасности».

В августе 1761 года Суворова назначили временно командиром Тверского драгунского полка. Стоя во главе его, Суворов имел успешную стычку под Нейгартеном, в результате которой захватил около ста пленных. Он снова принял личное участие в битве и едва не поплатился жизнью. «Под Нейгартеном, — упоминает он в своей автобиографии, — я... врубился в пехоту на неровном месте и сбил драгун: подо мною расстреляна лошадь и другая ранена». Превосходные действия полка при преследовании принца виртембергского окончательно утвердили мнение о Суворове как о выдающемся офицере.

Интересен отзыв Румянцева, в отряд которого входил в это время корпус Берга. В общем представлении об отличившихся Румянецв характеризовал Суворова как офицера, «который хотя и числится на службе пехотной, но обладает сведениями и способностями чисто кавалерийскими». Этот отзыв отражает исключительную разносторонность военного дарования Суворова.

Между тем дела Фридриха II шли все хуже, несмотря на его искусство и на неумелость союзников. Соотношение сил было слишком неодинаково. Численность прусской армии уменьшилась до 50 тысяч человек. Казалось, наступал последний акт борьбы, но в это время, в декабре 1761 года, умерла Елизавета Петровна. На русский престол взошел злой и ограниченный Петр III, преклонявшийся перед Фридрихом.

Курс русской политики круто изменился. Взамен ориентации на Австрию и Англию, Россия полностью вошла в фарватер прусского влияния. Новый император, не колеблясь, свел к нулю все принесенные

русской армией жертвы. Он предписал очистить все оккупированные немецкие области; с Пруссией было заключено перемирие, а вслед за тем и военный союз. Прусский посланник стал первым и главным советчиком государя, больше всего гордившегося тем, что Фридрих произвел его в чин генерала прусской армии.

За несколько месяцев своего царствования Петр III восстановил против себя все сословия. В особенности волновалась гвардия, которую Петр угрожал реорганизовать, лишив былых привилегий. На почве этого недовольства созрела мысль о перевороте. Используя предоставленные английским правительством денежные средства, жена Петра III, бывшая ангальт-цербстская принцесса София Августа, принявшая в России имя Екатерины, вошла в доверие к гвардии и духовенству. Свергнуть с престола беспечного и непопулярного императора оказалось легче, чем могли надеяться заговорщики в самых смелых своих мечтах.

Летом 1762 года переворот совершился. Как только об этом стало известно в армии, русский корпус снова вступил на только что покинутую прусскую территорию: все ожидали возобновления войны. Однако новая правительница провозгласила нейтралитет. Екатерина имела явные доказательства того, что страна утомлена войной. Военные расходы ложились тяжелым бременем на опустевшую казну. Незадолго до войны с Пруссией вездесущий Шувалов, недавно закончивший изобретение своих пресловутых «секретных» гаубиц, нашел способ поправить финансы: по его предложению, цена на соль была повышена с 21 до 35 копеек за пуд. Когда началась война, цена соли была вновь повышена, на этот раз до 50 копеек за пуд. Однако и этого оказалось мало. Война пожирала все доходы казны. Тогда тот же Шувалов предложил (в 1757 году) чеканить медную монету весом вдвое легче существовавшей; на этой операции казна должна была выгадать три с половиной миллиона рублей, а население должно было утешаться тем, что новую монету вдвое легче будет возить.

Военный бюджет тяжело ложился на плечи населения. Крестьянство бурлило. Петр III отменил основную повинность дворянства — обязательную государственную службу, но с этой повинностью была связана и основная прерогатива дворян — право владеть крепостными. Среди крестьян распространились толки, что теперь и крепостному праву пришел конец. То тут, то там вспыхивали восстания — провозвестники зажегшегося спустя десятилетие Пугачевского зарева.

Все эти симптомы были достаточно злоеци, чтобы заставить Екатерину всецело углубиться во внутренние дела и обратить все усилия на укрепление своего довольно шаткого положения на троне. Выход России из

рядов воюющих предрешил окончание Семилетней войны.

В 1762 году Суворов был послан в Петербург с донесением о выступлении русских войск из Пруссии^[9]. Екатерина, слышавшая о нем как о способном офицере и не упускавшая случая расположить к себе подобных людей, дала ему аудиенцию и собственноручным приказом произвела в полковники, отдав в командование Астраханский полк. Через полгода этот полк был сменен на петербургской стоянке Суздальским пехотным полком, и Суворов был назначен его командиром.

«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

Боевая страда кончилась. Наступило «мирное житье», длившееся около шести лет. Прежде чем рассмотреть деятельность Суворова в этот период, подведем некоторые итоги тому, что должен был он вынести из опыта первых боевых столкновений.

Суворов имел случай убедиться в высоких качествах русских солдат — их стойкости, храбрости, силе и выносливости. Но тем разительнее должен был представиться ему контраст между солдатами и высшим командованием. Всего три десятка лет прошло со смерти Петра I, а его требование — назначать людей по их пригодности и способностям — совершенно забылось. Все назначения, как гражданские, так и военные, определялись только наличием покровителей и «связей». Из четырех русских главнокомандующих (Апраксин, Салтыков, Фермор, Бутурлин) лишь Фермор проявил способности. Остальные были с военной точки зрения ничтожествами. На своем ответственном посту они оставались царедворцами и интриганам, стремясь, главным образом, к поддержанию хороших отношений с двором.

Бесталанное руководство армией усугублялось хаотической организацией ее. Войска были неповоротливы, малоподвижны, не умели маневрировать, всякое длительное движение расстраивало порядок. Разведывательная служба находилась в зачаточном состоянии. Походы совершались медленно и мешкотно; да и могло ли быть иначе, если девяностотысячная русская армия, шедшая в Пруссию, везла за собой около 50 тысяч повозок.

Относились солдаты к военной службе с чувством крайней ненависти. Длительность срока, суровый режим в полках, жестокое обращение офицеров, необходимость идти в бой ради чуждых, не всегда даже понятных целей — все это делало военную службу пугалом. Срок службы равнялся двадцати пяти годам. Каждому нижнему чину предоставлялось право выходить в отставку по истечении восьми лет при условии, что его заменит кто-нибудь из близких родственников. Охотников на такую замену почти никогда не находилось. От солдатчины старались отделаться всеми способами. То и дело издавались указы, устанавливавшие сроки для безнаказанной явки беглых и обещавшие крупные денежные премии за поимку их, но результат от этого получался незначительный. Русские полки постоянно были недоукомплектованы. Дисциплина, при всей ее жесткости,

была только внешней; грабежи и бесчинства сопутствовали продвижению армии.

Все то, о чем размышлял молодой Суворов в долгие годы своей солдатской службы, предстало теперь в более ярком свете. Он должен был прийти к двум основным выводам: во-первых, о необходимости радикальных изменений в господствовавшей военной организации русской армии, во-вторых, о неспособности придворно-дворянского командования осуществить эту реформу, а следовательно, о необходимости добиться для себя самостоятельности.

Первый из этих выводов он, со свойственной ему энергией, начал немедленно реализовывать в пределах вверенного ему Суздальского полка. Второй вывод таил в себе зародыши конфликтов с высшим командованием и с придворной камарильей, — конфликтов, отравивших всю последующую жизнь полководца.

Становясь в оппозицию генералитету и придворным, Суворов тем самым делал еще шаг к народу, — к тем, в ком эти придворные видели только замордованную «святую скотинку». Однако он оставался при этом сыном своего класса, сыном своей эпохи. Он приближался к народу не как вождь его, а как понимающий, любящий и уважающий его хозяин. В солдатах он видел прекрасный боевой материал, но верховное управление этим материалом полагал прерогативой дворянства.

Остановимся еще на одном моменте, имеющем существенное значение для правильной оценки деятельности Суворова как командира полка: речь идет о том, какое влияние оказал опыт Семилетней войны на стратегические воззрения Суворова. От его тонкого ума не ускользнули все слабые стороны тогдашней «кабинетной стратегии». Он резко осуждал попытки уложить в схемы и диспозиции все многообразие возникающих на войне возможностей и случайностей.

— Никакой баталии выиграть в кабинете не можно, и теория без практики мертва, — так формулировал он свою точку зрения.

Протест против «мудрствований» в медлительности, проявлявшихся русским командованием, побудил его вначале впасть в другую крайность: в этот период он был склонен переоценивать значение смелости. Его действия против пруссаков — и впоследствии в первую польскую кампанию — характерны тем, что последние два элемента знаменитой его триады («глазомер, быстрота и натиск») явно преобладали над первым. Подобно тому, как некоторые шахматные игроки склонны предпринимать комбинации, основанные на совершенно неожиданных, невероятных ходах, так и Суворов в этот период деятельности тяготел к принятию решений,

казавшихся совершенно невозможными теоретически. Такой метод базировался на двух исходных положениях: на учете психологии неприятеля и на бестрепетной смелости как принимающего решение полководца, так и выполняющих это решение солдат. Но эту смелость надо было культивировать, развивать. Поэтому «нравственный элемент» получил чрезвычайное значение во всей системе Суворова. Целью воспитания войск он поставил — развить способность их к подвигу, более того, развить жажду подвига.

С такими воззрениями Суворов приступил к обучению Суздальского полка.

Ему и прежде доводилось командовать полками: Тверским, Архангелогородским, Астраханским, но то были временные назначения и, зная об этом, он не касался основ полкового устройства. Когда же ему поручили Суздальский полк, по всем данным, на продолжительное время, он немедленно взялся за обучение его на новых началах. Полк был размещен в Новой-Ладоге и простоял там свыше трех лет; в этот период и развернулась новаторская деятельность Суворова.

Основной чертой всей системы было — вопреки фридриховским правилам — стремление выработать сознательное отношение солдат к возлагаемым на них задачам. И тогда и впоследствии на полях сражений Суворов постоянно старался раз'яснить солдатам, что и зачем они должны совершить. «Каждый воин должен понимать свой маневр», — таково было требование, которое Суворов всегда пред'являл к своим помощникам. Вместе с тем он стремился развить в войсках чувство спайки, взаимной выручки и несокрушимую ярость натиска. Разумеется, достижение подобных целей было сопряжено с большой, серьезной работой по перестройке военной организации полка.

Преобразованию подверглись все стороны полковой жизни: строевое обучение, материальная часть, бытовая обстановка, культурное и нравственное воспитание, даже семейный уклад жизни.

Осуществлявшиеся Суворовым в это время методы воспитания войск еще не отражали со всей полнотой его взглядов на этот вопрос. Устав, согласно которому он обучал Суздальский полк, (устав этот, будучи записан, получил название «Суздальского учреждения»), во многом еще не достигал той законченности и целостности, как выработанная им много лет спустя знаменитая «Наука побеждать». Суворов, как и всякий новатор, создавал свою систему постепенно, непрерывно, изменяя и совершенствуя ее по мере накопления опыта. Однако все основные положения его системы вошли уже в «Суздальское учреждение».

Суворов неоднократно повторял:
— Солдат ученье любит, было бы с толком.

В самом деле, подчиненные ему солдаты никогда не роптали, несмотря на то, что он заставлял их напряженно обучаться военному делу. Правильному строевому обучению Суворов всегда придавал чрезвычайно важное значение. Мотивируя своему начальству (1771) эту свою точку зрения, он ссылаясь на примеры древности, в частности на Юлия Цезаря, который «в Африке со сборным слоновым войском не дрался с Юбою и со Сципионом вправду, давая им еще волю бродить, доколе он основательно не выэкзерцировал свое войско».

Стержнем обучения являлась штыковая атака. Это наиболее трудный вид боя, требующий предельного волевого напряжения. Под влиянием Фридриха II, особенно усовершенствовавшего ружейную и пушечную стрельбу, большинство военных специалистов считало штыковую атаку изжитым способом ведения боя. Даже французы, отличавшиеся умением владеть холодным оружием, стали пренебрегать штыком.

Тем не менее, скромный командир Суздальского полка решился пойти против общего мнения всей Европы. Отчасти он следовал здесь своим принципам, зрело обдуманым и уже укоренившимся в нем; отчасти — с прозорливостью самобытного гения он учитывал национальные особенности русского солдата. Было трудно рассчитывать на то, что удастся опередить европейские армии в области стрельбы, особенно при наличии худшей материальной части вооружения, но мужество, храбрость и физическая сила русских солдат делали их несравненными исполнителями штыковой атаки.

Суворов строил свою тактику на стойкости русского солдата. Но он поставил своей задачей, пользуясь выражением одного историка, превратить пассивную стойкость в активную настойчивость.

Глубокий смысл суворовских воззрений был мало кому понятен. Столь примитивный способ ведения боя казался шагом назад в военном искусстве. И лишь когда французские революционные, а вслед за тем наполеоновские армии воскресили атаку холодным оружием, военные специалисты повсеместно отступили от образцов Фридриха и приступили к запоздалому переобучению своих войск.

Было бы, однако, глубокой ошибкой думать, что Суворов игнорировал значение огня. Лучше всего обратиться к его собственным высказываниям. В одном приказе, датированном 1770 годом, он писал: «Что же говорится по неискусству подлаго в большей частью робкаго духа: „пуля виноватаго найдет“, то сие могло быть в нашем прежнем нерегулярстве, когда мы по-

татарскому сражались, куча против кучи, и задние не имели места целить дулы, вверх пускали беглый огонь. Рассудить можно, что какой неприятель бы то ни был, усмотря, хотя самый по виду жестокий, но мало действительный огонь, не чувствуя себе вреда, тем паче ободряется и из робкого становится смелым». Это замечательное высказывание, заслужившее право почитаться классическим, достаточно убедительно выражает взгляд Суворова на огневые действия.

С целью сделать огневую подготовку наиболее эффективной Суворов выделял особые стрелковые команды, проходившие усиленный курс обучения стрельбе. Эти команды комплектовались из егерей. Егеря — стреляют, гренадеры и мушкеры — «рвут на штыках», — таково было установленное Суворовым распределение ролей; разумеется, это не исключало того, что в случае надобности все роды войск привлекались к исполнению той или другой функции.

Видное место в подготовке войск занимали также походные упражнения. В одном из своих приказов от 1771 года Суворов, перефразируя Морица Саксонского, прокламировал, что «победа зависит от ног, а руки — только орудие победы». Суздальскому полку пришлось пройти самую усиленную походную тренировку. Суворов заставлял его совершать переходы по 40–50 верст в день, в зной и мороз, по непролазной грязи, переходя в брод — а то и вплавь — встречавшиеся реки. При этом по пути производились боевые ученья; для этого командир умел использовать всякий предлог. Много шума наделал инцидент, когда Суворов, проходя во время учебного похода мимо монастыря, приказал полку взять его штурмом. Суворову грозили крупные неприятности, но благодаря вмешательству Екатерины дело было замято. Хотя в подчинении у Суворова был только пехотный полк, он не упускал из виду и другие роды оружия. Принимая одинаково близко к сердцу интересы всей русской армии, он продумывает также мероприятия для лучшей организации кавалерии и артиллерии. Через несколько лет (1770), получив под свое начало отряд из всех родов оружия, он сразу преподал целую серию наставлений, начиная с указаний, как действовать палашами, и кончая советом при карьере приподниматься на стременах и нагибаться на конскую шею.

Много усилий приложил Суворов к тому, чтобы «выэкзерцировать» свой полк не только для дневных, но и для ночных действий. В ночном бою смелость и внезапность нападения приобретают особенно большое значение; действие огня здесь минимально. Поэтому Суворов не мог не тяготеть к ночным операциям, представляющим наибольшие трудности, но

и сулящим наибольшие выгоды. Вдобавок, для него, вероятно, имело притягательную силу то обстоятельство, что, обучив свои войска технике ночного боя, он будет располагать преимуществом над своими возможными противниками. А он всегда рекомендовал «бить противника тем, чего у него нет».

Суровая школа, которой подвергал Суворов свой полк, явилась поводом к обвинению его в том, что он чрезмерно изнурял людей. Обвинение это на первый взгляд было правдоподобно. Но не учитывали того обстоятельства, что наряду с утомительными упражнениями Суворов проявлял большую заботу о здоровье людского состава. Нормальное число больных, которое он допускал в своем полку, составляло, примерно, один процент от всего состава. Если эта цифра ощутительно повышалась, он учинял специальное следствие для выяснения причин того. Столь незначительного — особенно для того времени — количества больных удавалось добиться благодаря соблюдению санитарных и гигиенических правил. Со свойственной ему простотой и желанием самому во все вникнуть, Суворов лично учил солдат чистоте и опрятности. «И был человек здоров и бодр, — писал он в одном письме, — знают офицеры, что я сам то делать не стыдился... Суворов был и майор, и ад'ютант, до ефрейтора; сам везде видел, каждого выучить мог».

Суворов всегда с удовлетворением говорил про себя, что он учил показом, а не рассказом.

Что же касается трудностей его системы, то Суворов не отрицал их, но категорически настаивал на том, что они окупаются стократ: «тяжело в ученьи, легко в походе», — повторял он. Трудность маневренного ученья создавала, по его убеждению, «на себя надежность — основание храбрости».

Забота Суворова о воспитании выразилась, прежде всего, в постройке школы. Он организовал две школы — для дворянских и для солдатских детей — и сам сделался преподавателем в обеих. Этот факт очень показателен. Он свидетельствует о колоссальной энергии Суворова, при всей своей разносторонней деятельности находившего время для преподавания. Он является и живой иллюстрацией его подлинного демократизма. Наконец, он показывает, что уже в эти годы Суворов не считался с «общепринятым», не боялся стоустой молвы.

Кроме школы, были выстроены полковые конюшни и на песчаной почве разбит сад.

Любопытно, что Суворов заботился даже об эстетическом воспитании, и школьники-дворяне однажды разучили и поставили пьесу.

Довольно крупные издержки, связанные со всеми перечисленными мероприятиями, покрывались, главным образом, за счет сбережений в хозяйстве полка. В некоторой части, однако, Суворов покрывал их из собственных средств.

Таким образом, во всей системе обучения Суздальского полка тесно переплетались элементы воспитания духа (в смысле развития высших боевых качеств) и тщательного обучения военной технике.

Будучи простым и приветливым в обращении с солдатами, Суворов проявлял в то же время большую требовательность и сурово взыскивал за нарушения дисциплины. «Дружба — дружбой, а служба — службой» — таково было его правило. В одном приказе он прямо предписывает «в случае оплошности взыскивать и без наказания не оставлять, понеже ничто так людей ко злу не приводит, как слабая команда». Отношение Суворова к наказаниям наглядно показывает, что, при всей прогрессивности воззрений, он корнями своими продолжал оставаться в почве родного ему века. В то время преобладающим видом наказания, назначавшегося и за крупные и за мелкие проступки, были шпицрутены. Суворов никогда не допускал жестокости, как другие командиры, и вообще неохотно прибегал к этому средству; взамен того он предпочитал методы морального воздействия, разъясняя провинившемуся его вину. Однако он не совсем был чужд «воздействию» шпицрутенами — этому универсальному исправительному методу, в котором современники его видели панацею от всех зол; иногда и он, по примеру прочих, назначал «палочки»; в особенности, если речь шла о таких провинностях, для которых он не видел оправдания: грабеж, мародерство и т. п.

Екатерининские военные деятели и чиновники, в большинстве своем тупые и ограниченные служаки, не могли понять преимуществ и всего огромного значения проводимой в Суздальском полку новой системы. Иные же не хотели понять, оберегая свои места у сладкого пирога власти и почестей. Суворов не имел — да и не искал — сильного покровителя, который заставил бы обратить внимание на него и его идеи, а без этого в екатерининскую эпоху трудно было чего-либо добиться. Так как о Суворове все-таки начинали поговаривать^[10], правящая клика попыталась отмахнуться от него, создав ему репутацию оригинала. Придравшись к отдельным шероховатостям и преувеличениям, встречавшимся в суворовской системе, стали говорить о нем как о способном «чудаке», не заслуживающем, однако, серьезного отношения. Внешней парадоксальностью его поступков заслоняли глубокий смысл их.

Хотя действиями Суворова, в первую очередь, руководили пламенный

патриотизм и неустанное военное влечение, в натуре его было сильно развито и честолюбие. Он презирал фимиам лести и утонченную роскошь, но военная слава, в первую очередь, слава родины, а вместе с ней и его личная, а также стремление к самостоятельности в действиях влекли его всю жизнь. За годы, проведенные в Новой-Ладоге, он должен был понять, как трудно будет ему осуществить свои мечты. Вероятно, тогда впервые возникла у него мысль использовать создавшуюся вокруг него репутацию «чудака». Изменять свой образ действий только потому, что поверхностные наблюдатели не постигали его смысла, он не желал, ломать свой характер в смысле манеры обращения он также не был склонен. Между тем репутация оригинала могла принести ту выгоду, что выделяла его из рядов прочих штаб-офицеров. Ему нужно было дать заметить себя. Странности приводили к этому вернее, чем достоинства и заслуги.

Надо коснуться еще одной черты Суворова, которая проявилась в этот период: уже в это время он одержал ту поразительную победу «духа над плотью», которую одерживал затем непрестанно в течение сорока лет и которая является одной из самых поразительных в длинной веренице его побед. В начале 1764 года, в одном из своих писем, он жаловался на свое здоровье, на то, что до крайности исхудал и стал подобен «настоящему скелету, лишенному стойла ослу, бродячей воздушной тени». Он страдал болями в груди, в голове и особенно в животе. «Я почти вижу свою смерть, — писал он, — она меня сживает со света медленным огнем, но я ее ненавижу, решительно не хочу умереть так позорно и не отдамся в ее руки иначе, чем на поле брани».

К этим словам нечего прибавить.

СУВОРОВ В ПОЛЬШЕ

Бывшая когда-то сильным государством, Польша постепенно пришла в упадок. Крестьяне, городская беднота и мелкие ремесленники находились в состоянии полного бесправия и нищеты. Королевская власть стала иллюзорной; фактическими господами положения были дворянство и фанатически настроенное духовенство. Стремясь к полноте политического господства, паны и примыкавшая к ним шляхта добились установления такого порядка, согласно которому достаточно было хотя бы одному из шляхтичей выступить в сейме против проектируемого закона, чтобы этот закон не мог войти в силу. Вследствие этого порядка — так называемого *liberum veto* — роль законодательного органа была сведена почти что к нулю: в течение последних ста лет сорок семь сеймов разошлись, не приняв ни одного серьезного постановления. Но, получив преобладающее положение в стране, панство не умело использовать его; в его рядах шли непрерывные раздоры, усугублявшиеся происками иноземных государств.

Внешнеполитическое положение Польши было подстать внутреннему. Польские короли были марионетками в руках соседних государств. Среди этих последних Россия проявляла особую настойчивость, еще более возросшую с воцарением Екатерины.

Еще будучи великой княгиней, Екатерина выразилась, что для России выгодна «счастливая анархия» в Польше. В октябре 1762 года, спустя три месяца после переворота, Екатерина написала Кейзерлингу, русскому посланнику в Варшаве: «Настоятельно поручаю вам покровительствовать, всем исповедующим греческую веру и сообщите мне все, что, по вашему мнению, может увеличить там мое значение и мою партию. Я не хочу ничего упустить в этих видах».

В этих словах заключалась целая программа: религиозный интерес — это только повод к политическому; защита диссидентов (разномыслящих в вере) в Польше только тогда имеет смысл, если может увеличить там русское влияние.

Это влияние достигло предельной силы, когда и 1764 году, после смерти короля Августа III, Екатерине удалось провести на польский трон Станислава Понятовского — бесхарактерного, недалекого магната, кстати сказать, находившегося одно время в интимных отношениях с нею. «Россия выбрала Понятовского на польский престол, — заметила Екатерина, — потому, что из всех соискателей он имел наименее прав, а следовательно

наиболее должен был чувствовать благодарность к России».

В польском вопросе Екатерина вынуждена была действовать рука об руку с Фридрихом II. Собственно на почве предложений о разделе Польши и состоялось их сближение. За то, что Фридрих поддержал кандидатуру Понятовского, Россия заключила с ним военный союз. Однако, в противоположность своему покойному супругу, всячески афишировавшему сближение с Фридрихом, Екатерина постаралась, чтобы внешнеполитический союз с Пруссией никак не ощущался в обычаях и нравах страны.

В день заключения военного союза (31 марта 1764 года) Россией и Пруссией была подписана и секретная конвенция о Польше. В ней имелся, между прочим, такой пункт: «Если из нации польской такие найдутся люди, кои осмелились бы нарушить тишину в республике и произвести конфедерацию противу их короля, законно избранного, то ея императорское величество всероссийское и его королевское величество прусское, признавая их за неприятелей своему отечеству и возмутителей народного спокойствия, повелят войскам своим войти в Польшу и поступать как с ними самими, так и с именем их со всякой военной строгостью без малейшей пощады».

Теперь оставалось только ждать предлога. Он не замедлил представиться в виде все того же злополучного вопроса о диссидентах. Это был в то время один из самых злободневных вопросов польской политики. Авторитет католичества в стране был сильно поколеблен. Диссиденты, главным образом православные и протестанты, добились для себя с помощью России и Пруссии почти полного уравнивания в правах, но затем снова начали подвергаться притеснениям. После водворения на престол Станислава Понятовского они пред'явили требование восстановить их права. Станислав колебался, большая часть панов и шляхты, а также католическое духовенство возражали против каких бы то ни было уступок. В Варшаве собрался сейм; начались жаркие дебаты. Екатерина и Фридрих сочли момент подходящим, чтобы вмешаться. Репнин явился в сейм, арестовал ночью четырех лидеров антидиссидентской партии (Солтыка, Залусского и двух братьев Ржевусских) и отправил их в Россию. Этот беспримерный акт терроризировал сейм; закон о восстановлении прав диссидентов был принят, но по всей стране прокатилась волна негодования.

Польские патриоты стали готовить вооруженную борьбу против иноземного вмешательства. Их замыслы охотно поддержали Франция и Австрия. Франция не могла простить Екатерине, что та вышла из состава антипрусской коалиции. Австрийский император, Иосиф II,

преисполненный честолюбивых затей, искал случая повредить чрезмерно усиливавшейся России. Помимо того, оба эти государства давно видели в Польше лакомый пирог и отнюдь не желали упустить свою долю. Им удалось привлечь на свою сторону Фридриха, который всегда непрочь был вовлечь своих соседей в какую-нибудь свалку, чтобы под шумок поживиться чем-либо.

Франция, Австрия и Пруссия обещали полякам свою помощь. Не желая непосредственно ввязываться в войну с Россией, они составили план толкнуть на борьбу с ней ее северного и южного соседей — Швецию и Турцию, находившихся в орбите их дипломатического воздействия. Ободренные столь обнадеживающими посулами, поляки начали готовить военное выступление. Во главе их стал каменецкий епископ Адам Красинский. В качестве военного руководителя он привлек мужественного и честного польского патриота Пулавского. В феврале 1768 года Пулавский встретился в небольшом городке Баре, близ турецкой границы, с несколькими видными панями и представителями шляхты^[11]. Собравшиеся выпустили воззвание к польскому народу, в котором об'являли Станислава низложенным, а себя — главарями организованной ими национальной («Барской») конфедерации.

Через несколько дней под знамена конфедератов стеклось 8 тысяч человек. Войска Станислава, усиленные русским отрядом, стали укрощать движение. Начались жестокости междоусобной войны; особенно отличились в них запорожцы, обрадовавшиеся случаю пограбить и отомстить полякам за давние обиды. Преследуя поляков, один русский отряд ворвался в местечко Балту, принадлежавшее Турции, и выжег его. Европейская дипломатия приложила все усилия, чтобы раздуть этот инцидент. Подстрекаемый дипломатами, султан стал явно готовиться к войне с Россией. Это воодушевило конфедератов, и задавленное было движение распространилось с новой энергией.

Главные силы России предназначены были действовать против турок. Русский флот направился к Константинополю, войска двинулись в Бессарабию и Грузию; русские агенты принялись разжигать волнения среди балканских славян. Но наряду с этим следовало принять меры к разгрому вооруженного движения польских конфедератов. Для этой цели было решено собрать под Смоленском корпус из четырех пехотных и двух кавалерийских полков, под командованием генерал-поручика Нуммерса. В состав этого корпуса был включен и Суздальский полк.

Прошло шесть лет с тех пор, как Суворов покинул поля сражений. Большую часть этого времени он провел в Новой-Ладоге. Он передал

своему полку все, что мог, и тосковал по иной деятельности: иного масштаба и иного характера. Он был в то время в расцвете сил: ему было под сорок лет, не иссякший еще пыл молодости сочетался в нем с опытом зрелости. Как былинный богатырь, он чувствовал в себе «силу необъятную», искавшую выхода, побуждавшую его стремиться к борьбе, полной опасностей и подвигов. Изучая биографию Суворова, нельзя не обратить внимания на это обстоятельство: всякий раз, когда ему приходилось провести несколько лет вне боевой обстановки, он начинал буквально хиреть. Образно выражаясь, он хорошо спал только под грохот пушек. Так было с ним всю жизнь, вплоть до глубокой старости. Но особенно острым было это чувство, когда за плечами Суворова не было еще и четырех десятков лет и его обширные замыслы не начали еще претворяться в жизнь. Поэтому, надо думать, он с радостью узнал о включении его полка в отряд, составлявшийся для военных действий в Польше.

Правда, предстояло иметь дело не с могущественной армией, а с партизанскими дружинами, но для темперамента Суворова плохая война была лучше доброго мира.

Он не мог знать, что ему придется в продолжение нескольких долгих лет находиться под начальством неспособных, нерасположенных к нему педантов, что придется проводить почти все время в мелких операциях, опасных для жизни, но не сулящих ни славы, ни благодарности. Он не задумывался и над социально-политическим смыслом кампании, над тем, ради чего нужно бить польских националистов. Он искал точку приложения своего таланта и находил ее там, где это предоставляли ему эпоха и тот строй, в недрах которого он родился.

Получив приказ идти к Смоленску, Суворов немедленно выступил из Ладоги. Стоял ноябрь месяц; полк шел по щиколотку в грязи; лошади месили копытами жидкую кашу, которая носила громкое название «дороги». Осенняя распутица, множество болот, длинные ночи — все это чрезвычайно затрудняло поход. Но Суворов был чуть ли не рад всему этому: вот когда представился случай для серьезного походного учения. С неослабеваемой энергией вел он свой полк сквозь грязь и ненастье; 850 верст, отделявшие Ладогу от Смоленска, были пройдены в течение тридцати дней. При этом заболевших насчитывалось всего шесть человек, да один пропал без вести. Суворов мог быть доволен плодами своих забот: в тогдашней армии дневные переходы редко превышали десять-одиннадцать верст, беспрерывно устраивались остановки на отдых, и все-

таки часть солдат к концу похода оказывалась «в нетях» или в госпиталях.

Незадолго до назначения в Польшу — в сентябре 1768 года — Суворов был произведен в бригадиры.

В Смоленске он получил в командование бригаду, в состав которой вошел и Суздальский полк. Зимой он провел в тренировке новых своих частей по образцу суздальцев, а весной направился к Варшаве с Суздальским полком и двумя эскадронами драгун. Он прибег к совершенно оригинальному по тому времени способу: реквизировал подводы у населения и, посадив на них людей, стремительно двинулся в путь. Расстояние в 600 верст было покрыто в двенадцать дней. Люди все время ехали в полной боевой готовности, так как проезжать приходилось через волновавшиеся, враждебно настроенные области.

Общее командование русскими войсками в Польше было возложено в это время на генерала Веймарна. То был опытный военный, однако чрезвычайный педант и, к тому же, мелочно самолюбивый человек. Суворову было не легко ладить с ним. «Каторга моя в Польше за мое праводушие всем разумным знакома», — писал он впоследствии об этом.

Сосредоточенные в Польше русские отряды были немногочисленны. Но у конфедератов не было единства в действиях, не было выучки и дисциплины, и в результате они оказывались слабее. Все же иногда они соединяли свои раздробленные силы, и тогда русские генералы побаивались их.

В августе (1769) получилось известие о сосредоточении крупных сил конфедератов под Брестом. Во главе их стояли сыновья умершего к тому времени Пулавского — Франц и Казимир. Против них действовали два довольно многочисленных русских отряда, силою по полторы-две тысячи человек каждый. Однако командиры этих отрядов — Ренн и Древиц — не решались напасть на Пулавских. «Прибыв туда, — саркастически писал об этом Суворов, — услышал, что мятежники не в дальности и близь них обращаются разные наши красноречивые начальники с достаточными detachmentами^[12]». В распоряжении Суворова имелась едва четвертая часть тех сил, которые были у Ренна и Древица. Но он меньше всего собирался придерживаться их тактики. Он полагал, что правильный образ действий заключается в том, чтобы теснить противника, не давая ему опомниться. Оставив в Бресте часть своего отряда, взяв 450 человек при двух пушках, он двинулся в погоню за Пулавскими и настиг их около деревни Орехово.

«Я их ведал быть беспечными в худой позиции, — говорится в Суворовской автобиографии, — то есть, стесненными на лугу, в лесу, под

деревней. Как скоро мы франшировали три лесных дефилеи, где терпели малой урон, началась атака... Деревня позади их зажжена гранатой; кратко сказать: мы их побили, они стремительно бежали, урон их был знатен».

Вначале Суворов — учитывая громадное численное превосходство поляков — ограничивался тем, что отбивал картечью их атаки. Решив, что неприятель обескуражен неудачами, и усугубив эту обескураженность приказанием зажечь у него в тылу гранатами деревню, он предпринял штыковую атаку. Атака эта весьма примечательна: Суворов атаковал пехотой конницу — случай, почти не имевший прецедентов в военной практике. Штыковой удар был проведен с обычной энергией. Поляки бежали, и немногочисленные кавалеристы Суворова преследовали их на протяжении трех верст в то время, как пехота, по его распоряжению, производила в лесу частый огонь — с целью «психического воздействия» на неприятеля. Поляки были настолько деморализованы, что не могли остановиться, хотя под конец их преследовали всего десять кавалеристов, во главе с самим Суворовым.

В этом бою Суворов проявил предельную отвагу: в самом начале он с пятьюдесятью драгунами атаковал батарею, обстреливавшую мост, через который должны были наступать гренадеры. Драгуны в решительный момент обратились вспять, оставив Суворова одного. Но вместо того, чтобы броситься на одинокого всадника, польские артиллеристы отвезли батарею за линии.

Показывая образец храбрости, Суворов не терпел проявлений трусости и растерянности. Во время одной из атак, когда, казалось, наступавшие со всех сторон конфедераты прошли заградительный огонь, дежурный майор в отчаянии воскликнул: «Мы отрезаны!» Суворов мрачно поглядел на него и распорядился немедленно арестовать.

В этом бою конфедераты лишились одного из своих вождей: русский кавалерийский офицер наскочил на Казимира Пулавского. Старший брат его, Франц, бросился на выручку, спас жизнь Казимиру, но сам был убит наповал.

Так окончилось дело под Ореховым, выдвинувшее Суворова в первый ряд русских военачальников в Польше и принесшее ему чин генерал-майора.

После Орехова Суворов избрал средоточием своего отряда город Люблин — вследствие его срединного расположения — и разослал оттуда во все стороны мелкие отряды, неустанно гонявшиеся за появлявшимися партиями конфедератов. В такого рода деятельности прошел весь 1770 год.

Сражений не было. Приходилось ликвидировать мелкие отряды поляков, беречься выстрела из-за дерева или еще более нелепой смерти. Осенью этого года полководец едва не погиб: переправляясь через Вислу, он неудачно прыгнул в понтон, упал в воду и стал тонуть. Один из солдат схватил его за волосы, но Суворов при спасении так ударился грудью о понтон, что потерял сознание и проболел три месяца.

Не того он ждал, отправляясь в Польшу. Он искал битв, а здесь были ничтожные стычки. Вместо свирепых врагов против него действовали неопытные шляхтичи или не умеющие обращаться с ружьем несчастные крестьяне.

Беспощадно громя отряды конфедератов, он очень человеколюбиво обращался с побежденными и часто отпускал их на родину под честное слово, что они не будут более участвовать в войне.

— В бытность мою в Польше сердце мое никогда не затруднялось в добре и должность никогда не полагала тому преград, — говорил Суворов.

В этом была и гуманность и политическая дальновидность. Другие русские военачальники вели себя совершенно иначе. Особенно дурную славу приобрел в этом отношении протезируемый Веймарном немец Древиц, приказывавший отрезать у пленных правую кисть руки. Суворов ненавидел за это Древица. «Сие в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен», — писал он с негодованием. Эта ненависть усугублялась оскорбленным самолюбием, так как Веймарн отдавал Древицу явное предпочтение. «Древиц нерадиво, роскошно и великолепно в Кракове отправляет празднества, — жаловался Суворов, — когда я с горстью людей дерусь по лесам по-гайдамацкому».

Отношения с Веймарном становились все более натянутыми. Веймарн затруднял Суворова предписаниями, упрекал в своеволии, в незнании правил тактики.

— Ja, so sind wir, ohne Taktik und ohne Praktik, und doch liberwinden wir unsere Feinde^[13], — ответил ему однажды Суворов.

Веймарн укорял его в том, что он изнуряет солдат чрезмерно быстрыми переходами.

— Читайте Цезаря, — возразил Суворов, — римляне еще скорее нашего ходили.

Но Веймарн вряд ли был расположен считаться с примером Цезаря. Натянутость между начальником и его подчиненным переходила в явную ссору. Суворов, нарушая всякую субординацию, выговаривал Веймарну за тон служебных приказов: «Осмеливаюсь просить, дабы меня по некоторым ордерам вашим частых суровых выражений избавить приказать изволили».

Пререкания с Веймарном усиливали желание Суворова уехать из Польши на первостепенный театр войны, в Турцию. Еще в январе 1770 года он писал: «Здоровьем поослаб, хлопот пропасть почти непреодолеваемых. Колика бы мне была милость, если бы дали отдохнуть хоть один месяц, то есть выпустили бы в поле. С божьей помощью на свою бы руку я охулка не положил». Тяга в Турцию стала еще сильнее, когда в Польшу пришли известия о громких победах Румянцева.

1770 год был апогеем славы Румянцева. Русские войска завоевали Молдавию, Валахию и Румынию. Татары понесли страшное поражение при Ларге, а вслед затем двухсоттысячная турецкая армия была наголову разбита при Кагуле. В этой последней битве Румянцев имел немногим более 20 тысяч человек. Русская эскадра, приплыв из Балтики в Средиземное море, уничтожила весь турецкий флот в сражениях при острове Хиосе и в Чесменской бухте.

Казалось, русское оружие всюду торжествует окончательную победу. Но следующий, 1771 год во многом изменил ситуацию. Румянцев хотя и переходил Дунай, но действовал нерешительно, ограничился взятием нескольких крепостей и воротился в Молдавию. Командовавший флотом Алексей Орлов не решился плыть в Дарданеллы и даже не сумел поддержать восстания греков, зверски подавленного турками. Только в Крыму действия протекали успешно, и татарский хан был вынужден бежать. Однако это не возмещало отсутствия успехов на главном участке.

В то же время политический горизонт покрылся зловещими тучами. Встревоженные ошеломляющими победами при Кагуле и Чесме, европейские державы открыто заняли враждебную России позицию. Австрия заключила союз с Турцией и потребовала вывода русских войск из Польши, подкрепив это требование тем, что придвинула к польским границам свою армию. Фридрих II повел двойственную игру, но свои войска также придвинул к Польше. Откровеннее всех поступала Франция. Конфедераты получили деятельного организатора в лице французского генерала Дюмурье, явившегося в 1770 году в Польшу в сопровождении отряда французских солдат.

Дюмурье застал у конфедератов мелкие распри, борьбу самолюбий, кутежи и карточную игру. Численность войска доходила до 10 тысяч, но оно было очень скверно организовано. С помощью нескольких польских патриотов — в особенности графини Мнишек — Дюмурье сумел в короткий срок навести порядок, и в апреле 1771 года разбил стоявшие на Висле русские войска. Однако эта победа оказалась пирровой: упоенные успехом, польские вожаки вновь начали мародерствовать.

С прибытием Дюмурье военные действия оживились, и для Суворова открылись некоторые перспективы. Он двинулся против нового противника и, выйдя из Люблина, взял приступом местечко Ланцкорону (в 30 верстах от Кракова). В этом деле, между прочим, были прострелены его шляпа и мундир.

Овладев местечком, он порешил взять и цитадель, в которой заперлись поляки, но здесь постигла его неудача, одна из редких неудач в его военной карьере — конфедераты отбили штурм, причем русские понесли большие потери. Сам Суворов был при этом легко ранен; ранена была и лошадь под ним. Пришлось отступить. Суворов направился к местечку Рахову и рассеял скопившийся там отряд конфедератов. Во время этой экспедиции случился эпизод, очень характерный для Суворова: его колонна подошла к Рахову ночью и рассыпалась по местечку в поисках засевших в избах поляков. Полководец остался совершенно один; в этот момент он заметил, что в корчме заперся многочисленный отряд. Не колеблясь, он под'ехал к двери и стал уговаривать поляков сдаться: это ему, в конце концов, удалось; поляков оказалось пятьдесят человек.

Вернувшись в свой «капиталь», как прозвал Суворов город Люблин, он получил от Веймарна приказ снова идти к Кракову, где теперь расположились гласные силы конфедератов. Имея под начальством свыше полутора тысяч человек, он с обычной быстротой совершил марш и застал Дюмурье врасплох. Однако реализовать выгоды внезапности ему помешала новая, хотя и столь же незначительная неудача. Вблизи от Кракова, около деревни Тынец, находился сильно укрепленный редут, занятый отрядом конфедерата Валевского. Суворов решил взять редут с налету. Это было выполнено, но пехота конфедератов отбила редут и после упорной борьбы удержала за собой. Потеряв около двухсот человек, а главное, несколько часов драгоценного времени, Суворов прекратил штурм и двинулся к соседней деревне Ланцкороне, уже являвшейся незадолго перед этим ареной военных столкновений. Тут произошел известный бой, могущий почитаться классическим примером смелости и мастерства в учете психологии противника.

В распоряжении Суворова было в это время уже три с половиной тысячи человек; поляков было приблизительно столько же. Дюмурье занимал чрезвычайно сильную позицию. Левый фланг его упирался в Ланцкоронский замок; центр и правый фланг, недоступные по крутизне склонов, были прикрыты роцями. Бой завязался на левом русском фланге, но в то же время Суворов, не дожидаясь, пока подтянется весь его отряд, двинул несколько сотен казаков на центр неприятельского расположения.

Уверенный в неприступности своей позиции, Дюмурье приказал подпустить поближе «шедшую на верную гибель» конницу и открыть огонь, только когда она взберется на вершину гребня. Но казаки, поднявшись на высоты, развернулись в лаву и с такой энергией ударили в пики, что польская пехота смешалась и бросилась в бегство. Пытавшийся остановить беглецов Сапега был убит обезумевшими от страха людьми. Все усилия Дюмурье восстановить порядок остались тщетными. Бой был окончен за полчаса. Поляки потеряли 500 человек, остальные рассеялись по окрестностям; только французский эскадрон и отряд Валевского отступили в порядке.

После этой битвы отношения Дюмурье с конфедератами, и без того не отличавшиеся сердечностью, в конец испортились, и он через несколько недель уехал во Францию. «Мурье, управляясь делом и не дождавшись еще карьерной атаки, отклонялся по-французскому и сделал антрешат в Белу, оттуда на границу», — не без ехидства донес об этом Суворов.

Впоследствии в своих мемуарах Дюмурье пространно критиковал приказ Суворова атаковать конницей сильную позицию. Он считал подобные действия противоречащими всем тактическим правилам и объяснял успех Суворова игрой случая. Посредственность пыталась критиковать гений! Дюмурье невдомек было, что Суворов проявил в этом бою высокое искусство. Он точно оценил обстоятельства, понял нравственную слабость противника, интуитивно нашел верное средство для его поражения. Свой рискованный план он построил на впечатлительности поляков, на внезапности удара и на стремительности его. В данном случае это было гораздо эффективнее, чем методический нажим на польские позиции. Это было, действительно, очень простое решение вопроса, но то была простота гения. «На войне все просто, — выразился однажды Клаузевиц, — но зато самое простое и есть самое трудное».

С поражением Дюмурье, самым видным предводителем конфедератов остался Казимир Пулавский. Суворов погнался за ним, настиг его, разбил и попытался уничтожить его отряд. Однако Пулавский остроумным маневром сумел оторваться от русских войск, увлеченных преследованием его арьергарда, и благополучно увел от погони свои главные силы.

Узнав о военной хитрости Пулавского, Суворов пришел в восторг. В нем заговорил художник, умеющий отдать должное искусству и друга и врага. Он отослал Пулавскому свою любимую фарфоровую табакерку — в знак уважения к отваге и находчивости противника.

Этим окончилась предпринятая Суворовым операция. Она была

построена на тех же твердо усвоенных им принципах: неустанная стремительность, неодолимый натиск. В течение семнадцати суток отряд прошел около 700 верст среди враждебно настроенного населения, почти ежедневно ведя бои с противником. Это производило впечатление смерча, и ни поляки, ни офицеры не знали, как бороться с ним.

Последние надежды польских конфедератов сосредоточились теперь на литовском великом гетмане графе Огинском. Долго колебавшийся, ввязываться ли ему в военную авантюру, он, в конце концов, уступил подстрекательствам французского правительства. На решение его повлияло прибытие к нему из Польши конфедерата Коссаковского с двухтысячным полком черных гусар. Отряд этот назывался «вольные братья» и считался лучшим у конфедератов. Огинский, помышлявший в случае успеха о польской короне, бросил жребий: в августе 1771 года он внезапно напал на русский отряд и взял в плен около пятисот человек; командир отряда Албычев был убит. Известие о том, что Огинский встал на сторону конфедератов, разнеслось по Литве и отовсюду стали стекаться к нему волонтеры.

Удачное развитие дальнейшей деятельности Огинского грозило русским серьезными последствиями. Народные волнения могли быстро охватить весь дотоле спокойный край.

Суворов в следующих выражениях характеризовал выступление Огинского: «Возмутилась вся Литва. Регулярная ея... армия с достаточною артиллериею и всем, к войне подлежащим, снабженная собралась, как и довольно иррегулярных войск, под предводительством их великого гетмана, графа Огинского, который сперва и получил некоторые авантажи; наши тамошние detaшeмeнты действовали слабо и очень предопасно, давали ему время возрастать, так что считали уже его более как в десяти тысяч лучшаго войска, что не могло быть правдою, но от протяжения времени вероятно бы совершилось».

Опытному глазу Суворова ясно было, чем чревато выступление Огинского, если не затушить его в самом начале. Но русское командование, как обычно, медлило. Веймарн возложил главные операции на Древица, которому приказано было, «не покидая и тени гетманской, следовать с поспешением за ним и разбить его до вяцаго себя усиливания»; Суворову поручалось способствовать выполнению этого плана. Все в этом замысле возмущало Суворова: и медлительная тактика, построенная на робких, чрезмерно осторожных действиях, и скромная роль, которая отводилась лично ему (кстати сказать, Древиц был младше чином). Он на свой страх решился выйти из рамок, которые — во вред делу — навязывал ему его

начальник.

С отрядом в восемьсот человек, пройдя за четыре дня около двухсот верст, Суворов подошел к Слониму и узнал, что неподалеку оттуда, в местечке Сталовичи, разместились более чем трехтысячная колонна Огинского. Несмотря на то, что войско противника было вчетверо больше, Суворов, верный своей обычной тактике, задумал немедленную атаку. Он рассчитывал захватить врасплох не подозревавшего его приближения неприятеля. Была темная ночь. Русский отряд без шума подошел к местечку, снял сторожевой пикет и ворвался в Сталовичи. «Нападение наше на литовцев было со спины», — констатировал Суворов. Не давая опомниться конфедератам, русские — к которым примкнули содержащиеся здесь в плену солдаты покойного Албычева — штыками и саблями очистили Сталовичи.

«Подполковник Рылеев все, встречающееся в местечке, порубил и потоптал», — с всегдашней образностью вспоминает Суворов в автобиографии.

В Сталовичах была расположена только часть польско-литовских войск. Остальные разбили лагерь в поле. Не позволяя им притти в себя, Суворов на рассвете атаковал их и рассеял. Победа была полная. Огинский с десятком гусар бежал за границу^[14].

Последствия Сталовичской битвы были огромны. Предоставим слово Суворову: «Вся артиллерия, обозы, канцелярия и клейноды великаго гетмана достались нам в руки... Плен наш наше число превосходил: от драгунских и пехотных полков почти все, кроме убитых штаб-и обер-офицеров, были в нашем плену... Сражение продолжалось от трех до четырех часов — и вся Литва успокоилась».

Суворов был настолько доволен поведением своих солдат в этой операции, что подарил каждому из них от себя по серебряному рублю.

Лично Суворову его блестящая победа не принесла на первых порах ничего, кроме новых неприятностей. Веймарн осыпал его градом колкостей и укоров за неповиновение и кончил тем, что подал формальную жалобу на него в военную коллегия. Факты были, однако, чересчур очевидны; жалоба осталась без результата, а Суворову был послан орден (за время пребывания в Польше Суворов получил до того два ордена). К этому же времени Веймарна перевели в другое место, и взамен него был назначен Бибииков. С новым начальником у Суворова установились хорошие отношения. Однако укоренившиеся в нравах генералитета интриги не прекращались, и Суворов попрежнему просил об увольнении.

«Мизантропия овладевает мною, — писал он Бибиикову. — Не

предвижу далее ничего, кроме досад и горестей».

Прошло все-таки еще около года, прежде чем ему удалось покинуть Польшу. В течение этого года имело место одно небезынтересное событие. Прибывший вместо Дюмурье к конфедератам французский генерал Вьомениль затеял смелое и громкое предприятие. «В отчаянном положении, в котором находится конфедерация, — писал Вьомениль, — необходим блистательный подвиг для того, чтобы снова поддержать ее и вдохнуть в нее мужество». В качестве такого подвига был задуман захват Краковской цитадели, охранявшейся Суздальским полком под командой бездеятельного офицера Штакельберга. План этот удался как нельзя лучше. В январе 1772 года, в то время, как русские офицеры веселились на маскараде, отряд французов пробрался через сточные трубы в цитадель и захватил в плен тамошний гарнизон.

Узнав о случившемся, Суворов с полутора тысячами человек бросился к Кракову и попытался завладеть цитаделью штурмом. Эта попытка окончилась полной неудачей.

«Неудачное наше штурмование доказало, правда, весьма храбрость, но купно в тех работах и не-искусство наше. Без Вобана и Когорна учиться было нам лучше прежде тому на Петербургской стороне», — доносил Суворов Бибикову.

Началась осада. В замке обнаружился вскоре недостаток продовольствия и медикаментов. Французский комендант. Шуази ходатайствовал о позволении покинуть замок духовенству и раненым офицерам. Суворов ответил, что согласен взять на излечение офицеров под честное слово о прекращении ими военных действий; что же касается духовных пастырей, то он решительно отказался выпустить их, не желая уменьшать количество ртов в замке.

После трехмесячной осады, узнав от разведчиков о крайне тяжелом положении защитников замка, Суворов послал к ним парламентаря с предложением очень выгодных условий капитуляции. Осажденные сочли это за признак слабости и вступили в пререкания. В ответ Суворов пред'явил новые условия, несколько жестче первых, предупредив, что в дальнейшем пункты капитуляции будут каждый раз становиться все более суровыми. Осажденные поторопились принять все условия.

Суворов оказал сдававшемуся гарнизону очень корректный прием. Всем французским офицерам он возвратил шпаги, не без язвительности заметив, что Россия и Франция не находятся в состоянии войны.

Между тем наступал последний акт. Соппротивление поляков падало, и, видя это, европейские державы протянули руки за своей долей в дележе

добычи. Уже в течение двух лет австрийские и прусские войска стягивались к польским границам. Опасаясь, как бы Россия одна не захватила всей Польши, в мае 1772 года 40 тысяч австрийцев приблизились к Кракову, а 20 тысяч пруссаков оккупировали северную Польшу.

На русский корпус была возложена щекотливая задача не уступать австрийцам ни одного вершка земли, но вместе с тем не нарушать добрых отношений с ними. Суворов добросовестно старался разрешить эту мудреную задачу, но результаты были мало утешительны. Австрийцы «с отменной вежливостью» завладели Ланцкороной и протискивались все дальше. Функции дипломата пришлось Суворову не по душе.

«Я человек добрый, — писал он Бибикову, — отпору дать не умею... Честный человек — со Стретеньева дня не разувался: что у тебя, батюшка, стал за политик? Пожалуй, пришли другого; чорт ли с ними сговорит».

Наконец, «концерт» держав нашел общий тон; в августе 1772 года был подписан договор об отторжении от Польши значительной части ее территории: около четырех тысяч квадратных миль с пятимиллионным населением. На долю России при этом досталось несколько более одной трети (белорусские области на Днестре и Двине); прочее под шумок оттянули Австрия и Пруссия.

Польские патриоты протестовали, но это был глас вопиющего в пустыне. Тогда большинство конфедератов склонилось перед силой и из'явило покорность взамен за обещание им амнистии. Пулавский, лишенный приверженцев, изгнанный из Баварии, направился в Америку, где в это время велась другая национальная война, вступил в ряды армии Вашингтона и был убит в сражении у Саванны. Любопытно, что, расставаясь со своими последними соратниками, он отдал дань уважения Суворову и выразил скорбь, что у поляков не нашлось подобного человека.

С окончанием войны Суворов добился, наконец, разрешения покинуть пределы Польши. Уезжая, он написал Бибикову большое письмо:

«Следую судьбе моей, которая приближает меня к моему отечеству и выводит из страны, где я желал делать только добро, по крайней мере, всегда о том старался. Сердце мое не затруднялось в том и долг мой никогда не полагал тому преград... Безукоризненная добродетель моя весьма довольна одобрением, из'являемым моему поведению... Простодушная благодарность рождает во мне любовь к этому краю, где мне желают одного добра...»

Это письмо, из которого мы привели лишь некоторые цитаты, весьма характерно для Суворова своим пуританством. Он всегда гордился — даже немного кичился — своей добродетелью, понимая под ней, вероятнее

всего, свою подлинную бескорыстность и принципиальность. Он гордился тем, что, проходя с огнем и мечом по покоряемым им землям, никогда не прибегал к жестокостям, если не считал их вызванными военной необходимостью. Но в таком случае он не причислял их к жестокостям и не находил их противоречащими «добру».

Суворов настойчиво просил командировать его в южную армию, но вместо того ему пришлось отправиться в Финляндию, где создалось напряженное положение вследствие политических осложнений со Швецией. Зимой 1772 года он был в Петербурге, затем в продолжение нескольких месяцев инспектировал пограничные районы Финляндии. Раз'езжая по сумрачным лесам, он не переставал зорко следить за судьбою заключенного тогда с Турцией перемирия, предвидя, что здесь предстоят крупные военные столкновения.

Суворов рвался к ним подобно тому, как четыре года назад рвался в Польшу. Там он обманулся в своих надеждах: постоянная утомительная погоня за партизанами, мелочная опека Веймарна, незначительный масштаб операции — все это не удовлетворяло его. Он надеялся, что в Турции найдет желанный простор. Он оставался все тем же Святогором, искавшим, как применить свою силу.

ПЕРВАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ

В мае 1772 года Порта предложила России временно приостановить военные действия. Начались мирные переговоры, в которых приняли участие представители Пруссии и Австрии. Обе стороны желали мира. Турки были потрясены выпавшими на их долю поражениями. России не дешево далась война на двух фронтах — турецком и польском — при необходимости одновременного прикрытия северных границ. Кроме того, правительство было обеспокоено вспыхнувшей в Москве эпидемией моровой язвы (чумы) и возникшими на этой почве волнениями. Наконец, — и это была одна из важнейших причин, — много сил отвлекала борьба с разраставшимися крестьянскими волнениями.

Однако почвы для соглашения с турками найти не удалось. Екатерина хотела ощутительно реализовать победы Румянцева и Орлова. «Если при мирном договоре не будет одержано — независимость татар, ни кораблеплавание на Черном море, то за верно сказать можно, что со всеми победами мы над турками не выиграли ни гроша», — писала она. Но как раз в вопросе о признании «независимости» крымских татар Турция не склонна была уступить. Дворянская Россия, в свою очередь, не намерена была отказаться от захватнических замыслов.

Весною 1773 года военные операции возобновились.

Некогда грозная Оттоманская империя находилась в состоянии глубокого упадка. Войска ее также не походили более на могучих завоевателей; они были скверно организованы и представляли скорее азиатское полчище, чем европейскую армию. Тем не менее, они оставались опасными противниками, что отлично доказали, незадолго перед тем разгромив австрийцев.

Тактика турецких войск была очень однообразна: они всегда нападали. Первый натиск их, совершавшийся плотными массами, обычно конницей, отличался стремительностью и бешеным порывом. Но если он не приводил к успеху, турки сразу теряли настойчивость. Они отступали в укрепленные пункты и собирались там с силами для нового удара. Турецкие солдаты были храбры и выносливы; всадники в одиночном бою даже превосходили европейских кавалеристов. Пехота умела метко стрелять, артиллерия тоже была не плоха. Но отсутствие порядка и дисциплины обесценивало все эти качества.

Европейцы побеждали турок благодаря выдержке и лучшей

организации. Они строили свои полки в огромные карре и окружали их рогатками, защищаясь таким образом от первого пылкого натиска конницы. Это была надежная оборонительная тактика, но она обрекала войска на пассивность. Фельдмаршал Миних первым предложил иной способ борьбы, а Румянцев развил его идею: неповоротливое колоссальное карре было заменено несколькими меньшими, применение стеснявших маневренность рогаток было ограничено. И все-таки война с турками оставалась своего рода уравнением со многими неизвестными. Иллюстрацией этого может послужить тот факт, что недавний герой Кагула и Ларги, Румянцев, просил заменить его на посту главнокомандующего: «...Ныне чувствую, ежели не от долговременных трудов, то от частых припадков, всю слабость и оскудение в силах и не могу иметь довольной доверенности к своим средствам и мероприятиям».

В это время приехал Суворов.

Швеция побряцала оружием, но не решилась открыть военные действия. Задерживать Суворова в Финляндии не было оснований, и ему без труда удалось добиться откомандирования в первую армию. Румянцев встретил его довольно сдержанно и дал назначение в дивизию графа И. П. Салтыкова (сына того Салтыкова, под чьим начальством Суворов служил в Семилетнюю войну). Любопытно, что в этой дивизии состоял уже на службе Потемкин.

Салтыков поручил новому генералу командовать левым флангом. Позиции проходили у Негоештского монастыря, противостоявшего расположенному на другом берегу Дуная городу Туртукаю. В распоряжение Суворова был передан сводный отряд, силою около 2300 человек.

Несомненно, что Суворову предшествовала уже молва. Его действия в Польше резко выделили его из ряда других генералов. Преувеличенные слухи об его странностях и оригинальностях поднимали интерес к нему. Была известна и популярность его среди солдат.

Но в условиях тогдашней русской армии популярный генерал был бельмом на глазу у правящей верхушки. Чем больше становилась его известность, тем настороженнее и враждебнее относились к нему верхи. Суворов знал это и на первых порах попытался, повидимому, избежать Сциллы и Харибды путем соблюдения двух правил: он особенно тщательно подготовлял все операции, чтобы обеспечить успех, и в то же время умело выдерживал облюбованную им роль «простака», чтобы умерить подозрительность и зависть командования.

Через несколько дней по приезде Суворова Румянцев предпринял

серию усиленных рекогносцировок или, как их называли, поисков. Один из них был поручен новому командиру.

Несмотря на полученные подкрепления, силы Суворова были в несколько раз меньше, чем размещенный в Туртукае неприятельский отряд. В этих условиях форсирование Дуная было делом не легким. Между тем неудача способна была навеки погубить его репутацию: он не сомневался, что всякий неуспех будет раздут неимоверно. Оставалось положиться на стойкость солдат и офицеров и на свое искусство.

В течение нескольких дней он внимательно изучал турецкие позиции и затем разработал подробную диспозицию операции. Отдельные места этой диспозиции настолько интересны, что их стоит привести: «Атака будет ночью с храбростью и фурией российских солдат... весьма щадить: жен, детей и обывателей... мечети и духовный их чин... турецкие собственные набеги отбивать по обыкновенному: наступательно, а подробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости и твердости г.г. командующих...» Надобно вспомнить, как мало инициативы предоставлялось в то время командирам отдельных частей, чтобы оценить все огромное значение этого приказа.

Первоначально Суворов хотел переправиться через Дунай скрытно, в семи верстах ниже Туртукая. Все приготовления были закончены. Лично руководивший ими Суворов, завернувшись в плащ, уснул на берегу реки. Неожиданно в середине русского расположения раздалось гортанное «алла» турок. Около тысячи янычар переплыли реку и устремились в глубь русского лагеря, едва не захватив при этом самого Суворова. Этот налет был быстро ликвидирован, но турки заметили военные приготовления и легко должны были догадаться, что готовится атака на Туртукай. Суворов лишился одного из своих главных козырей — внезапности. Тогда он принял энергичное, глубоко «психологическое» решение: совершить поиск в эту же ночь. Он справедливо полагал, что турки никак не станут ждать новой битвы сейчас же после окончания первой.

В ночь на 10 мая, отдав последние распоряжения и лично установив четыре пушки, Суворов двинул войска. Наступление велось двумя колоннами, в резерве шли две роты майора Ребока. В первом часу ночи началась переправа. Турки открыли жестокий огонь, но в темноте он оказался мало эффективным. Выйдя на берег, войска, выполняя диспозицию, направились двумя колоннами вверх по реке. Суворов находился при первой из них. Преследуя отступавших турок, русские заметили оставленную вполне исправную пушку и, повернув ее, выстрелили в сторону Туртукая. Однако при выстреле пушка разорвало, и

все находившиеся подле нее получили ранения. В числе их был и Суворов, у которого оказалось поврежденным бедро. Превозмогая боль, Суворов продолжал бежать впереди цепей и одним из первых ворвался в неприятельский окоп. Огромный янычар набросился на него, но Суворов проворно уклонился, приставил к груди янычара ружье и, передав пленника подоспевшим солдатам, побежал дальше.

Первая колонна с одного удара овладела двумя батареями и укрепленным лагерем. Вторая колонна встретила более упорное сопротивление и вступила в горячий бой с противником. Тогда Суворов, стремясь максимально развить успех, двинул вперед резерв Ребока, а первой колонне приказал двигаться непосредственно на город. Таким образом, задержавшаяся вторая колонна как бы превращалась в резерв.

В четвертом часу утра атака была закончена — турки беспорядочно бежали. Выведя из города всю славянскую часть населения, Суворов велел сжечь Туртукай до тла, отдав его, по обычаю, на поток и разграбление своим солдатам. В тот же день совершилась обратная переправа. Потери русских достигали 200 человек, потери турок — 1500 человек.

Немедленно по занятии города Суворов отправил донесения «по начальству». Одно из этих донесений породило целую литературу, и на нем стоит вкратце остановиться. Салтыкову он написал: «Ваше сиятельство. Мы победили, слава богу, слава вам». Румянцеву же было отправлено стихотворное донесение:

Слава богу, слава вам,
Туртукай взят и я там.

Об этом очередном «дурачестве» Суворова много говорили. Но Суворов в важных случаях никогда не «дурачился» без смысла и цели. Лавируя в сложной обстановке подсиживаний и завистничества, в которую он попал по приезду в армию, он строго проводил свой план своеобразной мимикрии. Отсылая это донесение, он прикидывался простаком и этим надеялся ослабить неминуемый взрыв зависти и недоброжелательства среди бездарного генералитета.

Та же цель проскальзывает в отправленном на другой день Салтыкову подробном донесении. Суворов наивно радуется в нем, что «все так здорово миновалось»; с такой же деланной наивностью он просит наградить его орденом Георгия 2-й степени. «Вашему сиятельству и впредь послужу, я человек бесхитростный. Лишь только, батюшка, давайте

поскорее второй класс».

Через несколько дней он снова пишет Салтыкову. Это письмо в самом деле трогательно-наивно: «Не оставьте, ваше сиятельство, моих любезных товарищей, да и меня бога ради не забудьте. Кажется, что я вправду заслужил георгиевский второй класс; сколько я к себе ни холоден, да и самому мне то кажется. Грудь и поломанный бок очень у меня болят, голова как будто пораспухла».

На этот раз пылкое желание полководца исполнилось: Румянцев переслал императрице стихотворное донесение, пояснив, что посылает «беспримерный лаконизм беспримерного Суворова», и, по его представлению, Екатерина наградила Туртукайского победителя Георгиевским крестом 2-й степени. Суворов мог быть доволен. Еще более довольна была Екатерина, получившая лишний шанс для своих захватнических вождедений.

Практических последствий Туртукайская операция не имела. Нанеся короткий удар туркам и разрушив город, Суворов вынужден был вернуться на левый берег Дуная: он считал возможным остаться на правом берегу лишь при условии прочного закрепления там и в этом смысле представлял докладную записку. Однако Салтыков не решился на подобную «дерзость», и результаты Туртукайского поиска свелись к нулю — турки снова заняли прежние позиции и принялись реставрировать укрепления.

Прошло четыре недели. Дивизия Салтыкова бездействовала; поневоле бездействовал и Суворов. Вдобавок, его начала трепать лихорадка. Истомленный болезнью и ничегонеделанием, он просился в Бухарест на лечение, но в это время прибыло распоряжение главнокомандующего предпринять 5 июня новый поиск на Туртукай: Румянцев готовился, наконец, к решительным операциям и с целью отвлечь внимание турок от места главного удара поручал Суворову демонстрацию.

Суворов сделал все необходимые распоряжения, составил новую диспозицию, но в самый день выступления свалился в страшнейшем пароксизме лихорадки. Руководство новым поиском он поручил своим помощникам. Однако теперь турки держались настороже; их пикеты зорко следили за переправами. Русские командиры (князь Мещерский) сделали одну-две робких попытки переправиться, потом сочли операцию чересчур рискованной и отложили ее.

Узнав об отмене поиска, Суворов пришел одновременно в ярость и отчаяние. «Благоволите, ваше сиятельство, рассудить, — написал он Салтыкову, — могу ли я уже снова над такую подлую трусливостью

команду принимать... Какой позор! Все оробели, лица не те. Боже мой! Когда подумаю — жилы рвутся».

На этот раз он не фиглярничал. Все в нем возмущалось и кипело. Потрясенный малодушием своих подчиненных и чувствуя себя совсем больным, он сдал командование Мещерскому и уехал в Бухарест.

Между тем Румянцев очень хладнокровно отнесся к отмене демонстративной операции: 7 июня состоялась переправа главных русских сил, и цель повторного поиска на Туртукай отпала. Он возложил на левый фланг салтыковской дивизии новую задачу — спуститься по Дунаю и отвлечь внимание гарнизона Силистрии от потемкинского корпуса.

Если Суворов имел хотя бы скудные сведения об общей стратегической обстановке, он, конечно, ясно понимал бесцельность нового Туртукайского поиска теперь, когда армия уже переправилась. Но он не мог совладать с собою. Последствия неповиновения главнокомандующему, неизбежные жертвы — все отступило на задний план: он решился по собственной инициативе предпринять отмененную его помощниками операцию.

Суворов не думал в это время о том, что по отношению к Румянцеву он ставит себя в такое же положение ослушника, в каком находился по отношению к нему Мещерский. Суворов всегда имел для себя в таких случаях другую мерку, чем для остальных — мерку гения, требующего иных прав и иных критериев. В данном же случае он руководствовался двумя мотивами: во-первых, и самое главное, военно-воспитательным; во-вторых, страстным желанием «смыть позор» с себя, ибо ему, по его выражению, лучше было «где на крыле примаючить, нежели подвергнуть себя фельдфебельством своим до стыда видеть под собою нарушающих присягу и опровергающих весь долг службы».

После недельного отсутствия он вернулся в Негоешти и тотчас начал приготовления к атаке. Для большего морального впечатления он об'явил, что остается в силе ранее выработанная им диспозиция. В действительности он внес в нее много коррективов, учтя изменившуюся обстановку. Основные положения этой диспозиции вполне выдержаны в духе его военных правил: «итти на прорыв, не останавливаясь; голова хвоста не ждет^[15]; командиры частей колонны ни о чем не докладывают, а действуют сами собой с поспешностью и благоразумием; ежели турки будут просить *аман*, то давать» и т. д. Разработанный порядок наступления предусматривал сочетание развернутых линий с колоннами.

По сравнению с господствовавшими в тогдашних армиях правилами, это была целая революция. Однако понадобилось еще очень много

времени, прежде чем это было понято.

Бой был очень упорный вследствие значительного численного перевеса турок.

«...По овладении нами турецким ретраншементом, — говорится в Суворовской автобиографии, — ночью, варвары, превосходством почти вдесятеро, нас в нем сильно оступили».

Сражение длилось всю ночь. Утром турки были опрокинуты и обратились в бегство; казаки гнали их на протяжении пяти верст.

Быть может, самое поразительное в этом предприятии — поведение самого Суворова. Весь день его мучила лихорадка. Все же он заставил перевезти его на другой берег, но был так слаб, что не мог ходить без посторонней помощи: два офицера поддерживали его все время под руки, и один из них передавал его распоряжения, произносимые еле слышным голосом. В таком состоянии полного физического изнеможения Суворов, на этот раз никому не доверяя, всю ночь руководил боем, носившим исключительно напряженный характер. Утром он даже заставил себя сесть на коня.

Румянцев не только не рассердился на непокорного подчиненного, но был очень рад его успеху: это позволяло ему скрасить довольно-таки бесцветную картину военных действий. Переправясь через Дунай, высшее командование армии начало действовать с той же бесталанностью, которая дала повод Фридриху II назвать румянцевские победы над турками «победами кривых над слепыми».

Успешные действия Суворова не могли изменить общего хода кампании. Румянцеву пришлось перейти обратно на левый берег Дуная, после чего он окончательно выпустил из рук инициативу и ограничивался оборонительными операциями. На правом берегу Дуная русское командование сохранило только город Гирсово, который должен был послужить опорным пунктом для нового наступления. Турки стремились вынуть эту занозу и настойчиво штурмовали Гирсово. Надо было вручить защиту его надежному военачальнику. После долгого размышления Румянцев уведомил императрицу, что «важный Гирсовский пост вручил Суворову, ко всякому делу свою готовность и способность подтверждающему».

Убедившись в недостаточности гирсовских укреплений и предвидя дальнейшие турецкие атаки, Суворов немедленно приступил к фортификационным работам.

«Я починил крепость, прибавил к ней земляные строения и сделал разные фельдшанцы», — указывает он.

Работы еще не были закончены, когда начался генеральный штурм. На этот раз турки построились на европейский манер в три линии и повели наступление, соблюдая образцовый порядок: это был результат занятий с французскими инструкторами.

— Варвары хотят биться строем. За это им худо будет, — воскликнул Суворов.

В его намерения отнюдь не входило простое отражение штурма. Согласно его принципам, каждое столкновение с ним должно было кончаться для неприятеля разгромом. Гирсовский гарнизон не превышал 3 тысяч; турок было свыше 10 тысяч. Это не смутило Суворова. Он приказал передовым цепям делать вид, будто они бегут, и таким образом заманивать турок поближе к валу. Приблизившись без помехи на половину картечного выстрела, турки бешено устремились на штурм. В этот момент был открыт жестокий картечный и ружейный огонь. Неся страшные потери, атакующие добежали все-таки до палисада. Исход боя висел на волоске — казалось, турки прорвутся внутрь и задавят своею численностью защитников Гирсова.

Но рискованный план Суворова удался — турки не выдержали губительного огня и подались назад. Это был кульминационный момент всего замысла: русская пехота, выйдя из-за прикрытий, атаковала их на всем фронте, а гусары с казаками довершили удар. Турки бежали, оставив весь обоз и понеся тяжелые людские потери.

«...Они крайне пострадали, — вспоминал в автобиографии Суворов, — не долго тут дело продолжалось, от одного до двух часов; ударились они в бегство, потерпели великий урон, оставили на месте всю их артиллерию; победа была совершенная. Мы их гнали тридцать верст».

Далее следует известная фраза:

«Прочее известно по реляциям, в которые я мало вникал и всегда почитал дело лучше описания».

Румянцев вновь ухватился за случай ободрить войска — во всей армии были отслужены благодарственные молебны. Главнокомандующий удостоил Суворова благосклонным письмом. Однако благоволение начальства длилось недолго. Через несколько недель к Суворову явился, по поручению Румянцева, Потемкин для проверки поступившего доноса, будто он не заботился о постройке землянок для солдат. Донос остался без последствий, но в грустном опыте Суворова прибавилась еще капля горечи.

Гирсовским делом закончилась кампания 1773 года. Пользуясь наступившим затишьем, Суворов испросил разрешение выехать в отпуск.

Ему было уже сорок три года, и его отец, Василий Иванович, давно подымал вопрос о женитьбе и продолжения рода. Однако сам полководец не проявлял здесь особой горячности. Он весь был поглощен своим призванием; кроме того, он понимал, что при его невзрачной наружности и недостаточно заметном положении дамы не будут дарить его большим вниманием. Не желая играть в женском обществе второстепенную роль, не чувствуя к ним особого влечения, он даже иногда как бы опасался общества женщин, словно боясь, что они отвлекут его, нарушат прямую линию его жизни. Уезжая из Польши, он писал:

«Мне не доставало времени заниматься с женщинами и я страшился их; это они управляют страной здесь, как и везде. Я не чувствовал в себе довольно твердости, чтобы защищаться от их прелестей».

Живя в Финляндии, он довольно недвусмысленно выразил свое отношение к женитьбе:

— Если со шведами ничему не бывать, что мне в Финляндии делать? Зайцев гонять или жениться?

Тем не менее, он не вовсе исключал мысль о женитьбе, и когда Василий Иванович сообщил, что подыскал для него невесту, это явилось одной из причин поездки в отпуск. 16 января 1774 года он обвенчался в Москве с дочерью отставного генерал-аншефа, княжной Варварой Ивановной Прозоровской. «Медовый месяц» оказался единственным — во второй половине февраля Суворов уже снова был в армии.

На этот раз ему была дана задача не допускать переправы турок через Дунай у Силистрии. О более активных действиях ничего не было сказано, только глухо упоминалось, что в случае наступательных операций ему надлежит держать контакт с соседним отрядом генерала Каменского. Время и направление этих операций Румянцев предоставлял согласовать обоим командирам самостоятельно. При этом Каменскому был отдан решающий голос, но Суворов не был вполне подчинен ему. Эта условная зависимость оказалась чреватой последствиями. Суворов находился в том же чине, что и Каменский; годами он был старше (на восемь лет). Признавая в Каменском способного и распорядительного начальника, Суворов никак не ставил его на одну доску с собою. По всему этому он решил действовать самостоятельно.

Согласовав план предстоявших действий, оба начальника выступили в поход. Однако Суворов задержал на два дня свое выступление (впоследствии он ссылается на неприбытие части его отряда), а затем отправился не по тому маршруту, который был условлен с Каменским, причем даже не известил его о перемене. Он явно старался избежать

соединения с отрядом Каменского.

Но расчеты Суворова встретить турок до соединения с Каменским не оправдались. Через несколько дней оба отряда встретились в деревне Юшенли. Суворов все же остался верен своему решению сохранить самостоятельность. Он тотчас перевел свои войска в авангард и, став во главе кавалерии, отправился — против воли Каменского — на усиленную разведку. План его сводился к тому, чтобы ввязаться в бой, повести его таким образом, как ему подскажет обстановка, и, поставив Каменского перед фактом, заставить его действовать в соответствии с определившейся диспозицией боя.

Случаю было угодно, чтобы одновременно с русскими и турки предприняли наступательную операцию. Их сорокатысячный корпус находился в это время уже в Козлуджи — на расстоянии нескольких верст от Юшенли. Конница Суворова втянулась в узкое дефиле, ведущее через густой лес. Ее заметили турецкие аванпосты, и при выходе из леса она подверглась стремительному натиску ударных турецких частей. Неожиданность атаки, численное превосходство неприятеля, неудобство расположения привели к тому, что конница, смешавшись, стала отступать, причем отступление это постепенно перешло в бегство. Сам Суворов едва успел ускакать.

Получив известие о происшедшем, Каменский тотчас выслал на помощь три эскадрона; они были смяты беглецами, по пятам которых гнались полчища албанцев. Положение становилось опасным. Каменский, не растерявшись, вывел вперед два пехотных полка и построил их перед лесом в четыре сомкнутых карре. Вылетевшие из леса албанцы пытались прорвать пехоту, но были отбиты огнем и ретировались.

Первая фаза сражения закончилась, причем ликвидация создавшегося опасного положения являлась бесспорной заслугой Каменского. Зато в последовавшем развитии событий ведущую роль играл Суворов, совершенно оттеснивший Каменского на задний план.

Приведя в порядок расстроенные части и подкрепив их своей пехотой, Суворов немедленно двинулся вслед за отступавшими албанцами. Продвижение совершалось в неимоверно тяжелой обстановке. Узкая лесная дорога была завалена трупами людей и лошадей. Было невыносимо жарко. Солдаты и лошади давно не получали ни пищи, ни воды. То и дело приходилось отражать вылазки засевших в кустах турок. Много солдат умерло в пути от полного изнеможения.

Наконец, девятиверстное дефиле кончилось, и войска вышли из леса. Развернувшись в лощине, Суворов отбил многократные атаки гораздо

более многочисленных турок и, выставив подвезенные пушки, повел интенсивный обстрел неприятельского лагеря. После трехчасовой артиллерийской подготовки он, не дожидаясь, пока подтянутся войска Каменского, бросил в наступление все наличные силы. Атаку начала конница, за ней устремилась пехота. Турки не приняли удара и обратились в бегство, оставив победителям 29 медных орудий и 107 знамен.

Вряд ли может вызвать удивление, что после этого эпизода отношения Суворова с Каменским приняли характер явной неприязни.

На следующий день после Козлуджийской битвы Каменский послал о ней донесение Румянцеву. В его изложении получалось, что именно он является главным виновником успеха. Это окончательно обострило отношения между ним и Суворовым. Мучимый не прекращавшейся лихорадкой, с трудом державшийся на ногах во время пароксизмов, Суворов не пожелал долее перевозомогать себя при создавшихся обстоятельствах. По прошествии нескольких дней он сдал командование и выехал в Бухарест.

Румянцев принял его очень холодно и, прежде всего, потребовал об'яснений, что побудило его покинуть самовольно свой пост на передовой линии фронта. Суворов указал на невозможность для себя служить под начальством Каменского и просил предоставить ему отпуск для лечения. Вначале главнокомандующий отдал приказ о переводе Суворова опять к Салтыкову, но в тот же день последовал второй приказ о предоставлении ему отпуска, с разрешением выехать в Россию. В условиях не закончившихся еще военных действий это было равносильно отставке.

Кампания между тем заканчивалась. Потрясенная поражением у Козлуджи, исчерпавшая свои финансовые ресурсы, Порты заключила мир на чрезвычайно выгодных для России условиях. Согласно подписанному в Кучук-Кайнарджи мирному договору, Россия приобрела Керчь, Кинбурн, Азов, пространство между Бугом и Днестром, долины рек Кубани и Терека, право свободного плавания по Черному морю и получила еще четыре с половиной миллиона рублей контрибуции.

Агрессия Порты склонилась перед более мощной агрессией ее северного соседа.

Крым был окончательно отторгнут от Турции, признан «независимым». Это означало, что вместо султанской Турции крымские татары будут закабалены царской Россией. Из двух зол это было меньшее. Национальное же самоопределение их оставалось пока несбыточной мечтой.

Суворов между тем продолжал жить на юге.

Казалось, ему больше нечего было здесь делать. От командования он отстранен, здоровье его расшатано, в России ждет его молодая жена. И все-таки он был не в силах удалиться от армии. Он поселился в Молдавии, каждый день откладывая поездку на север.

Размышления его были неутешительны. Не помогли его победы, не помогла самоотверженность, с которой он десятки раз подставлял себя под пули, не помогали и хитрые попытки прикинуться простачком. Все было тщетно.

Он снова пришелся не ко двору.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



В СТЕПЯХ ПРИВОЛЖЬЯ И КУБАНИ

В июле 1774 года был заключен мир с турками, а через несколько дней после этого к Суворову пришло предписание спешно выехать в Россию. На этот раз он понадобился не против внешнего врага, а против другого, более страшного для дворянства и Екатерины. Его звали на борьбу с человеком, которого императрица с напускной небрежностью называла в письме к Вольтеру «маркизом Пугачевым», но который на самом деле заставлял ее трепетать от ужаса. Один момент она делала вид, будто хочет сама ехать на Волгу, чтобы лично руководить борьбой против народных масс, об'единившихся вокруг Пугачева. Канцлер Никита Панин отговорил ее и убедил послать взамен его брата, Петра Панина; этот последний из-за размолвок с Румянцевым и Орловым жил в своей деревне, втайне мечтая, что его снова призовут. Он с радостью встретил новое назначение, но потребовал себе помощника, указав в качестве такового на Суворова. Этот выбор определялся боевой репутацией, которую успел уже приобрести Суворов, а отчасти тем, что именно на него указывал бывший главнокомандующий антипугачевскими силами Бибииков. Еще в марте Бибииков настаивал на откомандировании к нему Суворова, но Румянцев возражал, аргументируя тем, что это создало бы в народе и за границей впечатление опасности Пугачевского движения (которое правительство упорно пыталось представить в виде мало серьезной смуты). Доводы Румянцева показались уважительными. Но когда со смертью Бибиикова новый командующий возобновил просьбы о посылке Суворова, положение было несколько иным: война кончилась, Суворов был не у дел, главное же, императрица была до того напугана разраставшимся восстанием, что готова была послать туда всех генералов, лишь бы покончить, наконец, с Пугачевым. В тот день, когда прибыло известие о переходе Пугачева на правый берег Волги и о движении его на Москву, к Суворову поскакал курьер с эстафетой. Получив приказ, Суворов тотчас выехал в Москву, повидался там с женою и отцом и немедленно, без багажа, поскакал к Панину.

В XVIII веке положение помещичьих крестьян и приписанных к заводам государственных крестьян стало особенно тяжелым. Широкие связи с Европой, роскошь придворной жизни — все это увеличило потребности дворян. Единственным источником дохода были крепостные крестьяне, и на их многострадальные плечи падало бремя беспощадной

помещичьей эксплуатации. Барщина составляла от трех до пяти дней в неделю, кроме того, крестьяне обязаны были исполнять целый ряд повинностей: дорожную, подводную, караульную и другие. Оброчным крестьянам жилось несколько легче, но и они часто оказывались не в силах выплатить требуемую сумму.

К удручающему экономическому положению присоединилось нестерпимое обращение «господ». Не осталось и следа от встречавшейся ранее своеобразной патриархальности, когда помещик проявлял хоть тень заботливости о своих крестьянах. Всюду воцарилась холодная жестокость; везде укрепилась рабовладельческая психология. За каждую провинность крепостных истязали. Граф Румянцев велел давать 5 тысяч розог тому, кто не являлся к причастию. Владельцы усадеб в безлесных районах специально выписывали розги целыми возами. В крупных имениях существовали особые «пытошные» сараи, с колодками, рогатками и целым ассортиментом плетей и кнутов. Помещик мог отправить крепостного на любой срок на каторгу, сослать в Сибирь, сдать вне очереди в солдаты. Даже жаловаться на произвол помещиков было запрещено. Указ 1767 года грозил кнутом и каторгой всем, кто принесет жалобу на своего господина.

Не лучше было положение заводских крестьян. Работавшие на Уральских заводах жили в таких жутких условиях, что нередко шли на преступления, только бы избавиться от ненавистного завода.

Неудивительно поэтому, что доведенные до отчаяния люди хватали какое-нибудь нехитрое оружие и восставали против угнетателей. В первые пять лет царствования Екатерины II в крестьянских бунтах участвовало, по ее собственному счету, свыше 200 тысяч крестьян. Она же отметила, что 1767 год «примечателен убиением многого числа господ от их подданных».

Изнывавшие под гнетом своих мучителей, массы ждали вождя, который сумел бы организовать их стихийные выступления. Такой вождь нашелся в лице Пугачева. Крепостные крестьяне, казаки, приписные крестьяне с заводов, вольнонаемные рабочие, башкиры, калмыки — все поднялись на его зов, на зов к борьбе за лучшую жизнь.

Против этих восставших масс и были двинуты царские полки под начальством Петра Панина.

Назначение графа Панина в качестве преемника умершего Бибикова последовало не без влияния дворцовых интриг. С одной стороны, настаивал Никита Панин, с другой — Потемкин, который начинал в этот момент свою ослепительную карьеру и хотел задобрить панинскую партию. Вместе с тем императрица понимала, что в лице Петра Панина она найдет твердую руку, которая как раз и была нужна ей для расправы с народным

движением. В распоряжение нового главнокомандующего были переданы значительные по тому времени силы:

7 полков и 3 роты пехоты,
9 легких полевых команд,
18 гарнизонных батальонов,
7 полков и 11 эскадронов кавалерии,
4 донских полка,
1000 малороссийских казаков,

Казанский и Пензенский дворянские корпуса — всего около 20 тысяч человек. Помимо перечисленных сил, в районе восстания — у Оренбурга, Пензы, Казани — были сформированы многочисленные вооруженные отряды.

В то время, как правительство мобилизовало целую армию, ресурсы Пугачева начали таять. Зажиточное донское казачество не поддержало его. Из состава его армии вышли башкиры, не пожелавшие идти в Поволжье. Лишился он также уральских рабочих, непрерывно поставлявших ему кадры преданных бойцов, пока он сражался в их местности. Вновь присоединившиеся к нему калмыки не представляли собою серьезной военной силы. Вдобавок, армия Пугачева была очень скверно вооружена.

В конце августа правительственные войска под начальством Михельсона нанесли повстанцам страшное поражение у Сальникова завода. Пугачев потерял здесь 24 орудия, 6 тысяч пленными и 2 тысячи убитыми, в числе их своего верного сподвижника атамана Овсянникова. Это было в тот самый день, когда Суворов представлялся Панину.

Любопытно, что простого факта быстрого приезда к Панину было достаточно, чтобы Суворов получил приветливое письмо императрицы и денежную субсидию: «Видя из письма графа Панина, — писала Екатерина, — что вы приехали к нему так скоро и налегке, что кроме испытанного усердия вашего к службе иного экипажа при себе не имеете, и что тотчас отправились вы на поражение врагов, за такую хвалы достойную проворную езду вас благодарю... Но дабы вы скорее путным экипажем снабдиться могли, посылаю вам 4000 червонцев». Когда Суворов скакал по болотам, под градом неприятельских пуль, терпя всевозможные лишения, по неделям не раздеваясь, никто не благодарил его за это. Теперь же быстрая езда в карете вменялась ему чуть ли не в подвиг. Выводы напрашивались сами собою: для того, чтобы получить признание, недостаточно было хорошо воевать — надо было воевать с теми, кто казались особенно опасными, там, где это было на виду, и так, чтобы это понаравилось екатерининскому двору.

Получив от Панина неограниченные полномочия, Суворов в сопровождении конвоя из пятидесяти человек отправился через Пензу к Саратову.

Ему приходилось проезжать по местностям, где только что шли бои с Пугачевым. Везде виднелись разрушенные, иногда еще дымившиеся строения: на дорогах валялись неприбранные тела крестьян. То и дело попадались отдельные группы повстанцев; однако они не нападали на отряд Суворова, а он, в свою очередь, не трогал их, не желая задерживаться. Только в тех случаях, когда это не грозило вооруженным столкновением, он принимал на себя функции судьи и усмирителя. Будучи всегда нерасположен к смертной казни, он ограничивался телесными наказаниями, приговаривая «мятежников» к плетям и розгам; широко применял он и методы пропаганды, распространяя слухи о пощаде и милосердии к тем, кто добровольно сдастся.

Случалось, что отряд Суворова окружали повстанцы, тогда он выдавал себя за сторонника Пугачева, едущего по его поручению. Делал он это, конечно, не из трусости, а желая избежать ненужной стычки.

«Сумасбродные толпы везде шатались, — говорит он в автобиографии, — на дороге множество от них тирански умерщвленных. И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним бесправным зачинщикам, но усмирлял человеколюбиво ласковостью...»

Эти слова, находящие себе подтверждение в фактах, свидетельствуют, что Суворов был далек от той звериной ненависти к восставшим, которой отличалось большинство дворян и которая нашла себе вскоре выражение в тысячах виселиц, колесований и десятках тысяч бесчеловечных экзекуций. Но для него пугачевцы были возмутителями, и он добросовестно выполнял приказ об их замирении.

В Саратове Суворов узнал о поражении Пугачева у Сальникова завода и о том, что Михельсон неумоимо продолжает преследование. «Если бы все местные начальники были таковы, как Михельсон, — заметил Суворов, — то Пугачевский мятеж давно бы рассыпался, как метеор». Но, воздавая должное Михельсону, он не желал выпускать из своих рук лавров пленителя Пугачева. Он сформировал в Царицыне в один день отряд из нескольких сотен кавалеристов и трехсот пехотинцев, посаженных на коней, и двинулся в степь на поиски разбитого вождя крестьянской войны. Схваченный Михельсоном, один из сподвижников Пугачева, яицкий казак Тарпов, показал, что Пугачев с несколькими десятками человек переплыл

Волгу и, «отскакав на несколько верст с своими сообщниками, весьма плакал и молился богу, потом вообще, посоветовав, положили бежать степью безводным местом 70 верст к каким-то камышам», где надеялись найти воду и отсидеться, добывая пропитание охотой на диких зверей.

Легкий отряд Суворова устремился в степи.

«Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь», — написал Суворов Державину.

Хлеба в отряде было мало, взамен его употребляли ломти засушенного на огне мяса. Днем шли по солнцу, ночью по звездам; двигались во всякую погоду, теряя отставших, бросая на дороге загнанных коней. Вскоре напали на след Пугачева: крестьяне рассказали, что накануне он был здесь, но что приверженцы его взбунтовались, связали его и повезли в Яицк.

Суворов не оставлял мысли о собственноручном захвате Пугачева. Доводя быстроту марша до предела, он направился к Яицку. В пути, однако, произошла непредвиденная задержка: ночью наткнулись на степных кочевников, которые открыли стрельбу, убив при этом давнишнего суворовского адъютанта Максимовича, ехавшего рядом со своим начальником. Рассеяв нападавших, Суворов отобрал нескольких, наиболее «доброконных» кавалеристов и поскакал с ними вперед.

Все его старания оказались напрасными — Пугачев был уже выдан яицкому коменданту Симонову.

Через два дня, забрав пленника, отряд выступил из Яицка.

Суворов относился к Пугачеву как к военнопленному (он бы органически не мог ударить беззащитного человека, как то сделал Панин, когда к нему доставили пленного вождя); он расспрашивал Пугачева о его действиях и планах, интересовался организацией его войск. Но, как всегда, в исполнении службы он был чужд всякой сентиментальности. Опасаясь попыток отбить пленника и неуверенный в достаточной боеспособности конвоя (3 роты пехоты и 200 казаков), Суворов велел сколотить подобие большой клетки, в которую поместил Пугачева, скованного, вдобавок, кандалами. Этот варварский прием плохо вяжется с благородной натурой Суворова; были высказаны даже сомнения в правильности такого факта^[16]. Однако указания о клетке встречаются в целом ряде источников, в частности в летописи Рычкова, в записках Державина, в Пушкинской истории Пугачевского бунта, наконец, в отредактированной самим Суворовым книге Актинга, так что самый факт вряд ли подлежит сомнению. Но к чести полководца нужно сказать, что Пугачева, всячески выражавшего протест против помещения в клетку, вскоре перевели в обыкновенную телегу, привязав к ней веревками; так же поступили с его

двенадцатилетним сыном.

Немедленно после поимки крестьянского вождя начались споры, кому из генералов следует приписать эту заслугу. То обстоятельство, что Пугачев не был пленен в бою, а был выдан своими приверженцами, крайне затрудняло решение этого вопроса.

В сущности, наибольшую энергию в борьбе с восстанием проявил Михельсон, но Панин предпочел выставить в качестве виновника успеха Суворова, то есть избранного им, Паниным, кандидата. «Неутомимость отряда Суворова выше сил человеческих, — патетически доносил он Екатерине. — По степи, с худейшей пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров, без зимнего платья, с командами майорскими, а не генеральскими, гонялся до последней крайности».

Насмешница-судьба вновь сыграла шутку с полководцем: никогда, ни до того времени, ни после, он не получал такой блестящей аттестации от своего начальства, как за доставку поверженного, закованного, всеми покинутого пленника.

По существу дела, роль Суворова была более чем скромной. Появившись в момент, когда восстание уже изнемогло, он, самое большее, ускорил на несколько дней неизбежную трагическую развязку.

Впрочем, Екатерина отлично понимала это; хотя она и наградила Суворова золотой шпагой, усыпанной бриллиантами, — наградила именно за Пугачева, а не за турецкую кампанию, — но при случае она без обиняков заявила, что «Суворов тут участия не имел... и приехал по окончании драк и поимки злодея». В другой раз она выразилась еще непочтительнее, сказав, что Пугачев обязан своей поимкой Суворову столько же, сколько ее комнатной собачке Томасу.

Летом 1775 года дворянская Россия пышно отпраздновала подавление Пугачевского восстания и успешное окончание внешних (польской и турецкой) войн. Суворов не присутствовал на празднествах; он в это время жил в Поволжье, ликвидируя последние очаги восстания. К этому периоду относится, между прочим, начало его переписки с Потемкиным. Последний был теперь не прежним генералом румянцевской армии, а всемогущим фаворитом, оттеснившим на задний план и Орловых, и Румянцева, и Панина:

Решитель дел в войне и в мире,
Могущ, хотя и не в порфире... [\[17\]](#)

Наученный горьким опытом, сколь трудно обходиться без покровителя, Суворов решил обрести его в новом фаворите. Его письма Потемкину пестрят комплиментами и просьбами о поддержке; впрочем, это была не его область — комплименты выходили обычно топорными, а просьбы неловкими и неубедительными.

В августе 1775 года скончался Василий Иванович Суворов. В связи с этим полководец получил разрешение явиться в Москву, представлялся там государыне и был назначен командующим Петербургской дивизией. Для большинства генералов такое назначение показалось бы чрезвычайно лестным и выгодным. Однако Суворову оно претило. Его не привлекала перспектива получать награды за парадную службу; в мечтах своих он стремился к подлинной славе, неразрывно связанной со славою своей родины, и не хотел менять тяготы и опасность борьбы на теплое местечко в столице. В этом характерное отличие Суворова: он мог обращаться к покровительству могущественных царедворцев, но стать одним из них никогда бы не согласился.

Оставшись в Москве по домашним делам, он провел там и в своих деревнях свыше года, ни разу не появившись в Петербурге для командования дивизией.

В ноябре 1776 года он получил от Потемкина предписание срочно выехать в Крым.

Еще Петр I высказал мысль о необходимости присоединения Крыма к России. С тех пор политика царских правительств неизменно была направлена к захвату заманчивого полуострова. Заключенный в 1777 году в Кучук-Кайнарджи мирный договор в значительной степени разрешал эту задачу — турки очистили полуостров. Крым получил эфемерную независимость; на самом же деле решающее влияние на крымские дела приобрела Россия, благодаря обладанию крепостями — Керчью, Еникале и Кинбурном. Однако крымские татары знали цену навязанной им «независимости» и неохотно ее принимали. Среди них начались внутренние смуты, которыми тотчас воспользовалось русское правительство. В Петербурге уже в течение нескольких лет воспитывался брат низложенного мурзами крымского хана, по имени Шагин-Гирей. Он вполне обрусел, часто посещал танцы в Смольном институте для «благородных» девиц, состоял даже в списках Преображенского полка. Его-то и наметили кандидатом в крымские правители; решено было сперва навязать его ногайским ордам, а затем провести в крымские ханы. Татары волновались; Турция продвигала к Крыму свои войска. Россия, со своей стороны, ввела на полуостров

двадцатипяти тысячный корпус под начальством Прозоровского. Заместителем последнего был назначен Суворов.

В марте 1777 года прибыл в Крым Шагин-Гирей и немедленно был избран мурзами в ханы. Преисполненный новых веяний, он тотчас приступил к широким реформам: организовал перепись, начал чеканить монету, заложил фрегат, велел обучать детей европейским языкам и т. д. Эти «европейские» мероприятия, проводившиеся Шагин-Гиреем с азиатской жестокостью и самовластностью, возбудили против него недовольство мусульман. Волнения перекинулись из Крыма на Кубань, где кочевали ногайцы.

В это время начальство над Кубанским корпусом было вверено Суворову.

Приехав на Кубань, Суворов развил кипучую деятельность. Он пробыл там всего три с половиной месяца, но провел за это время огромную работу. Он упорядочил кордонную службу, построил несколько десятков новых укреплений, приступил к более правильной дислокации войск, приказал выжечь приречные камыши, в которых обыкновенно прятались перед набегами горцы. В разгаре этой работы Суворов получил извещение о назначении его на место князя Прозоровского командующим крымскими силами.

Положение в Крыму в этот момент было очень острое. Турецкий флот плавал у берегов с явным намерением высадить десант. Надо было воспрепятствовать этому и одновременно избежать конфликта, который мог бы привести к нежелательной новой войне. Зная горячий нрав Суворова, Румянцев сомневался, сможет ли он справиться с такой задачей. Однако Суворов оказался на высоте положения. Умело расставленные им посты наблюдали за всем побережьем; когда же турки захотели высадиться под предлогом недостатка в питьевой воде, им было в этом вежливо, но твердо отказано. Начальники постов, разводя руками, ссылались на не существовавший карантин, при этом недвусмысленно клали руки на эфесы шпаг. Поняв, что без боя высадить десант не удастся, турецкий флот удалился в Константинополь.

Вслед за тем Суворову было дано другое, не менее деликатное поручение. Русское правительство надумало выселить из Крыма в приазовские области все христианское население. Тем самым хан Шагин-Гирей лишался подавляющей части налогоплательщиков и попадал в полную финансовую кабалу к России. При выполнении этого поручения Суворову приходилось считаться с резкой оппозицией хана, с жалобами и протестами самих выселяемых и, наконец, с неприязненным отношением

Румянцева, не сочувствовавшего этой операции и предвидевшего множество вредных последствий от ее осуществления. Об обстановке, в которой протекало переселение, свидетельствует, например, тот факт, что «к двум ханским министрам, которые наиболее сему препятствовали, немедленно поставили перед домом крепкий караул с одною пушкою, до тех пор, пока они успокоились»^[18]. Тем не менее, переселенческая операция была быстро и успешно проведена.

Следя за флотом Блистательной Порты, переселяя православных купцов, укрепляя степную границу, Суворов никогда не упускал из виду вопросов реорганизации войск. В мае 1778 года он об'явил в приказе по Крымскому и Кубанскому корпусам подробное «Наставление о порядке службы пехоты, кавалерии и казаков». Это «Наставление» содержит в себе детальное руководство для ведения операций в тяжелых условиях местности и обстановки. Этот интереснейший документ и сейчас сохранил свое значение.

Таким образом, Суворов напряженно работал, если не на боевом, то, во всяком случае, на близком к нему военно-административном поприще. Но душевное состояние его было очень тяжелое. Давно уже не взлюбивший его Румянцев, раздраженный, к тому же, переселением христиан, был щедр на резкие выговоры. Впечатлительность и самолюбие Суворова не позволяли ему хладнокровно принимать их. Он страдал от необходимости безмолвно сносить грубые выходки властительного вельможи. Подчиненный в то время Румянцеву, Суворов не имел права непосредственно сноситься с Потемкиным, но, видя в нем опору против румянцевских козней, постоянно обращался к нему. Положение его было тем труднее, что между Потемкиным и Румянцевым возгорелась яростная вражда. Вынужденный выполнять предложения Потемкина и находясь в то же время в подчинении у Румянцева, Суворов оказался как бы между молотом и наковальней. Когда Румянцев прислал категорическое запрещение насильственного переселения христиан, Суворов писал: «Строгость сия постигла меня уже по выводе почти всех христиан; ну, а если б прежде — сгиб бы Суворов за неуспех... От фельдмаршала глотаю что дальше, то больше купоросные пилюли».

Получая — обычно преувеличенные — известия об интригах Румянцева против него, Суворов страшно нервничал. «Фельдмаршала я непрестанно боюсь, — писал он. — Мне пишет он, будто из облака. Хотя бы уже он, купоросность отлагая, равнодушно смотрел лучше в конец или терпеливо ждал бы его... Преподания его обыкновенно брань, иногда облеченная розами».

В отчаянии Суворов принимался иногда оправдываться перед Потемкиным в преступлениях, которые — по дошедшим до него слухам — звали на него Румянцев.

«Говорят, будто я сказал, что иду завоевать Крым. — Нет, я хвастаю только тем, что сорок лет служу непорочно. Говорят, будто я требовал у хана, стыдно сказать, красавиц. — Но я, кроме брачного, ничего не разумею. Говорят, будто я требовал аргамаков, — а я ездю на под'емных; «индейских парчей» — а я даже не знал, есть ли они в Крыму».

Нет сомнения, что Суворов преувеличивал румянцевские интриги. Но бесспорно и то, что отношение к нему было недоброжелательным, и он тем болезненнее реагировал на это, что был уже немолод и имел в своем послужном списке не одну славную операцию. В довершение, он стал жестоко хворать. «Не описать вам всех припадков слабостей моего здоровья, — писал от Потемкину. — Перемените мне воздух, увидите еще во мне пользу... Найдите мне способ здоровье польготить... жизнь пресечется — она одна. Я еще мог бы по службе угодить, если бы пожил».

Потемкин никак не отзывался на эти письма. Оставалось одно — запастись терпением и ждать поворота судьбы.

Мало-помалу обстановка в Крыму разрядилась. Порта признала Шагин-Гирея крымским ханом, и бóльшая часть русских войск была выведена из Крыма. Суворов получил в командование Малороссийскую дивизию. Только он начал ее «экзерцировать», как пришел новый приказ — его вызывали в Петербург. С затаенными надеждами помчался он в столицу. Может быть, «матушка» оценила его верную службу? Императрица, в самом деле, приняла его очень приветливо: видимо, сказались успешное завершение крымского предприятия и заступничество всемогущего Потемкина. Обворожив Суворова комплиментами на ломаном русском языке, она командировала его в Астрахань для выполнения «секретного и важного поручения».

Суворов с энтузиазмом юноши помчался на «свеженькую работу», но скоро ему пришлось разочароваться. Русское правительство хотело, воспользовавшись ост-индской войной между Англией и Францией, оттянуть часть морской торговли с Индией на сухопутное направление через Персию. В связи с этим Суворову поручалось осмотреть дороги, принять меры к безопасности караванов и начать приготовления к замышлявшемуся походу в Персию. Однако очень скоро обнаружилась беспочвенность всего проекта. Дело положили под спуд; тем не менее, Суворова оставили в Астрахани.

Два долгих года провел он там, томясь небывалым бездельем... Даже

жизнь в Крыму казалась ему теперь раем. Служебное положение его было самое неопределенное; иной раз он просто считал себя в ссылке. Вдобавок, его больно жалили всевозможные мелкие дрязги и сплетни, которыми была полна Астрахань. На губернаторском рауте приезд вице-губернатора был ознаменован тушем, а при появлении его, Суворова, туша не было; какой-то директор гимназии ядовито доказывал ему с помощью алгебры, что всякий прапорщик его умнее; губернаторша не явилась с ответным визитом к его жене, Варваре Ивановне, и т. д., и т. д. Вся эта тина мелочей засасывала самолюбивого полководца. Каждый булавочный укол ранил его. Он забрасывает Потемкина письмами, прося переместить его куда-нибудь. В целом потоке ходатайств он выдвигает множество вариантов его нового назначения. Наконец, в декабре 1781 года его слезницы увенчались «успехом»: его перевели в Казань — единственное назначение, которого он просил ему не давать.

Но, как-никак, Казань была лучше Астрахани. Он незамедлительно выехал туда, но не успел приехать, как пришло новое распоряжение — его переводили снова на Кубань.

Присоединение Крыма поставило перед правительством Екатерины ряд новых задач. Решено было окончательно присоединить к России все области, примыкавшие к северному побережью Черного моря, в первую очередь, степи, населенные кочевыми племенами ногайцев^[19].

Нужно было найти предлог, но за этим дело, как всегда, не стало.

Среди крымских татар и закубанских ногайцев росла оппозиция против Шагин-Гирея. Дело кончилось восстанием, в результате которого неудачливый хан бежал под защиту русских пушек в Еникале. Лучшего повода для экспедиции нельзя было и придумать. В секретном рескрипте на имя Потемкина (в сентябре 1782 года) предписывалось: «Один корпус к Днепру, другой к Бугу, для обеспечения наших границ и Херсона, от которого отряд имеет действовать и внутри Крыма. Нужно наказать кубанцев, сие произвести большим числом войска Донского с частью регулярных войск, их подкрепляющих». В развитие этого приказа и был вызван Суворов, которому поручили Кубанский корпус в составе 12 батальонов и 20 эскадронов при 16 орудиях. Кроме того, под рукою имелись 20 донских полков. С военной стороны, покорение почти не знавших огнестрельного оружия ногайцев было нетрудной задачей и для этого не надо было выписывать Суворова. Но Потемкин опасался вмешательства Турции и хотел кончить дело быстро и энергично.

Проведя ряд рекогносцировок, Суворов убедился, что некоторые

племена ногайцев находятся «в разврате», то есть исполнены мятежным духом по отношению к посягавшим на их свободу русским. Однако он не терял надежды урегулировать вопрос без кровопролития. Первоначально он собрал несколько тысяч ногайцев на пир по случаю своего приезда. Во время пира он склонил часть ногайских главарей признать себя подданными России. Добиться общего согласия всего ногайского племени было чрезвычайно трудно вследствие бешеной агитации турок. Тем не менее, Суворов решился предпринять такую попытку.

В июне 1783 года был устроен второй пир, на котором предполагалось приведение к присяге всех главарей ногайских племен. Все прошло как нельзя лучше: было съедено 100 быков и 800 баранов, выпито 600 ведер водки. Накормленные доотвала гости присягнули на верность хлебосольной императрице.

Однако эта присяга не могла служить достаточной гарантией. Потемкин исподволь подготовлял другую меру: чтобы парализовать турецкие происки, он решил переселить ногайцев в степи, расположенные подальше от границ, в районы Тамбова, Саратова и Урала. Для ногайцев это было равносильно разорению, но с этим никто не считался.

В следующем же месяце переселение было начато^[20]. На всем пути были расставлены пикеты, имевшие, однако, инструкцию действовать очень осторожно и не раздражать переселенцев. Сперва дело шло довольно гладко, но 1 августа племя джембойлуков восстало и устремилось обратно к Кубани. Прижатые подоспевшими войсками к реке, несчастные кочевники подверглись страшному истреблению.

В рапорте Суворова князю Потемкину говорится:

«Опроверженные и потоптанные бунтовщики бросались мимо брода прямо в глубокую реку с тинятым грунтом, где были аркибузированы, а задние рублены и колоты. Своих жен, коих из арб забрать не могли, резали с детьми, а забранных детей бросали живых в реку... Множественные из оставшихся живыми вылезали из воды на противном берегу в рубашках и нагие и там нашими на той стороне поражаемы были... Прибывший от места сражения сказывал, что он без счета видел мертвых и не одну тысячу, таже и довольно в полону, и г.г. полковники собрали много невинный младенцев, коих питают молоком».

Истребление джембойлуков взволновало все племена и взорвало непрочную постройку якобы дружественных отношений с ногайцами. Несколько мелких русских отрядов были изрублены; 10 тысяч кочевников осадили Ейск, гарнизон которого с трудом отбил. Вдобавок, переселившийся в Тамань Шагин-Гирей завел флирт с Турцией и явно

передавался на ее сторону. Потемкин потребовал немедленного переезда Шагин-Гирея в глубь России. Посланный от Суворова курьер промедлил в пути и, когда добрался до Тамани, никого не застал: хан проведаль о приближении курьера и ночью бежал.

Потемкин рвал и метал. «Я смотрю на сие с прискорбием, — писал он Суворову, — как и на другие странные в вашем краю происшествия и рекомендую наблюдать, дабы повеления, к единственному вашему сведению и исполнению преподанные, не были известны многим».

Суворов и сам чувствовал, что оплошал, допустив бегство Шагин-Гирея. Неудовольствие Потемкина очень тревожило его. Поэтому он решил приложить все усилия, чтобы загладить свой проступок. Потемкин настаивал на энергичном ударе, который пресек бы разжигаемые турками и фанатичными мурзами волнения в ногайском народе. Раньше Суворов старался избежать новой резни, но, убедившись в тщете своих усилий и увидев, что его собственное положение пошатнулось, он тотчас стал готовиться к экспедиции.

Настаивая на экспедиции, Потемкин требовал «жестокоего урока», который положил бы конец набегам и послужил примером для других волновавшихся народов и племен. Проще говоря, речь шла об истреблении части закубанских ногайцев, общее число которых определялось в 80 тысяч человек. Суворов так и понял свою задачу.

С военной стороны операция не представляла трудностей: было очевидно, что кочевые, плохо вооруженные племена не смогут противостоять регулярным частям. Трудность заключалась в другом — надо было настигнуть направлявшихся в горы ногайцев, прежде чем они доберутся до трудно проходимых лесов. Чтобы не спугнуть неторопливо подвигавшихся кочевников, требовалось соблюдение строжайшей тайны.

Были распушены слухи, что Суворов уехал в Россию и что закубанских ногайцев решено оставить в покое. Между тем 19 сентября выступил отряд под начальством Суворова. Отряд двигался скрытно, главным образом, ночами. На другой стороне реки гарцовали сторожевые ногайцы. Чтобы не быть замеченными ими, во время маршей соблюдалась строгая тишина. Не слышно было военных сигналов, команда отдавалась вполголоса. Со стороны это могло показаться шествием призраков. Шли без дорог, часто наудачу. Приходилось перебираться через многочисленные балки и овраги, что увеличивало утомление войск. Тем не менее, быстрота похода была изумительна.

В ночь на 1 октября завидели ногайские становища, расположенные на другом берегу Кубани. Предстояло совершить незаметно для кочевников

переправу 16 рот пехоты, 16 эскадронов драгун и 16 казачьих полков. Переправа эта, по характеристике Суворова, была «наитруднейшая, широтою более семидесяти пяти сажень едва не вплавь, противный берег весьма крутой, высокий — толико тверд, что шанцовым инструментом в быстроте движения мало способствовать можно было».

В полной темноте войска без шума перебрались на другой берег. Пехота разделась донага, люди переходили Кубань, держа над головами ружья и патронташи; одежду пехотинцев перевезла конница.

Пройдя двенадцать верст от реки, близ урочища Керменчик настигли первые таборы ногайцев. После непродолжительной ожесточенной стычки началась рубка. Ногайцы тысячами гибли под саблями казаков. Дав истомленным войскам два часа на отдых, Суворов погнался за остальными ногайцами. Возобновилась беспощадная сеча. В течение дня было убито около трех с половиной тысяч ногайцев и тысяча взята в плен. Остальные рассеялись по лесам, где многих переловили враждовавшие с ними черкесы; добыча черкесов была так велика, что они меняли двух пленных ногайцев на одну лошадь. Русские потеряли пятьдесят человек.

К числу покоренных царской Россией национальностей прибавилась еще одна. Политическая самобытность закубанских ногайцев прекратилась. Прочие ногайские племена стали присылать делегатов с изъяснением покорности. Многочисленные племена черкесов также умерили свои набеги. Крымские татары, пораженные ужасом, стали толпами переселяться в Турцию.

Что касается Суворова, то в апреле 1784 года ему было предложено сдать командование — ввиду торжественного признания Турцией перехода в русское владение Крыма и Кубанского края — и выехать в Москву. Последующие два года он провел в «бездействии», как он называл мирные занятия с порученной ему Владимирской дивизией. Будучи однажды в Петербурге, он пожелал представиться императрице и был принят ею. При выходе императрицы Суворов упал на колени перед иконой, а потом повалился в ноги Екатерине, вообще, вел себя так, что за ним окончательно укрепилась репутация чудака и оригинала.

ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ КИНБУРН — ОЧАКОВ

Приняв командование над Владимирской дивизией, Суворов поселился в своем поместье, селе Ундолы, расположенном недалеко от Владимира по Сибирскому тракту. Одетый в холщевую куртку, он расхаживал по селу, беседовал с крестьянами, пел в церкви, звонил в колокола. Но вскоре деревенская идиллия наскучила ему.

«Приятность праздности не долго меня утешить может», — писал он Потемкину. Прошло еще несколько месяцев, и он отправил Потемкину новое письмо с настойчивой просьбой дать ему другое назначение. Опасаясь, что его ходатайство не будет удовлетворено вследствие наветов его недругов, он заранее оправдывается в них и дает себе характеристику, которая в устах всякого другого звучала бы отчаянным фанфаронством:

«Служу больше сорока лет и мне почти шестьдесят лет, но одно мое желание — кончить службу с оружием в руках. Долговременное бытие мое в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей. Препроводи мою жизнь в поле, поздно мне к свету привыкать. Наука осенила меня в добродетели: я лгу, как Эпаминонд, бегаю, как Цезарь, постоянен, как Тюренн, праводушен, как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, моим сверстникам часто бываю неугоден, но никогда не изменил я моего слова даже ни одному из неприятелей... Исторгните меня из праздности — в роскоши жить не могу».

Это замечательное письмо очень характерно для Суворова. Он был вполне искренен, когда во всеоружии своей «добродетели» пел себе панегирик. Он в самом деле не признавал лжи и притворства, а многочисленным недостаткам своего характера не придавал значения.

Однако и это письмо не достигло цели. Только в сентябре 1786 года последовало назначение Суворова в Екатеринославскую армию для командования кременчугскими войсками; одновременно Суворов был, по старшинству, произведен в генерал-аншефы.

Устраивая это назначение, Потемкин преследовал свои интересы. Его деятельность по освоению вновь приобретенных областей — Крыма и Новороссии — вызвала многочисленные нападки на него. Утверждали, что огромные суммы, им затраченные, не приносят никакой пользы, что управление его исполнено крупных недостатков. В связи со всеми этими

толками Потемкина должно было сильно беспокоить решение Екатерины лично посетить новые края. С присущей ему энергией он принялся готовить свои области, стараясь выставить их в наиболее выгодном свете. Он решил прикрыть тяжелое экономическое состояние края декоративной пышностью специально сооруженных построек, а глухое недовольство населения — тщательно срепетованными демонстрациями перегонявшегося с места на место «народа». Но в этой системе преувеличений и маскировок была и своя выигрышная сторона — демонстрация военных сил. Тут Потемкин мог многим похвалиться: в Севастополе стоял флот в сорок вымпелов, сухопутная армия, при всех ее недостатках, представляла по тому времени грозную силу. Естественно, что такой мастер «показать товар лицом», каким был светлейший князь Тавриды, должен был извлечь максимальную выгоду из этого козыря. Обдумывая, кто мог бы наилучшим образом подготовить войска к смотру, он остановился на Суворове, чьи методы обучения были ему известны.

Суворов охотно поехал к Потемкину. Он уважал его больше других государственных деятелей. Он знал, что наряду с тяготением к показному, наряду с хладнокровным истреблением десятков тысяч людей на работах по благоустройству подведомственных ему областей Потемкин проявлял и подлинную заботу о солдатах. За это редкое свойство Суворов многое прощал фавориту.

«Красота одежды военной состоит в равенстве и в соответствии вещей с их употреблением, — излагал свои мысли Потемкин во всеподданнейшем докладе в 1785 году, — платье должно служить солдату одеждою, а не в тягость. Всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно есть плод роскоши, требует много времени, иждивения и слуг, чего у солдата быть не может».

Это было крупное новаторство по сравнению с прежними понятиями, столь роковым образом воскрешенными вскоре Павлом I.

«Завиваться, пудриться, — продолжал там же Потемкин, — плешь косы, солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов».

Вместо громоздкого великолепия прежних воинских нарядов Потемкин ввел новую, удобную форму. Вот, например, какова стала форма драгун: куртка темнозеленого сукна с медными гладкими пуговицами по борту и красные суконные шаровары, подшитые кожей. На куртке погоны, воротник, обшлага; кушак и лампасы на шароварах из палевого сукна. С

левого бока на портупее висела сабля; рукоять сабли — с одним медным ободком, без поручей; ножны — из простого лубка, обшитого кожей. Через левое плечо надевалась боевая сумка с тридцатью патронами; концы ее уходили в подсумок, висевший на правом боку. Головной убор состоял из каски, с плюмажем из петушиных перьев. Сложные парикмахерские сооружения были уничтожены; конница должна была просто закручивать усы, пехота подымала усы кверху; бакенбарды были в армии запрещены.

Реформы не ограничились вопросами одежды. Они коснулись основ военного устройства. В одном распоряжении на имя Репнина (1788) Потемкин писал:

«Из опытов известно, что полковые командиры обучают части движениям, редко годным к употреблению на деле, пренебрегая самые нужные. Для того сим предписываю, чтоб обучали следующему:

1. Марш должен быть шагом простым и свободным.
2. Как в войне с турками построение в карре испытано выгоднейшим, то и следует обучать формировать оный из всякого положения.
3. Наипаче употребить старание обучать солдат скорому заряду и верному прикладу.

Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а понуждать ленивых палкой не больше шести ударов.

Отличать примерных солдат, отчего родится похвальное честолубие, а с ним и храбрость».

Все это были совершенно новые веяния, и в каждой строке цитированного распоряжения чувствуется влияние столь поразивших на кременчугском смотре суворовских принципов.

По-иному, чем большинство генералов, смотрел Потемкин и на солдат. «Поставляя главнейшим предметом для пользы службы сбережение людей и доставление им возможных выгод, — писал он в ордере князю Долгорукову, — особливо же призрение больных, — предписываю вашему сиятельству подтвердить о том наистрожайше во все полки и команды».

Беда была в том, что Потемкин, по свойственному ему непостоянству, не очень следил за соблюдением новых порядков. Но самый факт столь авторитетного прокламирования их имел громадное значение и подводил надежный фундамент под соответственные новшества Суворова.

В начале 1787 года Екатерина в сопровождении блестящей свиты выехала в путешествие. До Киева царский поезд двигался на перекладных — на каждой станции его ожидали 560 свежих лошадей, далее по Днепру — на восьмидесяти галерах. Потемкин превзошел самого себя, стремясь

поразить великолепием и убедить в благоденствии своего края. Каждая галера располагала своим хором музыки. На берегах толпился разряженный «народ»; для оживления пейзажа были согнаны стада, тайно перегонявшиеся ночью по пути следования кортежа; на горизонте вспыхивали колоссальные фейерверки — настоящее чудо пиротехники — кончавшиеся букетом из 100 тысяч ракет. Сопутствовавший Екатерине австрийский император Иосиф II назвал путешествие «галлюцинацией».

К маю императрица добралась до Кременчуга, и здесь Потемкин предложил посмотреть маневры. Суворов имел всего несколько месяцев для обучения своей новой дивизии, но за этот короткий срок он привил войскам исключительную точность движений, живость действий и энергию маневра. Смотр произвел на всех ошеломляющее впечатление. «Мы нашли здесь расположенных в лагере 15 тысяч человек превосходнейшего войска, какое только можно встретить», — сообщала Екатерина Гримму.

Щедро раздавая награды, императрица обратилась и к Суворову с вопросом, чем может его наградить. Но Суворову уже давно было не по себе. Вся эта шумиха не нравилась ему. Он не видел ничего замечательного в продемонстрированном им своим обычном строевом учении; в то же время для него было ясно, что больше всех сумеют нажать капитал на успешных маневрах сам Потемкин и облеплявшая его туча прихлебателей. В этих условиях предложенная награда не радовала его, и на вопрос Екатерины он дал столь типичный для него, чисто эзоповский ответ;

— Давай тем, кто просит, ведь, у тебя и таких попрошаек, чай, много. — И потом добавил: — Прикажи, матушка, отдать за квартиру моему хозяину: покою не дает.

— А разве много? — недоуменно спросила императрица.

— Много, матушка: три рубля с полтиной, — серьезно заявил Суворов.

Екатерина ничего не ответила на эту выходку; деньги были уплачены, и Суворов с важным видом рассказывал:

— Промотался! Хорошо, что матушка за меня платит, а то беда бы.

Впрочем, уезжая из Новороссии, государыня пожаловала злоязычному полководцу драгоценную табакерку, усыпанную бриллиантами, чем привела его в искреннее изумление.

«А я за гулянье получил табакерку в 7 тысяч рублей», — писал он об этом.

Но «пышное» гулянье повлекло за собой большие последствия. Вскоре под небесами Новороссии зарделось багровое зарево иного фейерверка.

Мир, заключенный в Кучук-Кайнарджи, был подобен короткому отдыху бойцов перед новой схваткой. Потемкин развивал перед Екатериной свой греческий проект: изгнать оттоманов из Европы, завладеть Константинополем и объединить под эгидой России все славянские народы Балканского полуострова. Императрица яснее своего любимца видела трудности этого предприятия, но давала себя увлечь им: помещичье хозяйство, особенно на юге России, все больше втягивавшееся в товарный оборот, остро нуждалось в черноморских путях. Херсон всюду назывался «путем в Византию»; второй внук Екатерины был многозначительно назван Константином. Если таковы были настроения в правящих кругах России, то еще воинственнее держала себя Турция. Там жили мечтой о реванше. Отторжение Крыма, слухи о дальнейших агрессивных планах русского правительства, падение авторитета султана — все это были тяжкие удары, парализовать которые можно было только победоносной войной. Это мнение поддерживалось вездесущими советчиками: английским, французским и прусским посланниками. Снова появился на сцене весь ассортимент интриг и хитроумных заверений: обещано было выступление против России Швеции, возобновление войны Польшей, нейтралитет Австрии, денежная помощь Европы и т. д., и т. п. — Порты верила всему этому потому, что хотела верить».

Атмосфера раскалялась с каждым днем. Последней каплей, переполнившей чашу, явилась поездка Екатерины в Крым. В Константинополе это было сочтено за явную демонстрацию; турецкие министры потеряли голову. Русскому посланнику Булгакову был пред'явлен нелепый ультиматум — вернуть Турции Крым и признать недействительными последние трактаты. Порты разговаривала с Россией так, как разговаривают только с побежденной страной. Булгаков, разумеется, отказал. В ответ турки совершили неслыханный акт — заключили посланника в Семибашенный замок. Английские дипломаты рекомендовали турецким министрам «сделать кое-какие авансы» по адресу Австрии, чтобы заручиться ее нейтралитетом. Этого было нетрудно добиться, так как, несмотря на союз с Россией, Иосиф II хотел воевать не с Турцией, а с Пруссией, где в это время уже не было грозного Фридриха. «За что я стану драться с турками? — говорил он. — Потемкин любит все начинать и ничего не оканчивает. Ему недостает Георгия 1-й степени — он получит его и помирится». Но нелепая политика Порты лишила Австрию предлога для соблюдения нейтралитета. Император Иосиф II со вздохом решил пожать военные лавры не в центре, а на юге Европы и, взяв с собой маршала Ласси, начал стягивать войска к турецким границам.

В России между тем шли лихорадочные приготовления. Русское правительство все время держалось вызывающе, развязывало войну, а когда она, наконец, стала фактом, обнаружилось, что ничего для войны не готово. Полки были укомплектованы только наполовину, питание было скудное, солдаты часто ходили без рубах. Пушек было много, но к ним нехватало снарядов. Флот достраивался, а спущенные корабли никуда не годились. Одетые в изящные мундиры кавалеристы были вооружены негодными саблями. Солдаты были все те же «чудо-богатыри», как их прозвал уже Суворов, но организация их в целом попрежнему была ниже всякой критики.

Вдохновитель агрессивной политики Потемкин, узнав о приготовлениях Турции к войне, совершенно растерялся. Он обвинял французского посла Сегюра в поддержке варваров, в то время как Россия «хотела лишь определить для турок более удобные границы, дабы избежать столкновений в будущем».

— Я понимаю, — возразил Сегюр, — вы хотите занять Очаков и Аккерман: это почти то же самое, что требовать Константинополь; это значит об'явить войну с целью сохранения мира.

Потемкин закусил губу. Он знал, что еще недавно Булгаков, по его распоряжению, грозил туркам вторжением шестидесятитысячной армии под его, Потемкина, командованием.

Приходилось воевать, но он не знал, с чего начать в том хаосе, который представляла собой организация южной армии. Им овладела апатия. Талантливый, полный энергии деятель, он иногда погружался в непонятную прострацию, в мрачную меланхолию, когда никакое дело не интересовало его и ничто не было ему мило. Состоявший при русской армии австрийский военный атташе принц де Линь оставил такой портрет Потемкина: «Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно; унывает в удовольствиях, несчастен оттого, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро всем наскучивает; говорит о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями. Какая же его магия? Природный ум, превосходная память, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд и величайшее познание людей». Потемкин всего несколько лет был любовником Екатерины, но до самой смерти своей оставался самым доверенным лицом ее. На него она во всем полагалась и без его совета не предпринимала ничего серьезного. В нем она видела опору против крестьянских волнений, против дворцовых интриг, против всяких врагов внешних и внутренних. Она знала, что он умен, решителен и горячо предан ей. За то она щедро награждала его. Власть Потемкина была почти

безгранична. Ему сходили с рук безумные кутежи, многомиллионные растраты государственных денег, издевательство над одними, возвышение других, которые тем только и были хороши, что сумели ему понравиться. Таков был человек, на плечи которого легло главное руководство новой кампанией.

Начали срочно формировать две армии — Украинскую и Екатеринославскую. Первая была отдана Румянцеву, вторая — Потемкину. Оба фаворита были обижены разделением власти, оба придерживались собственного плана кампании. С австрийцами тоже не могли сговориться. Туркам удалось бы добиться легкого успеха, если бы они предприняли в этот момент энергичные операции. Но они топтались на одном месте полтора месяца, упустили выгоды внезапности, а когда, наконец, перешли к активным действиям, перед ними уже оказался Суворов.

После блестящего смотра в Кременчуге Суворов пользовался благосклонностью и Екатерины и всемогущею Потемкина. Никакая победа не могла дать ему в этом отношении столь много, как удачный парад, благодаря этому он получил командование одним из пяти корпусов, входивших в состав Екатеринославской армии. Потемкин поручил ему самый опасный район — Херсоно-Кинбурнский, где ждали первую удара турок и где совсем не были готовы его отразить.

В августе 1787 года Суворов примчался в Херсон и принял начальство над тридцатитысячным корпусом. Для него наступила счастливая пора: он спешно укреплял береговую линию, ставил батареи, распределял войска, приводил в порядок военное устройство фронта и тыла; он раз'езжал по всем угрожаемым пунктам, давал инструкции, изучал броды, наблюдал за турецким флотом. Мероприятия Суворова в этот период могут послужить образцом береговой обороны. Он чувствовал себя особенно хорошо в связи с небывало радушным отношением к нему Потемкина. Никогда еще Суворов не слышал таких приветливых слов от своего начальства, да никогда не слышал их и впредь. «Мой друг сердечный, ты своей особою больше 10 тысяч человек, — ворковал Потемкин, цеплявшийся за Суворова, как за якорь надежды. — Я так тебя почитаю и ей-ей говорю чистосердечно».

Однако военные действия еще не начинались. Про об'явление войны Суворов узнал довольно необычным образом. 18 августа к очаковскому паше был послан по какому-то малозначащему делу русский офицер. Паша во время обеда рыцарски сообщил посетителю, что война об'явлена и надо ждать сражения. Действительно, на другой день турецкие корабли напали на русский фрегат, случайно попавшийся им на пути.

Потемкин двинул против турок построенный в Севастополе флот. «Хотя бы всем погибнуть, но только покажите неустранимость вашу, нападите и истребите неприятеля», — писал он. Надежды его не оправдались — сорвавшийся сильный шквал разметал все корабли, один из них занесло в Константинополь, а другие вернулись чиниться в Севастопольскую гавань.

Это окончательно лишило Потемкина мужества.

«Матушка государыня! Я стал несчастлив, — скорбно писал он Екатерине. — При всех мерах возможных, мною предприемлемых, все идет наыворот. Флот севастопольский разбит бурей; остаток его в Севастополе, корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я при моей болезни поражен до крайности; нет ни ума, ни духу». В полном отчаянии он предлагал даже вывести войска из Крыма. Ненасытная жажда захватов сменилась у него опасением за коренные русские земли.

Екатерина и слышать не хотела об очищении Крыма. «Известия, конечно, нерадостные, — отвечала она, — но, однако, ничто не пропало... Я думаю, что всего бы лучше было, есть ли бы можно было сделать предприятие на Очаков, либо на Бендеры, чтоб оборону, тобою самим признанную за вредную, оборотить в наступление». В том состоянии уныния, в котором находился Потемкин, он совершенно непригоден был для выполнения такой задачи. Но вместо него замыслам Екатерины помог Суворов.

После гибели русского флота турки решили высадить десант на Кинбурнской косе, имевшей большое стратегическое значение. Суворов сперва не верил в серьезность этого намерения, но потом сдал в Херсоне команду Бибикову и поскакал в Кенбурн. 22 августа он доносил Потемкину:

«Вчера поутру я был на борде Кинбурнской косы. Варвары были в глубокомыслии и спокойны».

Он лихорадочно укреплял косу, но не для того, чтобы просто отстоять ее от неприятеля. Он ставил себе целью нанести туркам тяжкое поражение, истребить их живую силу. В этом духе он подготавливает своих подчиненных. Генералу Реку он пишет:

«Ваше превосходительство знаете, что мы дикались часто с варварами один против десяти, что вы сами изволили испытать мужеством ваших при Козлуджи... Приучите вашу пехоту к быстроте и сильному удару, не теряя огня по пустому. Знайте пастуший час!»

С теми средствами, которыми Суворов располагал, это был дерзкий замысел. О состоянии его артиллерии говорит тот факт, что при испытании

кинбурнских пушек девять из тридцати семи разорвались при первых выстрелах. Суворова это, конечно, не смутило.

Однако турки все медлили. Приближался период бурь, и Суворов начал уже думать, что турецкий флот, бесцельно бороздивший волны на пушечный выстрел от Кинбурна, уйдет восвояси, когда 1 октября началась бомбардировка крепости. Все турецкие корабли открыли огонь, медленно приближаясь к берегу. От кораблей отделились лодки и быстро направились к песчаной оконечности косы. Началась высадка десанта.

К полному изумлению солдат и генералов, Суворов запретил открывать ответный огонь.

— Сегодня день праздничный: Покров, — сказал он, — пойдем к обедне. Пускай их вылезают.

Офицеры тревожно шептались о состоянии рассудка их чудака-начальника. Но Суворов хладнокровно выстоял обедню. Он хотел дожидаться, пока все турецкие силы высадятся на берег, чтобы нанести им возможно чувствительный удар; кроме того, оконечность косы находилась в сфере действительного огня турецкой эскадры, приближаясь же к крепости, турки теряли это преимущество.

Не встречая никакого сопротивления, турки высадили свыше пяти тысяч человек. Во главе их стояли французские офицеры. Чтобы заставить своих солдат драться с ожесточением и лишиться самой мысли об отступлении, паша приказал отвести корабли подальше от берега. Под руководством французов турки немедленно стали продвигаться вперед, возводя на пути своего продвижения траншеи. Вскоре пятнадцать рядов траншей пересекало узкую горловину косы. Считая, что укрепляться более не для чего, турки бросились на штурм крепости, до которой им оставалось не более одной версты.

Этого момента и ждал Суворов. У него под рукой было только три тысячи человек, но он не сомневался в победе. Со стен крепости понеслась картечь, из ворот выбежала в мощном штыковом ударе пехота, а на фланги турецких цепей покатила казачья лава. Турецкий авангард был почти целиком уничтожен, весь наступавший отряд смешался и «дал тыл». Командовавший вылазкой Рек с одного удара занял десять рядов турецких ложементов.

Но по мере удаления от крепости контратаковавшие цепи попадали под выстрелы турецких кораблей. Шестьсот орудий громили фланговым огнем русских, опустошая их ряды. В числе раненых были Рек и почти все батальонные командиры. Войска, состоявшие наполовину из молодых рекрутов, заколебались, потом повернули обратно.

Суворов медленно отходил в арьергарде отряда. Лошадь под ним была ранена, он остался пеший. Увидев нескольких солдат, ведущих под уздцы коня, и приняв их за русских, он окликнул их. Это оказались турки, стремительно бросившиеся на русского генерала. Мушкатыр Степан Новиков заметил это и прикрыл своим телом Суворова. Обладавший огромной физической силой, Новиков заколол двух спагов; третий обратился в бегство. «Позвольте, светлейший князь, донести — и в нижнем звании бывают герои», — заявил Суворов, сообщая об этом эпизоде. Видя своего вождя окруженным турками, солдаты повернули обратно; это послужило как бы сигналом к возобновлению битвы.

Снова удалось потеснить турок, и снова на окраине косы наступление выдохлось.

«Какие ж молодцы, — с уважением отзывался на другой день Суворов о турках, — с такими я еще не дирижировал: летят больше на холодное ружье».

Солнце клонилось к закату. У русских были израсходованы патроны, полки понесли огромные потери. Суворов мог пустить в дело подходившие свежие части, но отказывался это сделать, приберегая их для решительного удара.

Под вечер осколок картечи ударил Суворова в грудь. Рана была неопасная, но он потерял сознание. Придя в себя, он увидел необычную картину: русские полки вновь отступали в беспорядке. Турки с победными возгласами отвозили захваченные русские пушки. По рядам их сновали дервиши, обещая райское блаженство погибшим. Французские офицеры умело руководили действиями турецких войск.

Четыре месяца спустя, описывая Кинбурнскую, битву, Суворов сказал: — Бог дал мне крепость, я не сомневался.

Хотя над землей уже нависала темнота, он решил в третий раз «обновить сражение».

Все резервы, которые он берег нетронутыми, были одновременно брошены на турок. В это же время единственное судно, которым располагал Суворов, галера «Десна», под командой безрассудно смелого мальтийского выходца, мичмана Ломбарда, атаковала турецкий флот и заставила отойти от берега семнадцать кораблей. Пользуясь ослаблением огня с моря, казаки пробрались по отмели в тыл туркам. Зажатые в тиски, истомленные сечей турки не выдержали. Их загнали в море и до глубокой темноты истребляли картечью. Всего семьсот человек были подобраны турецкой эскадрой.

Незадолго до конца сражения Суворов был вторично ранен — пуля пробивала ему руку. Он велел обмыть рану морской водою, перевязал ее

куском материи и со словами:

— Помогло, помилуй бог, помогло! — снова бросился в битву.

Кинбурнская победа произвела большое впечатление. Потемкин воспрянул духом; австрийцы уверились в силах своего союзника; в Константинополе были подавлены поражением. По всей России служили благодарственные молебны.

«Старик поставил нас на колени, — писала Екатерина, — но жаль, что его ранили».

Участвовавшие в битве войска получили награды: всем солдатам было выдано по 1 рублю, по 2 рубля и по 4 рубля 25 копеек (в зависимости от степени участия полка в сражении); многим были даны крейты и медали. Суворов горячо хлопотал за тех, кто, по его мнению, заслуживал награды, или у кого были тяжелые личные обстоятельства.

«На милосердие ваше, светлейший князь, — писал он Потемкину, — муромского полковника Нейтгардта: его полка легкий батальон сделал первый отвес победе. Жена его умерла, две дочери невесты, хлеба нет.

Майор Пояркин и Самуйлович поставили на ноги полки. Природное великодушие вашей светлости не забудет и их.

Обременяю вашу светлость, простите! Обещаюсь кровью моей ваши милости заслужить».

Сам Суворов получил один из высших орденов при исключительно милостивом рескрипте Екатерины. Он был совершенно очарован.

«Когда я себя вспомню десятилетним, — написал он Потемкину, — в нижних чинах, мог ли себя вообразить, исключая суетных желаний, толь высоко быть вознесенным. Светлейший князь, мой отец! Вы то один могли свершить! Жертвую вам жизнью моею и по конец оной».

Кинбурн был высшей точкой в отношениях Потемкина с Суворовым. Никогда уже более эти отношения не были так дружественны.

После сражения Суворов обратил все усилия на выучку солдат по своему методу. Отсутствием этой выучки он об'яснял неуспех первой атаки, едва не приведший к полной победе турок. Он еще долго помнил об этом и через шесть лет со щемящим чувством вспоминал «Кинбурнскую беду». Обучая войска, он издал, между прочим, замечательный приказ, ярко отражающий его военные правила:

«Артиллеристам быть приученным к скорострельной стрельбе, но в действии сие только служит для проворного заряжения. На неприятеля пальбу производить весьма цельно, реже и не понапрасну, дабы зарядов всегда много оставалось. Отнюдь не расстреляться и не привести себя в опасность.

Пехотное построение — движимый редут, т. е. кареями. Линией — очень редко. Глубокие колонны только для деплояжа. Карей бьет неприятеля прежде из пушек; с ним сближаясь, начинают стрелки в капральствах, по команде. Офицерам обучать прилежно солдат скорострельной пальбе, но в действии она самим опаснее больше неприятеля: множество пуль пропадает напрасно и враг, получая мало ран, меньше от того пугается, нежели ободряется. Чего ради пехоте стрелять реже, но весьма целно, каждому своего противника, не взирая, что когда они толпою. Хотя на сражение я определил 100 патронов каждому солдату, однако, кто из них много расстреляет, тот достоин будет шпицрутенного наказания. Но весьма больше вина, кто стреляет сзади вверх, и тогда взводному тотчас заметить.

При всяком случае наивреднее неприятелю страшный наш штык, которым наши солдаты исправнее всех на свете работают. Кавалерийское оружие — сабля. При твердом и быстром карьере каждый кавалерист особо должен уметь сильно рубить.

У кого в полку или роте будет больше больных, тот подвергнется штрафу. Рекрут особливо блюсти, с старыми не равнять, доколе окрепятся.

Субординация мать дисциплины или военному искусству.

Собственностью своею во всякое время жертвовать — правило высочайшей службы.

Казакам противную сторону зимою алармировать и схватывать языки».

Военному обучению соответствовал весь арсенал суворовских воспитательных приемов. Результаты, как всегда, не замедлили сказаться. Неопытный, невежественный рекрут становился первоклассным бойцом, гордым своим званием и готовым стойко сражаться, если не за императрицу, то за своего командира, в котором ему виделось олицетворение родины.

Главным турецким опорным пунктом на Черном море являлась сильная крепость Очаков. Через две недели после Кинбурнского сражения Екатерина писала: «Важность Кинбурнской победы в настоящее время понятна; но думаю, что с той стороны не можно почитать за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших руках».

Однако только в июле 1788 года Потемкин осадил Очаков. Первая половина этого года прошла в удачных операциях против турецкого флота. Установленные Суворовым на побережье батареи с помощью легких военных кораблей уничтожили пятнадцать больших турецких судов. Турки

потеряли восемь тысяч человек, в то время как потери русских не превышали ста человек. Это дало основание Суворову предложить штурм Очакова. Но Потемкин не решился. Еще в октябре прошлого года он, зная горячий нрав Суворова, адресовал полуприказ, полупризыв к осторожности: «В настоящем положении считаю я излишним покушение на Очаков без совершенного оснащения об успехе. И потеря людей, и ободрение неприятеля могут быть следствием дерзновенного предприятия. Поручая особенному вашему попечению сбережение людей, надеюсь я, что ваше превосходительство, будучи руководствуемы благоразумием и предосторожностью, не поступите ни на какую неизвестность».

Почти то же ответил он на упомянутое предложение Суворова: «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна... Я все употреблю, надеясь на бога, чтобы он достался нам дешево».

Обложив, наконец, в июле Очаков, Потемкин повел осаду по тому же принципу «сбережения людей». Он не предпринимал почти никаких активных действий, рассчитывая на истощение запасов в крепости. Однако турки оказались хорошо подготовленными, а среди русской армии начались болезни, уносившие людей больше, чем турецкие пушки.

Отличный организатор, Потемкин был весьма посредственным полководцем. Это особенно ярко проявилось под Очаковым. Он отдавал все внимание мелким рекогносцировкам, выписывал из Парижа планы крепости с обозначением минных галлерей, заложенных французскими инженерами, вяло обстреливал передовые люнеты турок. Иногда он впадал в хандру, лежал в своем роскошном шатре, никого не принимая, зачитываясь сочинениями аббата Флери; иногда же вдруг появлялся среди солдат, запросто заговаривал с ними, потом выходил на открытое место и подолгу стоял там под жужжавшими пулями.

Суворов командовал левым крылом осадного корпуса. Медлительность и вялость действий страшно нервировала его.

— Одним гляденьем крепости не возьмешь, — обронил он однажды, — так ли мы турок бивали...

Услужливые друзья тотчас передали эту фразу Потемкину.

Простояв четыре недели в полном бездействии, Суворов не выдержал. В один из последних дней июля он воспользовался турецкой вылазкой, чтобы завязать настоящую битву. Излюбленный Фанагорийский полк Суворова опрокинул турок, но из крепости выслали сильное подкрепление. Принц де Линь умолял воспользоваться переводом почти всего гарнизона к месту боя, чтобы штурмовать Очаков с другой стороны, но Потемкин

отказал. Ломая руки, он бегал по палатке, скорбя о «ненужной» гибели русских солдат. Тем временем турки стали теснить оставленный без поддержки отряд Суворова. Сам он, как всегда, был в гуще битвы, отдавая распоряжения и поспевая всюду, где замечалось колебание. Один крещеный турок, недавно перебежавший из русского лагеря и знавший Суворова в лицо, указал на него янычарам. Десяток пуль одновременно полетели в Суворова. Одна из них пронзила его шею, остановившись у затылка. Чувствуя, что рана серьезна, Суворов зажал ее рукою и, сдав команду Бибикову, удалился. С его уходом русские войска недолго сопротивлялись окружившему их неприятелю. Потеряв свыше пятисот человек, они отступили на прежние позиции.

У Суворова немедленно извлекли пулю и перевязали рану. Во время операции появился посланный Потемкина — главнокомандующий грозно спрашивал, что происходит. Корчась от боли, Суворов велел передать:

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу.

Это был удар не в бровь, а в глаз. На следующий день пришел официальный запрос Потемкина: «Будучи в неведении о причинах и предмете вчерашнего происшествия, желаю я знать, с каким предположением ваше высокопревосходительство поступили на оное, не донося мне ни о чем во все продолжение дела, не сообщая намерений ваших прилежащим к вам начальникам и устремись без артиллерии против неприятеля, пользующегося всеми местными выгодами. Я требую, чтобы ваше высокопревосходительство немедленно меня о сем уведомили и из'яснили бы мне обстоятельно все подробности сего дела».

С формальной стороны, а в значительной мере и по существу, Потемкин был прав. Бой был начат Суворовым опрометчиво и последовавшая неудача — одна из самых крупных во всей его деятельности — не была особенно удивительна. Правда, если бы Потемкин воспользовался создавшейся обстановкой, результат мог быть иным, но это выходило уже за рамки официальной переписки, как выходило за эти рамки и главное побуждение Суворова начать битву: протест против инертности Потемкина.

Князь Тавриды не прощал обид и не жаловал ослушников. Суворову было предложено покинуть армию. Страдая от воспалившейся раны, — во время перевязки там оставили куски материи, и они начали гнить, — он

уехал в Кинбурн лечиться. Потемкин постарался оправдать перед императрицей его удаление. Он так представил дело, что Екатерина, передавая придворным новость, выразилась: «Сшалил старик; бросаюсь без спросу, потерял с 400 человек и сам ранен: он, конечно, был пьян».

Таким образом, Суворов сразу лишился расположения и Екатерины и Потемкина. Вдобавок, поправка его шла медленно. «Дыхание стало в нем весьма трудно и ожидали уже его кончины», — свидетельствует бывший при нем Антинг.

Только он стал поправляться, как новая неудача подорвала его силы: в Кинбурне, вблизи от дома, где он жил, взорвалась военная лаборатория. Взрывом разнесло часть стены в комнате, где находился Суворов. Полузасыпанный камнями, с обожженными лицом и руками, он оцупью выбрался на улицу.

Секретарь Потемкина, Попов, прислал соболезнование. По поручению Суворова, составили ответ, указав, что дело обошлось без большого вреда, кроме знаков на лице и удара в грудь. Прочтя, Суворов приписал: «Ох, братец, а колено, а локоть? Простите, сам не пишу, хвор».

Но даже больной, израненный, опальный — он не оставлял без внимания и поощрения героизма, проявленного солдатами.

«Кинбурнский комендант свидетельствует, — доносил он, — что во время взрыва капрал Орловского полка Богословский и рядовой Горшков, первый когда флаг духом оторвало и впал оный с бастиона на землю, тот же час подняв оный сохранил и по окончании взрыва вдруг поставил в прежнее место; рядовой в самое время происшествия стоял на часах на батарее, где столько в опасности находился, что духом каску сшибло и кидало о туры, но он на своем poste был тверд и сохранил должность. За таковые неустрашимости и усердие произвел я капрала в сержанты, а рядового в каптенармусы».

Из Кинбурна Суворов переехал в Херсон, потом в Кременчуг. Во время переезда он лично явился к Потемкину, надеясь умиловать его. Князь принял его очень неласково, осыпал градом упреков, по выражению Суворова, готовил ему «Уриеву смерть». Всю зиму и часть весны Суворов оставался не у дел, с завистью следя за действиями других генералов.

Впрочем, действия эти были довольно неумелы. Потеряв от дизентерии и стужи половину людского состава и почти всех лошадей, Потемкин решил на то, что полгода назад предлагал ему Суворов. Первого декабря он издал приказ; «Истоца все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонению его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить, наконец, последние

меры. Я решился брать ее приступом и на сих днях произведу оный в действо».

Штурм состоялся 6 декабря и длился всего час с четвертью. Русские войска потеряли три тысячи человек — незначительную часть того, что унесли морозы и болезни. Очаков подвергся страшному разграблению. Потемкин был награжден долгожданным орденом; все ошибки его были забыты, когда закончилась, наконец, «осада Трои», как называл саркастически Румянцев осаду Очакова.

ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ ФОКШАНЫ — РЫМНИК

1789 год начался для России при трудных обстоятельствах. Союзники ее, австрийцы, потерпели ряд жестоких поражений от турок. Швеция решилась-таки об'явить России войну и действовала столь успешно, что Екатерина как-то выразилась:

— В самом деле, Петр Великий поставил столицу слишком близко к шведским берегам.

Обширные захватнические замыслы дворянского правительства оборачивались против него же; приходилось напрягать все силы, чтобы справиться с порожденными войной затруднениями. В городах и селах забирали новых рекрутов, на плечи населения взваливали все новые налоги. Было решено любой ценой сломить турок.

Весной этого года нервничавший от долгого пребывания не у дел Суворов добился назначения в передовой корпус Молдавской армии. Зная о конфликте его с Потемкиным, Екатерина послала Суворова к Румянцеву. Вскоре, однако, Румянцев был, по настоянию Потемкина, удален в отставку, и командование второй армией было вверено Репнину, причем Потемкин получил общее руководство всеми силами.

Суворов, с порученным ему корпусом — 5 пехотных полков, 8 кавалерийских и 30 пушек, — занял выдвинутую позицию при Бырладе, являющуюся главным пунктом связи с австрийцами. Через некоторое время к нему примчался курьер от командира австрийского корпуса, принца Кобургского: сильная турецкая армия сосредоточивалась в Фокшанах, готова удар против австрийцев, и Кобург просил подкрепить его.

Суворов вначале не рискнул действовать на свою ответственность; он запросил Репнина, но тот уклончиво ответил, что не препятствует Суворову предпринять операцию, но дает ему на нее шесть дней срока, требует оставить часть войск в Бырладе для прикрытия и настаивает на предварительной письменной договоренности с принцем Кобургским.

Тогда Суворов донес, что во исполнение общей потемкинской директивы «не терпеть впереди себя неприятельских скопищ» он выступает к Фокшанам. Взяв с собою около половины имевшихся у него войск, он 16 июля выступил из Бырлада.

Марш был исключительно быстрым. За 28 часов прошли пятьдесят верст и присоединились к австрийцам. Кобург немедленно прислал

ад'ютанта, приглашая Суворова на личное свидание.

— Генерала Суворова нет, — учтиво ответили ад'ютанту.

Через час пришел другой ад'ютант.

— Генерал Суворов молится богу, — последовал не менее любезный ответ.

Третьему посланцу сообщили, что генерал Суворов спит.

Принц переходил от удивления к негодованию. Но Суворов хорошо знал, что делал. Еще в Бырладе он познакомился с разработанным австрийцами планом операции, типичным продуктом кабинетно-доктринерского мышления. Оспаривать этот план в условиях двоевластия (причем Кобург был старше чином — генералом от кавалерии) было не легко. Суворов предпочел завязать сражение по своему плану и поставить австрийцев перед совершившимся фактом.

В 11 часов вечера он прислал принцу Кобургскому написанную по-французски записку, извещавшую, что русские войска выступают в 2 часа ночи, и предлагавшую Кобургу выступить тогда же по указанному ему маршруту. На обсуждение не оставалось времени; австрийский главнокомандующий подчинился. Впоследствии Суворов так об'яснил свое поведение:

— Нельзя было: он умный, храбрый, да ведь он тактик, а у меня был план не тактический. Мы заспорили бы и он загонял бы меня, дипломатически, тактически, энигматически, а неприятель решил бы спор тем, что разбил бы нас. Вместо того — «ура! С нами бог!» — и спорить было некогда.

В самом деле, план его был не книжный, схематический, а типичный суворовский план, построенный на решительных наступательных действиях, в каждой черточке отражающий энергию и дарование его автора и исполнителя. В глухую ночь союзные войска двинулись непосредственно к Фокшанам. В правой колонне шло 18 тысяч австрийцев, в левой — 7 тысяч русских. На полпути, у речки Путны, встретился передовой отряд турок. После упорного боя он был опрокинут; всю следующую ночь и под огнем противника наводили понтонный мост, и к утру река была форсирована. Начиналась самая трудная часть предприятия.

Дорога к Фокшанскому лагерю вела через густой, трудно проходимый лес; подступы к лесу защищала пятнадцатитысячная турецкая конница. Отразив в результате пятичасового боя бешеные наскоки конницы, союзные войска достигли опушки. Здесь Суворов повел свою колонну в обход леса, австрийцы же стали обходить лес с другой стороны. Пройдя некоторое расстояние, Суворов вдруг свернул с дороги и пошел напрямик

через болота. Увязая в тине, на каждом шагу проваливаясь в трясины, солдаты с огромным трудом проделали эту часть пути. Но результатом этого маневра было появление русских войск с той стороны, откуда турки совершенно не ожидали их. Все турецкие пушки были направлены в другую сторону, здесь не было возведено укреплений — словом, ничто не мешало Суворову нанести внезапный фланговый удар по турецким позициям. Он так и сделал. Обе союзные армии установили между собой связь и, не давая противнику опомниться, сбили его последовательно со всех позиций. Турки укрепились в нескольких близлежащих монастырях, но вскоре были выбиты и оттуда.

«Рассеянные турки побрели по дорогам — браиловской и к Букарестам. Наши легкие войска, догоняя, их поражали и на обеих дорогах получили в добычу несколько сот повозок с военной амуницией и прочим багажом», — вспоминал Суворов в автобиографии.

Только теперь встретились, наконец, оба командующих. Принц Кобургский сейчас же устроил походный обед, и за бокалами вина было закреплено столь удачное начало их дружбы. Даже дележ добычи не омрачил праздника, хотя об этот камень преткновения разбивалось не одно хорошее начинание. Суворов уступил австрийцам все продовольственные склады, так как он уже собирался возвращаться обратно; прочие трофеи были поделены поровну.

Именно с Фокшанского сражения турки выделили Суворова среди всех прочих военачальников. Имя «Топал-паши»^[21] стало внушать им страх.

Одна из любопытнейших особенностей Фокшан — это метаморфоза, происшедшая там с австрийскими войсками. Воодушевленные уверенностью Суворова, видя храбрость и стойкость русских солдат, австрийцы также дрались храбро. От их былой инертности не осталось и следа.

На обратном пути в Бырлад Суворов отправил Репнину и Потемкину лапидарные донесения о сражении. Потемкин написал по этому поводу Репнину: «О фокшанском деле я получил, так сказать, глухую исповедь и не знаю, что писать ко двору. Синаксари Александра Васильевича очень коротки; извольте истребовать от него подробного донесения, как дело происходило и куда неприятель обратился». Одновременно он сделал выговор Репнину за чрезмерно горячее поздравление, посланное принцу Кобургскому: «В письме к Кобургу вы некоторым образом весь успех ему отдаете. Разве так было? А иначе не нужно их так подымать, и без того они довольно горды».

Но это все были маленькие неприятности, не способные нарушить наступившего в русской и австрийской армиях ликования. Суворов же сразу вернул себе былой престиж и стал действовать более свободно, не озираясь так опасливо, как прежде, на стороживших каждый его шаг Репнина и Потемкина.

Август прошел в полном бездействии. Турки оправились от фокшанского поражения и задумали грандиозное предприятие: разбить сначала австрийцев, а потом обрушиться на расположенные по линии Бырлад — Яссы русские войска. У местечка Рымника сосредоточивалась огромная армия под начальством великого визиря. Со дня на день она готовилась перейти в наступление.

В начале сентября 1789 года австрийцы получили через лазутчиков сведения о приближении этой свыше чем стотысячной армии. Австрийский командующий, принц Кобургский, тотчас обратился за помощью к своему испытанному союзнику — к Суворову.

Мало доверяя сведениям Кобурга, Суворов решил выждать дальнейших известий. Но через сутки прискакал второй курьер — турки подошли к австрийским позициям и со дня на день можно ждать атаки. На клочке бумаги карандашом Суворов написал принцу Кобургскому одно слово:

— Иду!

Уведомив о своем движении Потемкина, он немедленно, глубокой ночью выступил в поход. Потемкин, в свою очередь, послал донесение в Петербург, пояснив, что «Кобург почти караул кричит и наши едва ли к нему во-время поспеют».

Однако Суворов поспел. Идя по размытой дороге, под проливным дождем, вынужденный наводить в пути сорванный разбушевавшейся рекой мост, он проделал в течение двух суток около ста верст и утром 10 сентября примкнул к левому крылу австрийцев. Существует рассказ, что когда один шпион доложил великому визирю о появлении Суворова, визирь велел повесить его за распространение небылиц.

Безмерно обрадованный, Кобург тотчас явился для обсуждения плана действий. Суворов принял его в простой палатке, на груде свежего сена и, не дав ему изложить составленной австрийцами диспозиции, развил свой проект. Ежели турки еще не наступают, заявил он, значит, они не закончили сосредоточения сил. В таком случае, надо немедленно атаковать их. Кобург колебался: русских и австрийцев вместе было 24 тысячи, то есть в четыре раза меньше, чем турок. Но Суворов поставил вопрос ультимативно, пригрозив, что в случае отказа атакует только своим семитысячным

корпусом. Он указал, что при крупном неравенстве сил лишь внезапная и быстрая атака обещает успех, что многочисленность турок будет способствовать их беспорядку и, наконец, — усмехнулся он, — «турок все же не столько, чтобы заслонить нам солнце». В конце концов, австрийский полководец подчинился более сильной воле и отдал себя в распоряжение Суворова.

Немедленно после совещания с Кобургом, Суворов поскакал к реке Рымне, вскарабкался, несмотря на свои шестьдесят лет, на высокое дерево и долго обозревал турецкие позиции. В голове его постепенно складывался план сражения. Позиции турок были очень удобны для обороны. Они прикрывались с фронта и флангов рекою, оврагами и лесами. Но в глазах Суворова это означало только, что его план должен быть особенно тщательно разработан. Не доверяя стойкости австрийцев, Суворов решил возложить всю тяжесть задачи на русские полки. Он задумал атаковать сперва один из флангов противника, где было сосредоточено всего 12 тысяч турок, приковывая неприятельский центр одновременным медленным наступлением австрийцев. Разгромив турецкий фланг, он решил, переменив фронт, сомкнуться с австрийцами для совместной атаки главной турецкой позиции. Этот маневр — перемена фронта ввиду противника — был очень рискован, но Суворов верил в себя, в своих солдат. Характерно, что, не желая смущать Кобурга, он не посвятил его полностью в свои намерения, сообщив только первую половину плана.

В тот же вечер войска двинулись на сближение с противником. В интересах наступавших было возможно более позднее обнаружение их турками. Поэтому шли молча, команда отдавалась вполголоса. Стояла безлунная, звездная ночь. Турки, не предполагая активных замыслов противника, не позаботились выставить охранение. Около четырнадцати верст войска прошли, не встретив ни одного турецкого пикета. По пути пришлось переправляться в брод через Рымну, шириною до двухсот шагов. Одна часть русских войск сбилась с пути и смешалась с австрийцами, но скоро удалось навести порядок.

Наконец, утром турки заметили приблизившиеся колонны и открыли огонь. В это время русский корпус двигался берегом реки к левому флангу турок, австрийцы же надвигались на центр, немного подаваясь вправо, вслед за Суворовым. Связь между русским и австрийским корпусами поддерживалась австрийской кавалерией под командованием одного из способнейших австрийских генералов, Карачая. Таким образом, наступление велось как бы уступами. Русские войска двигались четырьмя линиями, имея на флангах донских казаков. Сам Суворов находился в

первой линии, при среднем карре.

Итти приходилось полем, заросшим бурьяном и кукурузой. Это чуть не повело к катастрофе — у самых турецких ложементов наткнулись на глубокий овраг. Войска замялись. В этот момент турки открыли бешеную стрельбу, а из-за леса вынеслись нестройные толпы их конницы.

Суворова это не смутило. Он велел первым рядам немедленно спуститься в овраг и, перебравшись через него, атаковать батареи. Остальные части, с помощью обогнувшей овраг кавалерии, вступили в бой с конницей. Как раз в это время произошел известный эпизод, описанный одним очевидцем, австрийским офицером. Спустившись в овраг, карабкаясь под жерлами неприятельских пушек, гренадеры внезапно разразились громовым хохотом: повидимому, вездесущий Суворов рассмешил их какой-нибудь шуткой. Этот хохот показался рассказчику «чем-то до такой степени новым, неожиданным и демоническим», что он смог сравнить его только с «тем смехом, каким должны были смеяться клопштоковские черти».

Встретив твердый отпор, встревоженная глубоким продвижением ей во фланг передовых русских частей, турецкая конница рассеялась. Суворов запретил преследовать ее (по его выражению, он предоставил бежавшим «золотой мост»), так как имел дела поважнее.

Не теряя ни минуты, Суворов направил свой отряд влево, повернув фронт почти под прямым углом.

Тем временем австрийцы выдержали ряд сильных ударов турок, и хотя замедлили свое продвижение, все же с помощью кавалерии Карачая и русской конницы отразили все атаки.

Полдневный жар истомил бойцов. По безмолвному соглашению, битва на короткий срок приостановилась. Турки подтягивали главные силы; Суворов использовал передышку для сообщения своему союзнику дальнейшего плана операции. Он предложил концентрически наступать на центр неприятельской позиции, Крынгомейлорский лес, и одновременно с русскими атаковать его.

Однако, изучая лежащую перед ним местность, Суворов заметил, что подступы к лесу обстреливались сильной турецкой артиллерией, расположенной в деревне Боксе. Он принял решение сперва овладеть Боксои, видя в ней ключ позиции, и тотчас двинул туда свой отряд.

Сражение возобновилось с новой силой. Великий визирь ввел свежие части и сорокатысячная масса конницы с отчаянными возгласами «Экбер-алла... Я-алла!» обрушилась на австрийцев. Те мужественно оборонялись, однако с каждой минутой слабели. Видя, что Суворов удаляется, принц

Кобургский слал к нему одного курьера за другим, прося поддержки.

— Пускай держится, — отвечал русский полководец, — а бояться нечего: я все вижу.

Он знал, что, заняв Боксу, окажет более действительную помощь австрийцам, чем сотрудничая с ними в отражении фронтальной атаки. Ему и самому приходилось не легко — сильные турецкие батареи почти в упор громили его поредевший отряд, с флангов то и дело налетали янычары. Во время одной атаки казаки были совершенно рассеяны, но пехота устояла. Отлично действовала русская артиллерия, принудившая турок дважды свозить свои орудия с позиций. В конце концов, Бокса была взята. Быстро пройдя небольшую рощу, Суворов вышел во фланг главным турецким силам, почти опрокинув уже австрийцев. Попав под перекрестный огонь, турки отхлынули к Крынгомейлорскому лесу.

Наступал последний акт драмы. Предпринятый Суворовым сложный маневр должен был увенчаться прямым штурмом основных неприятельских позиций. Главнее укрепление их состояло из неглубокого рва и земляной насыпи. Однако насыпь эта не была еще готова и высота ее была незначительна. Заметив это, Суворов молниеносно принял решение, — одно из тех, которые не предусмотрены никакими теориями и которые рождаются только в мозгу гения, — он решил атаковать турецкие окопы кавалерией.

По его распоряжению, оправившиеся австрийские войска составили вместе с русским отрядом одну общую, несколько вогнутую линию. Карре первой линии были раздвинуты и в интервалах помещены конные части; остальная часть кавалерии была размещена на флангах.

Под сильнейшим огнем турок атакующие приблизились в таком порядке на 300–400 сажен к ретраншементу. В этот момент из интервалов всей линии вынеслась кавалерия и полным карьером помчалась на неприятеля. В одну минуту всадники пересекли обстреливаемое пространство, перескочили через ров и бруствер и врубались в плотные ряды янычар. Пораженные этой невиданной атакой, защитники траншей растерялись. Это позволило атакующей пехоте почти беспрепятственно добежать до места схватки.

— Ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь, — кричал солдатам Суворов, в течение всего дня присутствовавший в самых опасных местах боя, — туда придется всадить ваши штыки.

Началась жестокая рукопашная сеча. Прорвавшиеся в турецкий тыл казаки и австрийские уланы увеличили смятение потрясенного противника. Ряды турок дрогнули; еще момент — и они, бросая оружие, устремились в

бегство. Напрасно останавливал их с кораном в руке великий визирь, напрасно стрелял по беглецам из пушек. Паника была так велика, что не было даже попытки защищать прекрасно устроенные окопы, прикрывавшие переправу через реку. Единственный мост был запружен повозками. Турки бросились вплавь, но массами тонули в холодных, вздувшихся водах Рымны. Тех, кто оставался на берегу, нещадно рубила русско-австрийская кавалерия (пехота не участвовала в преследовании, так как не поспевала).

Стотысячная армия великого визиря перестала существовать как боевая сила. На поле битвы легло около 15 тысяч турок^[22]. Победителям достались сто знамен, восемьдесят орудий и огромная разнообразная добыча, в том числе несколько тысяч цепей, которые уверенные в победе турки везли для сковывания пленных.

Над местом боя спустилась тьма. Победители шумно праздновали победу и делили трофеи. Сохранился рассказ, что при дележе захваченных пушек между русскими и австрийцами возникли трения.

— Отдайте австрийцам, — распорядился Суворов, — мы себе еще достанем, а им где взять?

Однако отношения между союзниками в общем остались хорошими. Австрийцы признавали, что вся честь победы принадлежит русским. Один австриец писал: «Почти невероятно то, что о русских рассказывают: они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними». Суворов, со своей стороны, хвалил поведение австрийских войск, особенно выделяя Карачая с его кавалерией.

Рымникское сражение представляет собою одну из самых замечательных страниц военной истории и является одним из величайших подвигов Суворова. Что касается тех, чьими руками была завоевана эта победа, — русских солдат, дравшихся против упорного врага, один против пяти, и неуклонно, как таран, разбивавших все преграды, подавивших самую способность к сопротивлению у пришедших в отчаяние турок, — то этой битвой они доказали, что при правильном руководстве вправе называться лучшими в мире солдатами.

Все участвовавшие в сражении войска были награждены. Солдатам, по обычаю, дали грошевую денежную премию и некоторое количество серебряных медалей. Офицеры получили более существенные награды (Суворов трижды представлял списки отличившихся, мотивируя тем, что «где меньше войска, там больше храбрых»). Наградили и самого полководца, на этот раз щедро: он получил титул графа Рымникского, георгиевский орден 1-й степени и драгоценную шпагу. Австрия выразила

ему свою признательность, возведя в титул графа Священной Римской Империи. Не привыкший к подобной оценке своих подвигов, Суворов был просто поражен. «У меня горячка в мозгу, — писал он близким, — да кто и выдержит! Чуть, право, от радости не умер!»

Надо отдать должное Потемкину: забыв старые счеты, он сам ходатайствовал о возможно более «знатной» награде. Но и без Потемкина в придворных сферах нашлось у нового графа достаточно недругов и завистников. Все упорнее стали рассказывать о его странностях и чудачествах, которые с годами проявлялись все более отчетливо; не обходилось, конечно, без преувеличений и прикрашиваний. Все чаще стали с глубокомысленным видом объяснять победы Суворова одной причиной — счастьем. Помилуйте, фельдмаршал Салтыков не советует, фельдмаршал Ласси не рекомендует, а этот чудаковатый старик поступает по-своему и добивается успеха! Слепое счастье!..

Косвенным результатом Рымника было легкое взятие русскими войсками Бендер и австрийскими — Белграда: турки изверились в своих силах после двукратного страшного поражения. Кампания 1789 года, в начале которой союзники потерпели крупные неудачи (особенно австрийцы), окончилась для них очень удачно.

Для России создалась возможность заключить на выгодных условиях мир, который был очень нужен истощенной стране. Турция еще больше нуждалась в мире; она беспрекословно выполнила требование об освобождении все еще содержащегося под стражей посланника Булгакова, чтобы облегчить ведение переговоров. Но дело не двигалось. В упоении от побед русское правительство пожелало увеличить первоначальные требования, включив присоединение Бессарабии и Очакова, то есть областей, фактически занятых русскими войсками. Порта, со своей стороны, поддалась вечным проискам Пруссии и Англии: пытаясь придать чуждой народным массам войне национальный характер, султан обратился к населению с призывом жертвовать на военные нужды. Начался сбор добровольных пожертвований, в короткое время составивший 30 миллионов пиастров.

Наступившие в следующем году события еще более усилили позицию Турции. В феврале умер, так и не снискав бранной славы, австрийский Иосиф II. Его преемник, Леопольд, застал усталую армию, расстроенные финансы, волнения в Галиции и Венгрии и, сверх того, угрозу войны с Пруссией. Английский министр Питт вел политику защиты Турции от Австрии и России. Английскую политику в этом вопросе поддерживала на континенте Пруссия, снова претендовавшая на ведущую роль в Европе.

Прусский министр Герцберг выдвинул сложный проект взаимных территориальных уступок, в результате которого Пруссия получала жирные куски от Польши и Швеции. Проект этот потерпел фиаско, но Австрии было пред'явлено ультимативное требование разорвать союз с Россией. Двести тысяч пруссаков придвинулись к австрийской границе; лучший австрийский полководец, Лаудон, был направлен туда из Турции, дабы руководить обороной. Тут еще одно обстоятельство подорвало союзническую верность Австрии: принц Кобургский осадил турецкую крепость Журжу, но, несмотря на огромное численное превосходство, был разбит во время вылазки гарнизона. Австрия решила не искушать долее судьбу. Она заключила сепаратный мир с Турцией, обязавшись, к тому же, не пускать русские войска в занятые ею владения (Валахию), что крайне усложняло стратегическое положение русской армии.

Россия лишилась своего единственного союзника. Между тем Екатерина понимала, что затянувшаяся война, высасывающая все соки из народа, порождает в стране глубокое недовольство, грозящее вызвать кризис всего ее правления. Любой ценой надо кончать войну. Поэтому, в первую очередь, был заключен мир со Швецией. Это несказанно всех обрадовало. «Ты пишешь, что спокойно спишь с тех пор, что сведал о мире с шведами, — писала Екатерина Потемкину, — на сие тебе скажу, что со мною случилось: мои платья все убавляли от самого 1784 г., а в сии три недели начали узки становиться, так что скоро паки прибавить должно меру; я же гораздо веселее становлюсь».

Но главная война велась, конечно, не в Швеции. «Одну лапу мы из грязи вытащили, — выразилась в другом письме Екатерина, — как вытащим другую, то пропоем аллилуя».

Однако до этого было далеко. Упустив поенные и политические возможности, открывшиеся после Фонтан и Рымника, Россия оказалась осенью 1790 года у разбитого корыта. Блестящая Рымникская победа не дала, в конечном итоге, плодов; она поблекла в многоречивых прожектах дипломатов и вялых действиях генералитета. Чтобы создать вновь почву для выгодного окончания затеянной войны, нужен был новый страшный удар, новый Рымник.

ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ ШТУРМ ИЗМАИЛА

Вернувшись с рымникских берегов в Бырлад, Суворов бездейтельно провел здесь целый год. Потемкин не склонен был к активным действиям. Он ограничивался дипломатической и военной корреспонденцией, перемежая ее небывало роскошными празднествами. Однажды, живя в Бендерах, он устроил пир в специально сооруженных подземных залах, роскошно убранных в восточном вкусе. Все русские генералы стремились присутствовать на этих сатурналиях. Один Суворов избегал появляться в главной квартире; он попрежнему не желал кружиться в хороводе трутней.

Досуг свой он заполнял изучением турецкого языка, чтением книг и газет и беседами с толпившимися в Бырладе людьми. Жил он очень скромно, несколько даже утрированно, быть может, в виде безмолвного протеста против потемкинскогo великолепия. Он ходил в куртке грубого сукна, не имел никакого багажа, обедал на скатерти, которую расстилали прямо на землю и т. д. Все резче и нетерпимее проявлялись его оригинальные вкусы и понятия. Заспорив как-то с одним заезжим инженером на тему о «немогузнайстве», Суворов так допек его за то, что тот не желал высказываться с определенностью о вещах, интересовавших полководца, что инженер выскочил в окно; Суворов, впрочем, прыгнул вслед за ним, догнал его и воротил обратно.

Существование, которое приходилось вести в Бырладе, не могло успокоить ненасытной жажды деятельности старого полководца, и он был очень обрадован, когда узнал, что в сентябре Потемкин двинул войска с Днестра на Дунай. Екатерина требовала энергичных действий, в результате которых можно было бы возобновить переговоры о мире. Но, ввиду невозможности перевести операции на равнины Балахин, для таких действий оставался лишь узкий плацдарм между Черным морем и устьем реки Серет. Задача осложнялась тем, что и без того очень удобный для обороны Дунай был защищен кольцом крепостей: Килией, Тульчей, Исакчей, Измаилом. Однако выбора не оставалось. В сентябре началось наступление. Первые три крепости были в короткий срок взяты русскими войсками. Оставался грозный Измаил: он «вязал руки для операций дальних». Пока стоял этот оплот турецкого могущества, Порты не склонна была к уступкам.

Расположенный в исключительно важном стратегическом пункте (на

пересечении путей из Галаца, Бендер, Хотина и Килии), запиравший выход через Дунай в Добруджу, Измаил являлся по тому времени первоклассной крепостью. После первой войны с Россией (1774) турки под руководством французских инженеров сильно укрепили его. Измаил имел вид прямоугольного четырехугольника, обнесенного глубоким рвом в шесть сажен шириной и четыре сажени глубиной, местами наполненным водою. Над рвом возвышался земляной вал в три-четыре сажени вышиной. На валу были расставлены несколько сот орудий. Крепостной гарнизон состоял из 35 тысяч человек под командой одного из опытнейших турецких военачальников, Айдос-Мехмет-паши. Сюда вошли гарнизоны ранее сдавшихся крепостей: Килии, Хотина, Аккермана; они были посланы в Измаил для искупления своей вины, причем был издан фирман, предписывавший, в случае повторной сдачи, рубить им без суда головы. В сущности, в измаильских стенах была сосредоточена целая армия. По обширности укрепленного пространства Измаил и был рассчитан на это; турки называли его «Ордука-леси», то есть армейская крепость.

Не надо забывать, что в обороне крепостей турки были вообще гораздо сильнее, чем в маневренном бою. Для взятия такой крепости, как Измаил, требовались исключительные для того времени людские и технические ресурсы.

Но как раз этих ресурсов Потемкин не имел. Армия понесла большие потери в первые годы войны; несколько корпусов были прикованы к прусской и польской границам; часть войск еще не дошла из Швеции; наконец, те силы, которые имелись в южной армии, были разбросаны во многих пунктах, и Потемкин не решился, либо не сумел сконцентрировать их перед Измаилом.

В октябре, после занятия Килии, русские войска в количестве 25 тысяч человек под начальством Гудовича и де Рибаса обложили Измаил. На активные операции никто не решался; шла слабая бомбардировка в надежде, что турки падут духом и выкинут белый флаг. Армия терпела лишения от холода, болезней и недостатка продовольствия. Один очевидец писал, что даже у корпусного командира за обедом, когда стол накрывался на восемь персон, могли насытиться только двое. О солдатах и говорить не приходилось. «Время стало столь дурно, что людям вытерпеть весьма трудно», — сообщал генерал Павел Потемкин^[23]. В конце ноября был созван военный совет, отправивший главнокомандующему на утверждение свое решение — снять на зимнее время осаду и ограничиться наблюдением за крепостью.

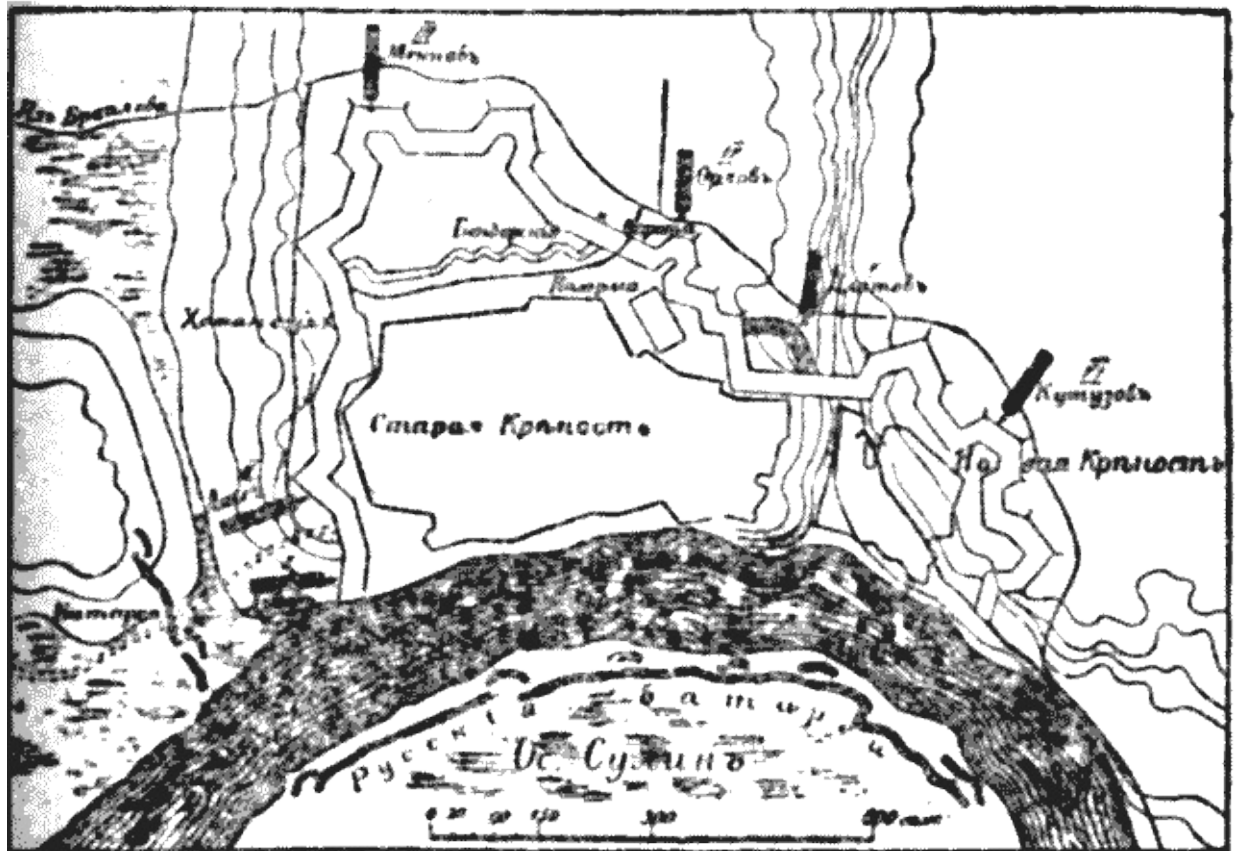
Однако Потемкин, всегда избегавший рискованных предприятий, на

этот раз заупрямился. Взятие Измаила было необходимо не только по военным, но и по политическим соображениям. Пруссия и Англия исподтишка распространяли мысль, что держава Екатерины — колосс на глиняных ногах. На карте стоял престиж Российской империи. Потемкин решил предпринять штурм Измаила. Был только один человек, который мог справиться с такой задачей; правда, светлейший князь предпочитал держать его в тени, потому что слава его и без того начинала иногда звучать чересчур громко, но теперь приходилось подчиниться обстоятельствам.

30 ноября Суворов получил ордер (приказ) главнокомандующего: «... остается предпринять с божьей помощью на овладение Измаила... Извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду..» Через два дня в русский лагерь под Измаилом приехали на простых донских лошадках два всадника: то был Суворов в сопровождении казака, везшего узелок с его одеждой.

Ознакомившись с положением вещей, Суворов увидел, что трудности штурма превосходят все его предположения. Даже с теми подкреплениями, которые он подтянул из Галаца, он располагал 30 тысячами человек; значительная часть из них — казаки, не приспособленные при состоянии оружия той эпохи к бою в пешем строю. Осадной артиллерии почти не было; снарядов — только один комплект. Войска непривычны к осадным действиям, плохо обучены, голодны и разуты. Крепость зорко охраняется, отлично — «без слабых мест» — укреплена.

«Обещать нельзя», — резюмировал Суворов в донесении Потемкину свои наблюдения — и тотчас начал готовить штурм.



План штурма Измаила 11 декабря 1790 г.

Впоследствии, когда Екатерина узнала подробности овладения крепостью, она выразилась, что «почитает измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли где в истории находящееся». Склонная к преувеличениям, когда дело касалось ее славы, Екатерина была на этот раз очень близка к истине. И уж во всяком случае военная история не знала precedентов, когда бы подготовка такого грандиозного предприятия заняла так мало времени и вместе с тем была настолько тщательна, настолько систематична.

Невдалеке от крепости был насыпан вал — точная копия измаильского. По ночам войска упражнялись в штурме этого вала, последовательно воспроизводя все фазы: подход ко рву, забрасывание его фашинами, переход, приставление и связывание лестниц, под'ем на вал, разрушение палисадов и т. д. Бесперывно шло заготовление фашинов и лестниц. Днем упражнялись в штыковом бою. Суворов проводил целые часы среди солдат, наставляя их, ободряя, подгоняя шутками и окриками, внушая каждому мысль о необходимости штурма, внедряя в каждого уверенность в успехе.

Чтобы усыпить бдительность турок, Суворов велел построить две

батареи, которые должны были свидетельствовать о намерении его продолжать осаду. Но это не достигло цели: перебежчики и пленные рассказали туркам о приготовлениях к штурму, рассказали даже о задачах и направлении отдельных колонн, как это раз'яснял офицерам и солдатам Суворов. Это не смущало полководца: основная идея, самая сущность замысла осталась тайной для войск; искусно составленная диспозиция маскировала ее даже от начальников колонн.

Со дня прибытия к Измаилу Суворов совершал беспрестанные рекогносцировки, изучая карту местности и состояние измаильских укреплений. Турки сперва обстреливали назойливого старика, но потом сочли его разведки не внушающими опасений и прекратили обстрел. Сопоставляя свои наблюдения с донесениями лазутчиков, Суворов убедился, что наиболее доступна та сторона крепости, которая примыкает к Дунаю. Отсюда турки не ждали удара, и укрепления здесь были незначительны. В связи с этим главный удар Суворов решил направить на эту сторону. Задача остальных колонн сводилась к тому, чтобы вынудить турок рассеять свои силы на всем шестиверстном протяжении крепостного вала. Это могло удалиться только при условии, что атаки демонстрирующих колонн будут вестись с максимальной настойчивостью. Поэтому в беседах с офицерами и солдатами Суворов не делал различия между колоннами; всем казалось, что предстоит равномерная атака по всему фронту, и если бы турки разузнали о плане штурма в такой форме, это было бы только наруку Суворову.

9 декабря был созван военный совет. Суворов не нуждался в мнении генералов; его решение было бесповоротно. Он созвал совещание, чтобы возбудить в своих соратниках энергию, чтобы поднять их дух.

— Два раза русские подходили к Измаилу, — сказал он, — и два раза отступали; теперь, в третий раз, остается нам только взять город, либо умереть. Правда, что затруднения велики: крепость сильна, гарнизон — целая армия, но ничто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе... Я решился овладеть этой крепостью, либо погибнуть под ее стенами.

Это была не фраза: Суворов твердо решил победить во что бы то ни стало, даже если пришлось бы самому пасть под стенами Измаила.

Казачий атаман Платов, как младший из членов совета, первый высказал свое мнение: — Штурм! Прочие двенадцать участников присоединились к нему. О том, что две недели назад было вынесено противоположное решение, никто даже не вспоминал.

За два дня до созыва совета Суворов послал в Измаил официальное

предложение о сдаче, присовокупив свою собственную записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть. Что оставляю вам на рассмотрение».

Айдос-Мехмет-паша ответил уклончивой просьбой установить на десять дней перемирие: один из его помощников витиевато заявил парламентарю, что скорее Дунай остановится в своем течении, чем сдастся Измаил.

Суворов и не ждал иного; предложение о перемирии он оставил без ответа. На 11-е число был назначен штурм.

Всего восемь дней прошло с момента появления Суворова в русском лагере, но за эти дни войска преобразились. Один из очевидцев штурма впоследствии рассказывал, что среди солдат и офицеров развилось нечто вроде соревнования: каждый рвался вперед, в самые опасные места, совершенно пренебрегая собственной жизнью. С таким войском можно было атаковать любую крепость. Но теперь предстояла не менее важная задача: надо было умело использовать эти войска, умело составить и выполнить план штурма.

Диспозиция предусматривала разделение атакующих на три отряда, по три колонны в каждом^[24]. Каждая колонна состояла из пяти батальонов; в голове шли 150 стрелков, обстреливавших защитников вала; за ними 50 саперов с шанцевым инструментом, потом три батальона с фашинами и лестницами; в хвосте — резерв из двух батальонов. До двух третей всех наличных сил предназначались для атаки приречной стороны. Почти половину русских сил под Измаилом составляли казаки; они участвовали в штурме, вооруженные короткими пиками. Непривычка к борьбе на укреплениях и плохое вооружение обусловили громадные потери в их среде. Суворову это впоследствии ставили в вину, но он ссылался на невозможность оставить неиспользованной половину войска.

Весь день 10 декабря происходила усиленная бомбардировка крепости. Турки энергично отвечали; в числе их орудий была одна тяжелая гаубица, каждый снаряд которой весил пятнадцать пудов. К вечеру канонада затихла. Так как дело происходило в период самых коротких дней, было решено начать штурм за два часа до рассвета, чтобы успеть до вечера подавить все очаги обороны.

Впоследствии неоднократно обращали внимание на одно любопытное обстоятельство: если бы штурм был назначен днем позже, то он, пожалуй, вовсе не состоялся бы, потому что вечером 11 декабря спустился густой туман, земля сделалась скользкой и взобраться на вал стало почти

невозможно; этот туман держался очень долгое время.

В ночь перед штурмом никто не спал. Начальникам было предписано оставаться при своих частях, запрещено было выводить батальоны до сигнальной ракеты, «чтобы людей не утруждать медлением к приобретению славы».

Суворов лично обошел фронт, вспоминая историю каждого полка, совместные битвы в Польше и Турции, запросто здороваясь с ветеранами и ободряя молодых. Потом он вернулся в свою палатку и прилег. Он был необычно сосредоточен, весь как-то ушел в себя. Полученное им письмо от австрийского императора осталось нераспечатанным; он прочел его только на следующий день.

В три часа ночи взвилась первая ракета: войска выступили к назначенным им местам. В половине шестого утра колонны двинулись на приступ.

Турки узнали от перебежчиков о дне штурма и были наготове. «Крепость казалась настоящим вулканом, извергавшим пламя, — описывает в своих мемуарах Ланжерон. — Мужественно, в стройном порядке, решительно наступали колонны, живо подходили ко рву, бросали в него свои фашины, по две в ряд, спускались в ров и спешили к валу; у подошвы его ставили лестницы, лезли на вал и, опираясь на штыки, всходили на верх. Между тем стрелки оставались внизу и отсюда поражали защитников вала, узнавая их по огню их выстрелов».

Осажденные дрались отчаянно. Они не ждали пощады — и не давали ее. На крепостном валу сражалось, наряду с мужчинами, много женщин, вооруженных кинжалами и ятаганами. Турки производили многочисленные вылазки, тесня и опрокидывая русские батальоны. Бойцы смешались в предрассветной мгле. Крики «ура» и «алла» беспрестанно сменялись, указывая, на чью сторону клонится победа. Мекноб, Безбородко, Львов, Рибопьер, Марков были ранены. Особенно плохо пришлось казакам: турки перерубали саблями их пики и убивали целыми сотнями.

Впервые в жизни Суворов не был в гуще боя. Он расположился на кургане, зорко следя за перипетиями сражения и беспрестанно посылая ординарцев с распоряжениями. Резервов у него почти не было, но предназначенный для этой цели двухтысячный отряд казаков он использовал с максимальным результатом, неоднократно выручая попадавшие в тяжелое положение части.

В 8 часов утра крепостная ограда была взята. Битва перекинулась в город. Каждую улицу приходилось завоевывать, каждый дом представлял собой стойко защищаемую крепость. Турецкое командование допустило

ряд серьезных ошибок: оно не использовало для вылазок своей кавалерии, пассивно сопротивлялось высадке русского десанта, отбитие атак велось без плана и в беспорядке. К 11 часам исход сражения определился. Русские войска со всех сторон концентрически надвигались на центр города, сжимая турок в железное кольцо.

Татарский хан Каплан-Гирей, победитель австрийцев под Журжей, предпринял отчаянную попытку вырвать Измаил из рук русских. Во главе трехтысячного отряда он напал на черноморских казаков, порубил их и прорвался в глубь русских полков. Подоспевшие егеря и гренадеры заткнули прорыв; отряд Гирея был окружен и уничтожен.

Близилась развязка. Турок выбивали из горевших домов, из «ханов» (больших каменных строений, служивших гостиницами). В одном из таких «ханов» погиб комендант крепости, Айдос-Мехмет. Общий хаос увеличивался оттого, что из конюшен вырвались несколько тысяч лошадей и в бешенстве носились по улицам.

К сумеркам сопротивление было окончательно сломлено. Внутри города был открыт огромный госпиталь. Впрочем, пользы от него было мало — две трети раненых скончались, вследствие антисанитарных условий и невежества врачей; двое опытных хирургов, Массо и Лоссиман, находились в это время в Бендерах, потому что у Потемкина болела нога, и прибыли в Измаил через два дня после штурма. Тела убитых русских свозились за черту города и предавались погребению. Турок никто не хоронил; во избежание заразы было велено бросать их в Дунай. Но даже при этой несложной процедуре потребовалось шесть дней, пока город был очищен от мертвецов: потери турок были очень велики. По приблизительному подсчету, в Измаиле было убито около 26 тысяч турок и взято в плен 9 тысяч. Только один человек из всего гарнизона ушел из крепости легко раненый; он упал в реку, ухватился за пловучее бревно и таким образом добрался до другого берега. Он-то и принес весть о судьбе Измаила. Судьба эта была нерадостна.

Занятый город был отдан, согласно обычаю, на трехдневный грабеж солдатам. Добыча была столь велика, что солдаты платили горстями жемчуга за бутылку вина, продавали за рубль драгоценные ткани и украшения. В грабеже, как всегда, принимали участие и генералы. Это вошло в правило. Князь Потемкин открыто подносил Екатерине крупные бриллианты, попадавшиеся в добыче. Не довольствуясь награбленным у жителей, офицеры и генералы неизменно отбирали у солдат все самое ценное. Один Суворов был исключением. «Он с нами во всем, кроме добычи», — с уважением говорили про него солдаты. Несомненно, что

Суворов охотно уничтожил бы обычай грабежа, но к этому вела вся традиция царского командования, практиковавшаяся постоянно и всеми другими государствами.

Офицеры предложили Суворову взять на этот раз хотя бы коня из захваченных табунов, но он ответил:

— Донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду.

Помолчав, он добавил:

— Я и без того буду награжден государыней превыше заслуг.

Он был убежден, что теперь его не минует фельдмаршальский жезл.

Весть о падении Измаила произвела во всей Европе ошеломляющее впечатление. Заседавшая в Систове враждебная России конференция держав прервала свои работы; в Константинополе воцарилось смятение, поговаривали о создании ополчения, о срочном укреплении столицы. В Петербурге царило ликование.

Придворные писатели, поэты соперничали в расписывании «ужасов» и «красот» штурма. Державин так описывал его:

Везувий пламень изрыгает,
Столп огненный во тме стоит,
Багрово зарево зияет.
Дым черный клубом в верх летит.
Бледнеет Понт, ревет гром ярый,
Ударам в след гремят удары,
Дрожит земля, дождь искр течет,
Клокочут реки рдяной лавы —
О, Росс! Таков твой образ славы,
Что зрел под Измаилом свет.

Суворов, проведенный еще дней десять в Измаиле, был засыпан летевшими со всех концов поздравительными письмами. Он знал им цену, но знал цену и своему подвигу. Он лучше других понимал, что Измаил — лучшее украшение его военной деятельности и один из величайших подвигов мировой военной истории. Под влиянием всего этого он потерял чувство реального. Ему показалось, что теперь он может появиться у властительных вельмож не с прежней настороженностью, а с гордо поднятой головой; он ожидал, что отсвет измаильской славы заставит каждого уважать в нем героя.

Екатерининская эпоха зло посмеялась над ним. Суворову еще раз — и теперь горше, чем когда бы то ни было — было суждено почувствовать, что неудовольствие фаворита значит больше, чем любые подвиги. Проученный когда-то Румянцевым, он был теперь вдесятеро большее проучен Потемкиным.

В первые дни после штурма переписка Суворова с главнокомандующим носила самый дружеский характер. Суворов, следуя своей манере и общему эпистолярному стилю того времени, рассыпался в из'явлениях преданности, писал, что желает «коснуться его мышцы и в душе обнимает его колени». Потемкин отвечал в том же любезном тоне. Вслед за тем Суворов выехал в Бендеры для личного рапорта — и тут одно «пустое обстоятельство» все погубило.

Он был уверен, что Потемкин встретит его, как равный равного. Но тому это и в голову не приходило. Он радушно встретил Суворова, выбежал даже на лестницу и в привычном добродушно-грубоватом, слегка покровительственном тоне сказал:

— Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?

— Ничем, князь, — раздражительно ответил он, — я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме бога и государыни, никто меня наградить не может.

Потемкин обомлел. Подобного тона он никак не ожидал.

Повернувшись, он пошел в комнаты. Суворов последовал за ним и подал строевой рапорт. Они молча ходили по залу; ни тот, ни другой не могли найти слов. Наконец Суворов откланялся и вышел.

Это была его последняя встреча с князем Таврическим.

Пять минут независимого поведения в Бендерах дорого обошлись Суворову. Все участвовавшие и многие не участвовавшие в штурме Измаила получили награды и повышения.

На долю же самого Суворова досталось вместо фельдмаршальского звания производство в подполковники Преображенского полка. Это считалось почетным назначением, потому что сама Екатерина числилась там полковником. Но таких подполковников был уже десяток, и в качестве награды за Измаил это было прямым оскорблением. До конца жизни Суворов с горечью вспоминал «измаильский стыд» — демонстративно-малую награду за подвиг, который он сам считал своим величайшим деянием и о котором как-то в минуту, откровенности отозвался, что на подобный штурм можно решиться только однажды в жизни.

Суворов выехал в Петербург. Потемкинские эстафеты опередили его: он был принят очень холодно. Екатерина почти не приглашала его в

Эрмитаж, в разговорах бывала сдержанна и неприветлива.

Суворов тяжело переживал это. Он начинал думать о близком конце. «Время кратко, — записывал он в одиночестве свои мысли, — сближается конец, изранен, шесть лет, и сок весь высохнет в лимоне».

В конце апреля Потемкин устроил небывалый праздник в честь подвигов минувшей войны. За три дня до праздника императрица вызвала Суворова и во время беседы невзначай обронила:

— Я пошлю вас, Александр Васильевич, в Финляндию.

Суворов понял: его хотят удалить, ему не место на потемкинском триумфе. В тот же день он покинул Петербург и, остановившись в Выборге, отправил Екатерине записку:

— Жду повелений твоих, матушка.

Повеление не замедлило прибыть — осмотреть финляндскую границу и представить проект укрепления ее. В месячный срок эта задача была выполнена. Суворов снова явился в Петербург, привезя с собой план постройки и реорганизации крепостей. Обычно такие планы лежали без движения годами, но в данном случае утверждение последовало почти тотчас же. Автору проекта поручалось привести его в исполнение.

Итак, вместо награды судьба уготовила ему новую опалу. Иначе он не мог расценивать возложение на него функций инженера-инспектора по вопросам фортификации, когда на юге еще гремели орудия и вся армия, для которой его имя уже стало символом победы, жаждала его возвращения.

Скрепя сердце, он приступил к новой работе: «играть хоть в бабки, если в кегли нельзя». Для него не было секретом, что назначение в Финляндию подсказано императрице Потемкиным. Он понимал, что под начальством у светлейшего ему более служить невозможно. «Я... для Потемкина прах, — писал он Хвостову. — Разве быть в так называемой «его» армии помощником Репнина? Какое ж было бы мне полномочие? Вогнавши меня во вторую роль, шаг один до последней. Я милости носил, но был в ссылке и в прописании — не говорю об общем отдалении... Твердой дуб падает не от ветра или сам, но от секиры».

Но осенью пришло известие о смерти того, кто раньше был его покровителем, а потом сделался недругом. «Великолепный князь Тавриды» перестал существовать.

Любопытен отклик Суворова на смерть Потемкина. Он выразил свое мнение с обычной оригинальностью:

— Великий человек — и человек великий: велик умом, высок и ростом. Не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором лорд Бэкон сказал, что чердак обыкновенно плохо меблируют.

Такова была его эпитафия на гроб князя Таврического.

Между тем работа Суворова в Финляндии быстро продвигалась вперед. Особенно сильные укрепления были возведены при Роченсальме — в противовес шведскому опорному пункту Свеаборгу. Суворов с удовольствием взирал на Роченсальм и норовил прогуляться вблизи укреплений.

— Знатная крепость, — говорил он с наивным и вместе ироническим самодовольством, — помилуй бог, хороша: рвы глубоки, валы высоки: лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять.

Условия, в которых приходилось работать Суворову, были не легкие. Не было строительных материалов: он принужден был сам организовывать выжиг извести, производство кирпича, даже постройку грузовых судов. Положиться было не на кого; всюду царили расхлябанность и безответственность. Как-то, заметив неисправности в порученном им деле, он стал выговаривать полковнику; тот свалил на своего помощника. «Оба вы не виноваты», — с гневом и горечью воскликнул Суворов и, схватив прут, стал хлестать себя по сапогам, приговаривая: «Не ленитесь! Если бы сами ходили по работам, все было бы исправно».

Но самому всюду поспеть было физически невозможно. Вдобавок, посыпались неприятности другого рода. Санитарное состояние войск к моменту приезда Суворова было очень скверным. В сущности, оно было таким во всей армии; один очевидец писал, что на русский госпиталь можно было смотреть, почти как на могилу: врачей было мало, почти все они были врачами только по названию и, в довершение, получали грошевую плату. В Финляндии дело обстояло особенно скверно, солдаты мерли десятками. Вместо того, чтобы реорганизовать лечебную часть, Суворов повел дело с обычной экстравагантностью — он совсем закрыл госпитали, заменив их полковыми лазаретами и лечением по правилам домашней гигиены. Ему удалось добиться понижения смертности и заболеваемости, но эта мера дала повод его петербургским недругам осыпать его градом упреков. Возобновились обвинения в том, что он изнуряет людей. Зерно истины в этом было, но, конечно, не обходилось без преувеличений. Вообще, все недостатки военной системы вменялись ему в вину.

Болезненная впечатлительность Суворова не позволяла ему хладнокровно парировать эти упреки. Скоро он потерял душевное равновесие, слал то угрожающие, то полные оправданий письма, одному генералу даже пригрозил дуэлью.

Репнин разбил при Мачине турок; в декабре 1791 года был заключен,

наконец, мир. Россия получила Очаков, вернув Турции все прочие завоевания; это было далеко от грандиозных замыслов авторов «греческого проекта», но еще в большей мере просчиталась Порта. Суворов с досадой следил за успехами Репнина. Он видел в нем теперь главного недруга своего. «Софизм списочного старшинства, — с тоскою писал он, — быть мне под его игом, быть кошкою каштанной обезьяны или совою в клетке; не лучше ли полное ничтожество?»

Репнин, в самом деле, плохо относился к Суворову. Но не его одного подозревал полководец. Иногда ему казалось, что его держат в Финляндии по проискам Салтыкова, не то Эльмпта, оскорбленного отказом в сватовстве к Наташе Суворовой, не то Кречетникова. «Кто же меня двуличит?» — спрашивал несчастный полководец.

Чем больше раздражался Суворов, тем больше плодил он врагов. В обращении с людьми он отбросил всякую сдержанность и, как обычно бывает с бесхитростными натурами, напрасно обидел многих порядочных людей, не умея отдалить от себя интриганов. Когда началась война с Польшей (1792), он, пренебрегая этикетом, прямо обратился к Екатерине с «буйным требованием» посылки его туда; императрица холодно ответила, что «польские дела не требуют графа Суворова». Тогда Суворов решил проситься в иностранную службу, либо подать в отставку; друзья отговорили его, но слухи об этом проникли в сановные сферы и дали лишний козырь в руки его врагов.

Он чувствовал, что задыхается.

«Баталия мне лучше, чем лопата извести и пирамида кирпича. Мне лучше 2000 человек в поле, чем 20000 в гарнизоне». И потом — буквально вопль: «Я не могу оставить 50-летнюю привычку к беспокойной жизни и моих солдатских приобретенных талантов... Я привык быть действующим непрестанно, тем и питается мой дух... Стерли меня клеветы, ведая, что я всех старше службою и возрастом, но не предками и не камердинерством у равных».

Теперь он готов был пожалеть о Потемкине.

И злая тварь мила пред тварью злейшей...

«Прежде против меня был бес, — писал он, — но с благодеяниями; ныне без них семь бесов с бесятами. Царь жалуется, псарь не жалуется. Страдал я при концах войны: Прусской — проиграл старшинство; Польше — бегшицрутанный; прежней Турецкой — ссылка с гонорами; Крым и Кубань — проскрипция... Сего 23 октября я 50 лет в службе. Тогда не лучше ли мне кончить непорочный карьер? Бежать от мира в какую деревню, готовить душу на переселение... Чужая служба, абшид, смерть — все

равно, только не захребетник».

Затем он как будто уgomонился. Окончилась польская война, его «бездействие» перестало казаться ему столь тягостным.

Стремление добиться боевого назначения сменилось у него желанием перемещения — «в Камчатку, Мекку, Мадагаскар и Япoнь»; более всего просился он в Херсон. Обстоятельства, наконец-то, помогли ему; отношения с Турцией снова обострились, и под влиянием этого в ноябре 1792 года последовал рескрипт: Суворов назначался командующим сухопутными силами Екатеринославщины, Крыма и вновь присоединенного Очаковского района с обязательством наблюдать за укреплением границ.

Суворов выехал на юг, исполненный больших надежд. Всякая перемена была для него желанна, тем более, что военные приготовления Турции сулили в перспективе боевую службу. Однако едва он прибыл в Херсон, возобновились неприятности.

Приступив к возведению крепостных построек, Суворов заключил контракты с поставщиками и, не располагая денежными суммами для задатков, выдал векселя. Когда векселя были пред'явлены в Петербурге к оплате, министерство финансов запротестовало: денег в казне мало, а тут с юга льется дождь счетов и векселей, выданных не в меру усердным командующим. Суворову было раз'яснено, что политическое положение не требует спешности в работах и что нужно быть поэкономнее. Он тотчас вскипел; его теперешние обязанности были ему так же мало по душе, как финляндские, но он хотел исполнять их добросовестно. «Политическое положение извольте спросить у вице-канцлера, а я его постигаю, как полевой офицер... Пропал бы год, если бы я чуть здесь медлил контрактами, без коих по состоянию страны обойтись не можно». Этот желчный тон возымел, как обычно, плохие результаты. Особым рескриптом ему повелевалось заключать контракты только через казенную палату, а ранее заключенные об'являлись расторгнутыми.

У Суворова опустились руки. «Боже мой, в каких я подлостях; и кн. Григорий Александрович никогда так меня не унижал». Вдобавок, ему приходилось возместить подрядчикам уже произведенные ими расходы на сумму около 100 тысяч рублей. Он распорядился продать его имения, но тут уже Екатерина сочла, что дело зашло чересчур далеко, и приказала отпустить из казны требовавшуюся сумму.

После всего этого Суворов стал относиться к своей работе с отвращением. Ничего, кроме новых злоключений, не ждал он от нее. Переписка его полна выражений неудовольствия: «Бога ради, избавьте меня

от крепостей, лучше бы я грамоте не знал», «Малые мои таланты зарыты», «Известны мне многие придворные изгибы, коими ловят сома в вершу. Но и там его благовидностями услаждают, а меня обратили в подрядчика» и т. п.

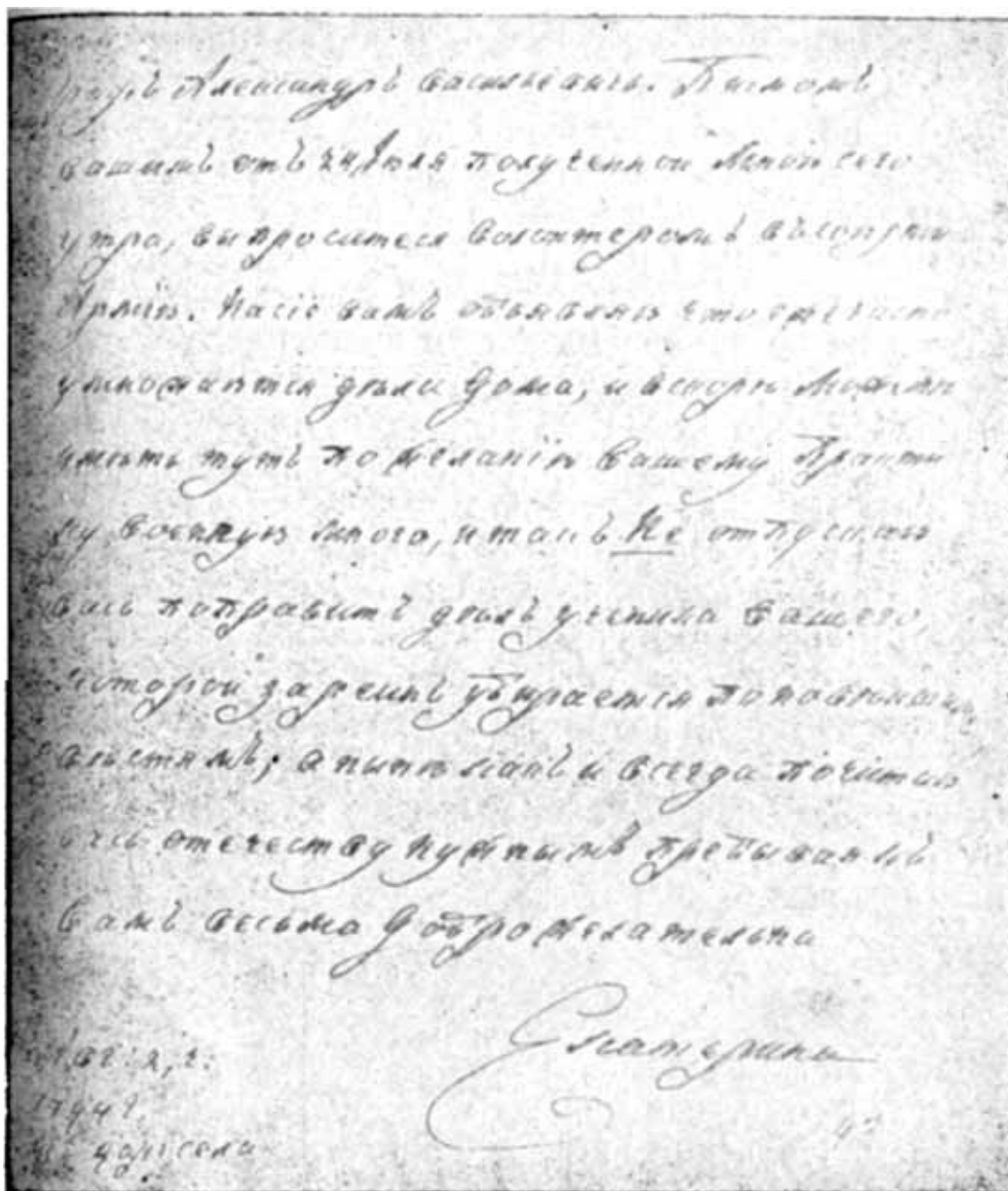
Даже военное обучение солдат велось им теперь вяло, без вкуса. Что же! Он «выэкзерцирует», а другие с этими солдатами будут одерживать победы.

По отзыву окружающих, Суворов никогда не был так сварлив и желчен, как в это время. Его обычная неуживчивость перешла в деспотизм и озлобление. Полковник Курис писал о нем: «Старик наш не перестает свирепствовать, мочи нет... Дай бог, чтобы снести все». Правда, Суворов сознавал свой недостаток и часто винился в нем, прося прощения у несправедливо обиженных. Но через минуту все начиналось сначала. Он представлял собою живой комок нервов, и даже его железная воля оказывалась тут бессильной. Бывали, впрочем, проблески: иногда он устраивал катанья с гор, прогулки, танцы, причем сам плясал по три часа кряду. Но это было кратковременно и снова сменялось угрюмой раздражительностью.

— Я буду говорить всегда, — промолвил он однажды, — кто хорош на первой роли, никуда не годен на второй.

Летом 1793 года он послал государыне просьбу уволить его волонтером к союзным армиям, сражавшимся против Франции; там он видел желанный простор для боевой работы, там было с кем померяться силами. Слухи об успехах французских армий волновали его, напрягли, по его выражению, все его военные жилы. К тому же, французская революция представлялась ему, подобно большинству его современников, таким явлением, против которого необходимо решительно бороться. Иллюстрацией его отношения к революции служит отправленное им около этого времени письмо предводителю контрреволюционного восстания в Вандее, Шарету: «Знаменитый вандейский герой! Перст бога мстителя начертал на горах погибель врагов; они падут и рассеются, как листья, отторженные ветром северным... И вы, бессмертные вандейцы, верные блюстители чести Франции...» и т. д.

Ходатайство его, конечно, не увенчалось успехом. Но он не оставлял мысли о волонтерстве, чтобы «там какую чесною смертью свой стыд закрыть». В ноябре того же 1793 года он пишет Хвостову: «Подвижность моя за границу та же и коли препона, то одна Наташа» (его дочь)^[25].



Факсимиле письма Екатерины Суворову: отказ в его просьбе отпустить волонтером в иностранные войска.

Через год он повторил свою просьбу: «Всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без практики по моему званию». В этом прошении таился глухой протест против того, что его не используют в начавшейся борьбе с поляками. Екатерина снова отказала, подав, однако, надежду на скорую «военную практику». Он не поверил, но в этот раз обещания сбылись.

СНОВА В ПОЛЬШЕ

Первый раздел Польши, состоявшийся в 1773 году, явился для нее грозным предостережением. Польские паны и шляхта, исполненные пустого высокомерия и тратившие силы на склоки между собою, начали лихорадочно искать путей к сохранению государства. Началась полоса реформ — создание сети учебных заведений, реорганизация армии некоторое облегчение участи крестьян. В 1788 году, когда у самого опасного соседа Польши — России — руки оказались связанными турецкой войной, польский сейм приступил к выработке новой конституции, отражавшей социальные и политические сдвиги в стране. Четыре года не прерывал сейм своей деятельности; в конце 1791 года была принята новая конституция. Горожане получили представительство в польском сейме; одновременно был установлен наследственный принцип престолонаследия. Реформы расширяли социальную базу высшего законодательного органа страны и устраняли междоусобные споры, возникавшие всякий раз при выборах нового короля. Однако основная слабость общественного строя Польши не была изжита; освобождения крестьян не последовало, социальные отношения не подверглись радикальным изменениям. В среде польских магнатов возникла резкая оппозиция даже к тем реформам, которые были проведены; а между тем для сохранения целостности Польши нужны были не робкие паллиативы, а широкая система социально-экономических мероприятий, которые позволили бы правительству опереться на крестьянство.

Новая конституция и вся серия мероприятий, направленных к укреплению национальной независимости, явно вели к ослаблению влияния России, все более откровенно распоряжавшейся в Польше. Кроме того, все резче сказывалось воздействие французской революции, пробуждавшей к активности и Польшу. Все это вызвало неудовольствие и даже тревогу Екатерины.

Тяжелая война с Турцией не была популярна в России. Крестьянство, обессиленное после подавления Пугачевского восстания, глухо бурлило. Дворяне хранили еще в памяти картины восстания и не чувствовали особой прочности в наступившем успокоении. Екатерине нужно было отвлечь умы, а для этого лучшим средством была агрессивная внешняя политика, сулившая возможность земельных приобретений и блестящих военных успехов. Писатель Аксаков вспоминает, что в его семье об Екатерине

судили по одному признаку — при ней русские солдаты всех побеждали.

Где же было найти более легкие победы, более обильную добычу, чем в Польше! К этим чисто личным соображениям Екатерины присоединялась общая тенденция тогдашнего русского правительства: всячески раздвигать границы государства, захватывать новые земли, новые поместья для дворян, новые источники дохода для казны. В отношении Польши эта тенденция получала, вдобавок, историческое оправдание: когда-то польские и литовские короли отторгли от Руси коренные ее области (например, Киевскую), и возврат этих областей был предметом желаний многих русских государственных деятелей.

Как только окончилась вторая турецкая война, Екатерина двинула в Польшу русские корпуса. Поляки пытались сопротивляться, но, разбитые под Зеленцами и под Дубенками, вынуждены были капитулировать. Русские войска снова заняли Варшаву, обеспечив восстановление русского приоритета во всех польских делах.

Но с этим не могла примириться Пруссия. Верная своему правилу — таскать из огня каштаны чужими руками, она предложила новый раздел Польши. Дело было быстро слажено. На «немом заседании» сейма в 1793 году безмолвствовавшими депутатами было «утверждено» новое отторжение польских земель: Пруссия получила Торн, Гданск, в общем свыше тысячи квадратных миль с полуторамиллионным населением; Россия свои коренные области — Киевскую, Минскую, Волынскую губернии, 4 тысячи квадратных миль с тремя миллионами населения. Вместе с тем было решено уменьшить численность польской армии с 55 до 15 тысяч человек и для поддержания порядка разместить в Польше и Литве 18 тысяч русских солдат.

Второй раздел Польши не прошел так гладко, как первый. Как бы малы ни были реформы истекших двадцати лет, они не прошли даром. В среде польской шляхты укрепились национальные настроения. Рассчитывать на другие государства не приходилось: революционная Франция яростно сражалась со сворой реакционных государств и, в первую очередь, с Австрией; цену прусской дружбы поляки слишком хорошо извели. Надо было действовать самим. Началась организация восстания. Во главе ее стали бывший президент сейма Малаховский, племянник короля Иосиф Понятовский, Домбровский, Игнатий Потоцкий. Военное руководство отдали незнатному шляхтичу Тадеушу Косцюшке. Человек выдающихся военных дарований и большой отваги, Косцюшко дрался прежде в армии Вашингтона, а затем отличился в битвах с русскими в 1792 году. Перед своими предшественниками Пулавскими он имел то

преимущество, что правильно расценивал роль социального момента. Понимая необходимость концентрации всех народных сил, он выпустил воззвание к крестьянам с призывом о помощи и с заявлением, что «личность каждого крестьянина свободна и он имеет право переселяться, куда захочет, если только сообщит комиссии своего воеводства, куда переселяется, и уплатит свои долги и налоги».

Польские крестьяне, изнемогавшие под панским ярмом, хлынули к Косцюшке. Он умело организовывал их, изобрел новое вооружение пехоте, устроил сильную конницу и многочисленную артиллерию. Уже не разрозненные отряды времен Барской конфедерации, а как бы выросшая из-под земли первоклассная армия выступила против войск России и Пруссии. Восстание разразилось в начале 1794 года. Размещенный в Варшаве русский отряд был захвачен врасплох и вырезан, причем погибло до 4 тысяч русских. Тотчас же 60 тысяч русских солдат под начальством Репнина и вызванного из отставки Румянцева были двинуты в Польшу. К ним присоединились 35 тысяч пруссаков.

Косцюшко выставил около 90 тысяч человек правильно организованного войска, не считая пятидесятитысячного крестьянского ополчения. Первый период кампании не дал успеха ни одной из сторон. Несмотря на все преимущества регулярных армий, Россия и Пруссия не могли справиться с поляками, сражавшимися за свою национальную независимость и социальную свободу. «Война ничего не значущая становится хитрою и предерзкою», — писал один из начальников русской армии, Салтыков. Приближалась осень; казалось, предстояло зимнее затишье, во время которого поляки успели бы укрепиться и усилить свои войска. Тогда Румянецев обратился к Суворову.

Весть о назначении Румянцева главнокомандующим Суворов воспринял с большой радостью. Боль от свежих ран заставляла его забыть старые распри. Он тотчас обратился к новому начальнику: «Вступая паки под высокое предводительство вашего сиятельства, поручаю себя продлению вашей древней милости».

Однако в первое время Румянецев не вызывал Суворова, если не считать незначительного поручения обезоружить волновавшиеся польские части, включенные в 1793 году в состав русской армии. Ему было известно, что в Петербурге к Суворову относятся неприязненно, что Екатерина находится еще под влиянием потемкинских отзывов о нем. Но вместе с тем он лучше, чем кто-нибудь другой, понимал, какую мощную силу представляет собою этот капризный, непоседливый старичок. Решив любой ценой добиться успеха в Польше, Румянецев по собственной инициативе,

без сношений с кабинетом, послал в августе Суворову предписание выступить на театр военных действий.

Для Суворова польская кампания не была с военной точки зрения особенно соблазнительна. Он знал, что, несмотря на достижения Косцюшки, силы поляков были не очень велики; это были не французы, даже не турки. Но, в конце концов, он пришел к убеждению, что «не сули журавля в поле, дан синицу в руки», причем «журавлем» была война с Турцией, а «синицей» — война с Польшей.

Задумывался ли Суворов над значением этой войны? От него не мог укрыться ее захватнический характер, но это была единственная возможность обнажить свой, начинавший ржаветь, меч. «Увы, мой патриотизм. — писал он де Рибасу, — я не могу его высказать! Интриганы отняли у меня к этому все средства».

На первых порах Румянцев указал Суворову незначительную и чисто демонстративную задачу: напасть на поляков в Брестском направлении, чтобы облегчить ведение операций на главном театре. Военные круги Петербурга, вынужденные санкционировать привлечение Суворова, еще больше сузили эту задачу. Но вряд ли кто-нибудь сомневался в том, что Суворов разобьет эти рамки.

— Он ни в чем общему порядку не следует, — заявил Салтыков Репнину, — приучил всех так думать о себе, ему то и терпят.

Сам Суворов меньше всего был склонен ограничиться предложенной ему третьестепенной ролью. Он выехал с твердым намерением расширить пределы своих операций, привлечь к себе другие, более крупные отряды, словом, начать снова почти уже законченную кампанию и потянуть за собой к Варшаве все ближайшие силы русской армии.

14 августа Суворов во главе пятитысячного отряда выступил в Польшу. Он вел войска с обычной стремительностью — по 25–30 верст в каждый переход. Это в три раза превосходило нормы XVIII столетия. Кто-то назвал его движение форсированным маршем. Суворов пришел в негодование:

— У меня нет медленных и быстрых маршей. Вперед! И орлы полетели!

Еще когда он издали следил за развертывающейся в Польше борьбою, он словно невзначай обронил, что он бы там «в сорок дней кончил». Теперь он будто хотел осуществить это заявление. Войскам было приказано не брать зимнего платья, кроме плащей; сам он оделся в белый китель.

Не все солдаты могли выдержать стремительность похода. Многие выходили из рядов и валились в изнеможении на землю; таких подбирали

следовавшие в арьергарде повозки. Суворов всячески ободрял войска; он беспрестанно об'езжал части, беседовал с солдатами, давал им ласковые клички — Орел, Сокол, Огонь, заставлял заучивать свой катехизис — «Науку побеждать». Случалось, что он проезжал мимо какой-либо части не останавливаясь; это служило признаком неудовольствия и страшно волновало всех солдат и офицеров.

3 сентября у местечка Дивин произошло первое столкновение с поляками; русские войска уничтожили здесь триста польских всадников. Через три дня при монастыре Крупчицы был разбит авангард шестнадцатитысячного польского корпуса Сераковского, а 8 сентября подверглись разгрому главные силы этого корпуса и был занят Брест.

Поставленная перед Суворовым задача была тем самым блестяще выполнена. Дальнейшие действия ему приходилось предпринимать в порядке «личной инициативы», и это создало немало затруднений.

Отряд Суворова возрос к этому времени до 10–12 тысяч человек. Командуя в турецкую войну гораздо более крупными силами, Суворов никогда не устраивал себе обстановки главнокомандующего; но теперь он назвал себя главнокомандующим, завел дежурного генерала, назначил начальником отряда генерала П. Потемкина, а командирами отдельных родов оружия Буксгевдена, Исленьева и Шевича — словом, всячески желал подчеркнуть свое независимое положение. Однако соседние генералы не признавали его. Когда он захотел усилиться некоторыми частями, чтобы начать немедленный поход на Варшаву, ему никто не подчинился впредь до получения согласия от Репнина. Пришлось отложить поход. «Брест и Канны подобие имеют, — написал Суворов: — время упущено».

Но тут у него явился неожиданный союзник: в Петербурге прослышали про успешные действия Суворова и, хотя с неохотой, повелели Репнину, Дерфельдену и Ферзену «подкреплять и всевещно содействовать» ему. Расчет был прост: если сумеет разбить поляков — отлично, не сумеет — с него все спросится.

Тем временем поляков постигла новая большая неудача: в бою под Мацейовицами 29 сентября войска Ферзена нанесли им поражение, Косцюшко был ранен и взят в плен.

— *Finis Poloniae!*^[26] — воскликнул он, падая под ударом пики.

Успех Мацейовицкого сражения обеспечивал левый фланг Суворова, прикрыть который он ранее не мог ввиду недостатка сил. Теперь ничто не задерживало его. 7 октября он выступил к Варшаве, предписав именем императрицы Ферзену и Дерфельдену двигаться туда же. Но, опасаясь «томности действий» Дерфельдена, он направился кружным путем, чтобы

облегчить Дерфельдену присоединение.

Подходя к важному стратегическому пункту, Кобылке, он встретил упорное сопротивление поляков. Бой велся в густом лесу. Не дожидаясь, пока подтянется пехота, Суворов лично повел в атаку кавалерию; когда кони не смогли долее пробиваться сквозь заросли кустов и деревьев, он велел кавалеристам спешиться и ударить в палаши. Эта необыкновенная атака пеших кавалеристов — «чего и я никогда не видел», писал Суворов впоследствии — увенчалась полным успехом.

Через несколько дней после Кобылки к войскам Суворова подошли части Дерфельдена. Общие силы «самовольно» организованной армии доходили теперь до 30 тысяч человек (в том числе 12 тысяч конницы). С этими силами предстояло взять последнее препятствие на пути к Варшаве — укрепленное предместье ее, Прагу.

Два параллельных бруствера в 14 футов вышиной и два глубоких рва окружали Прагу. Перед укреплениями шли засеки и тройной ряд волчьих ям. При умелой защите, это была почти неприступная крепость. Но этой-то защиты и не было. В Варшаве царило смятение, борьба партий, еще более — борьба самолюбий. Преемник Косцюшки, Вавржецкий, оказался бездарным и безвольным командующим. Собранные в Праге 20 тысяч поляков, введенные в заблуждение предпринятыми по приказанию Суворова демонстративными приготовлениями к осаде, пассивно наблюдали действия Суворова, ни в чем не препятствуя ему^[27]. У защитников Праги был энтузиазм, готовность умереть, но не было ни ясного плана действий, ни навыка в обороне крепостей.

Утром 24 октября, спустя пять дней после появления у стен Праги, русские войска двинулись на штурм.

Диспозиция этого штурма может соперничать по стройности и глубине замысла с измаильской; во многих отношениях обе диспозиции сходны. Наступление велось семью колоннами. Четыре из них направлялись на северную часть Праги; они начинали атаку первыми, чтобы оттянуть сюда войска с других фронтов. Через полчаса после них начиналась атака восточной и южной сторон. Порядок движения войск был тот же, что под Измаилом: впереди — егеря, саперы и команды с шанцевым инструментом; за ними — штурмующие части, с особым резервом при каждой колонне.

В пять часов утра, по сигнальной ракете, двинулась первая волна. Поляки никак не ожидали нападения и сразу растерялись. Весь гарнизон устремился на северную сторону, но беспорядочность сопротивления и здесь не позволила им задержать нападающих, которые вели атаку с неукротимой энергией и храбростью. Перебираясь по наложенным

лестницам через три и даже шесть рядов волчьих ям, русские взбирались на парапет и безостановочно продвигались в глубь Праги. Фанагорийский полк пробился к мосту через Вислу, отрезав таким образом отступление на Варшаву. Опасаясь, что штурмующие перейдут в столицу Польши, Вавржецкий стал организовывать оборону моста. Тщетно! Орудия стояли без запальных трубок, канониры попрятались от залетающих из Праги пуль. В 9 часов утра русские войска со всех сторон ворвались в Прагу. Начались уличные бои. Толпы солдат устремились к мосту. Собравшаяся на Варшавском берегу кучка поляков, обстреливавшая мост, не могла и думать, чтобы удержать этот поток. Дамоклов меч военного разгрома навис над незащищенной Варшавой. Но в этот момент по чьему-то приказанию мост запылал с Пражской стороны. Сообщение было прервано; Варшава была спасена от разгрома.

Приказание о разрушении моста было отдано Суворовым. В день штурма он чувствовал себя больным, «еле таскал ноги». Поэтому он не участвовал в бою, а наблюдал за ним с холма, в версте от передней линии польских укреплений. По донесениям командиров он мог судить, что поляки нигде не выдерживают натиска, что русские войска сражаются с особенной энергией, но вместе с тем и с особенным ожесточением. Когда штурмующие ворвались в тесные улицы города, из многих домов в них полетели камни, даже женщины швыряли в окна тяжести или стреляли, вымещая за гибель своих мужей и братьев. Солдаты пришли в ярость. В пылу битвы они не разбирали, где враг, где мирный обыватель. В каждом доме они видели таившуюся для себя опасность, удар в спину — и убивали всех, кто попадался им на глаза. «Страшное было кровопролитие, — доносил Суворов, — каждый шаг на улицах покрыт был побитыми; все площади были устланы телами, а последнее и самое страшное истребление было на берегу Вислы, в виду варшавского народа».

В Праге начался пожар, быстро охвативший половину города. Грохот обрушивающихся зданий, бой барабанов, ружейная трескотня, крики и стоны сражающихся — все смешалось в диком хаосе звуков. Солдаты не повиновались более офицерам, пытавшимся остановить избиение. Всю эту картину живо представил себе по донесениям Суворов; для него было ясно, что если разоренные солдаты сейчас ворвутся в Варшаву, там разыграются те же страшные сцены. Поэтому он прибег к самому радикальному средству, которое не сумели осуществить растерявшиеся поляки, — приказал разрушить часть моста.

...В Варшаве царил ужас. Огромные толпы стояли в мертвом молчании на берегу, в бессилии наблюдая гибель своих пражских

собратьев. Магистрат спешно отправлял в русский лагерь депутатов для переговоров о сдаче города. Никто не помышлял о сопротивлении.

Король Станислав Август прислал Суворову письмо: «Господин генерал и главнокомандующий войсками императрицы всероссийской! Магистрат города Варшавы просил моего посредства между ним и вами, дабы узнать намерения ваши в рассуждении сей столицы. Я должен уведомить вас, что все жители готовы защищаться до последней капли крови, если вы не обнадежите их в рассуждении и жизни и имущества. Я ожидаю вашего ответа и молю бога, чтобы он принял вас в святое свое покровительство».

Тревога поляков была напрасна. Суворов достиг своей цели — менее чем в полтора месяца он решил кампанию. В отличие от Измаильского штурма, Пражский означал конец войны — моральные и материальные силы Польши были сломлены. Теперь Суворов, верный своему обыкновению, полагал самым разумным вести успокоительную, умеренную политику. Он не желал ни новых жертв, ни контрибуций, ни унижения противника.

Продиктованные им тотчас же условия капитуляции сводились к немедленной сдаче поляками всего оружия и к исправлению моста, по которому русские войска вступят в город. Со своей стороны, он именем императрицы гарантировал полную амнистию всем сдавшимся, неприкосновенность жизни и имущества обывателей и воздание почестей королю. Депутаты были так поражены этими условиями, что многие из них заплакали от радости. Их удивление и волнение еще более усилились, когда Суворов лично вышел к ним и, заметив их нерешительность, бросил на землю саблю и со словами «Покой! Покой!»^[28] пошел к ним навстречу.

Варшавяне выразили свою признательность Суворову, преподнеся ему через месяц золотую эмалированную табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю».

Десять тысяч трупов были свезены для погребения за черту города. Из взятых в плен 11 тысяч человек больше половины было отпущено по домам. Потери русских достигали двух тысяч.

В ночь после штурма пошел снег; к утру не осталось следов крови. На улицах и крепостных бастионах лежала одинаково чистая, искрящаяся на солнце белая пелена.

Пражский штурм был повсеместно признан с военной точки зрения образцовым. Но тем усиленнее стали говорить о большом количестве жертв его. Уже давно в Европе поносили Суворова как «полудикого мучителя побежденных». Теперь эти нападки возобновились с новой силой.

Вопрос о жестокости Суворова заслуживает того, чтобы на нем остановиться особо. Это — один из главных упреков, который обращали к Суворову во все времена. Даже почитатели его разделяли иногда это мнение. Любопытный штрих: в 1863 году, после подавления польского восстания, в Петербурге зародилась мысль устроить чествование Суворова как главного завоевателя Польши; к чествованию был привлечен внук полководца, князь А. А. Суворов. Однако он прислал отказ, мотивируя тем, что его дед совершил много славных деяний, но к числу их нельзя отнести кровавое покорение Польши. В ответ на это поэт Тютчев опубликовал наделавшее много шума стихотворение:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь.

Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя народу своему.

Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим,
На зло врагам, их лжи и озлобленье.
На зло, увы! и пошлостям родным.

Самого Суворова очень беспокоили всегда обвинения в жестокости. В самом деле, при всех столкновениях с ним, даже самых незначительных, потери его противников бывали чрезвычайно велики. Особенно заметно это было в кампанию 1794 года. После битвы при Крупчицах Суворов писал де Рибасу: «Поле покрыто убитыми телами свыше 15 верст. По сему происшествию и я почти в невероятности». Он же сообщал, что после Бреста спаслось только 130 человек, после Кобылки — ни одного и т. д. В этих сообщениях много преувеличений; например, сами поляки определяли свой урон под Кобылкой в 1500 человек (из общего числа 3500). Но бесспорно, что урон среди его врагов был исключительно велик.

В отношении польской войны 1794 года существовало одно особое

обстоятельство, обусловившее крупные потери поляков во всех сражениях и наиболее ярко проявившееся при взятии Праги: воспоминание о варшавской резне в начале восстания, когда несколько тысяч русских были зарублены во время сна.

Однако основная причина страшных потерь противников Суворова заключалась в другом, — в том, что его солдаты были воспитаны в духе исключительной энергии и решительности удара. Сражаясь обычно один против двух или против трех неприятелей, они компенсировали свою малочисленность яростью удара, делавшей несокрушимыми их атаки. Отличное знание техники штыкового боя и превосходство русской конницы усугубляли потери неприятеля.

Сам Суворов постоянно давал в приказах: «грех напрасно убивать», «обывателя не обижай» и т. д. Так было и под Прагой. В приказе о штурме имелся специальный пункт: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать». Весь приказ состоял из восьми пунктов, и все же в числе их Суворов поместил этот призыв к гуманности войск. И, тем не менее, важнее всего для него было сохранить сокрушительность атаки. В этой сокрушительности он видел, как это ни парадоксально на первый взгляд, подлинную гуманность. Суворову война представлялась злом, но злом неизбежным, из которого надо стремиться поскорее выйти. Лучшим средством для этого, кратчайшим путем к окончанию войны он считал сокрушительность удара.

— Тот, кто сражается со мной, становится мертвым, — заявил он однажды. — Оттого число врагов моих уменьшается: смертельный бой предотвращает много других, которые могли бы быть еще кровопролитнее.

Он часто выражал сожаление, что при взятии Праги было много жертв среди населения, но и этот злополучный штурм рассматривал с той же точки зрения: «Миролюбивые фельдмаршалы при начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов. Их план был сражаться три года с возмущившимся народом. Какое кровопролитие! Я пришел и победил! Одним ударом приобрел я мир и положил конец кровопролитию».

— Победа — враг воины, — часто говорил он. Этот взгляд Суворова совпадает с тем, который высказали впоследствии Маркс и Энгельс. В статье по поводу осады Севастополя говорится: «Поистине Наполеон Великий, этот убийца стольких миллионов людей, с его быстрым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности, по сравнению с нерешительными, медлительными

государственными мужами, руководящими этой русской войной»^[29].

Ничто не возмущало Суворова больше, чем обвинение в жестокости.

— Только трусы жестокосердны, — говаривал он. Когда поляки выражали ему признательность за мягкое, справедливое управление, еще больше оттененное разгулом пруссаков и австрийцев в занятых ими областях, он ответил им стихами Ломоносова:

Великодушный лев злодея низвергает,
И хищный волк его лежащего терзает.

Суворов часто с гордостью говорил, что на своем веку не подписал ни одного смертного приговора. Исключительным было также его отношение к военнопленным, о которых он всегда заботился и часто освобождал под честное слово.

Все это свидетельствует о полной беспочвенности обвинений Суворова в сознательной жестокости. Однако война — сама по себе жестокая вещь. А в своих действиях Суворов, в первую очередь, руководился соображениями военной целесообразности.

Блистательная польская кампания заставила умолкнуть всех недругов полководца; в Петербурге снова вывели о нем «авантажное заключение».

Екатерина прислала ему заветный фельдмаршальский жезл, алмазный бант на шляпу и подарила из захваченных польских земель огромное имение «Кобринский ключ» с семью тысячами душ мужского пола. Прусский король прислал ордена Красного орла и Большого Черного орла; австрийский император — свой портрет, усыпанный бриллиантами. Суворов радовался, как ребенок. Когда прибыл фельдмаршальский жезл, он расставил несколько стульев и начал прыгать через них, приговаривая:

— Репнина обошел... Салтыкова обошел... Прозоровского обошел... — перечисляя генерал-аншефов, бывших старше его чинами, а теперь обязанных сноситься с ним рапортами. В то время в России было только два фельдмаршала: К. Г. Разумовский и Румянцев.

Впрочем скоро в бочке меда он ощутил обычную ложку дегтя — другие, чье участие в войне было ничтожным, оказались награжденными еще более щедро. Платон Зубов получил из польских земель владение в 13 тысяч душ.

— Щедро меня в Платоне Зубове наградили, — горько иронизировал Суворов.

И все-таки даже та награда, которую он получил, вызвала взрыв

зависти среди царедворцев. В то время, как широкие слои населения приветствовали производство Суворова в фельдмаршалы, многие генералы открыто выражали свое недовольство, а князь Долгоруков и граф И. П. Салтыков даже просили увольнения от службы.

Но это было лишь предвестием ожидавших Суворова невзгод.

Захват Варшавы произошел так внезапно для Петербурга, что оттуда не успели снабдить победителя инструкциями о дальнейшем образе действий. Не посвященный в махинации екатерининской политики, Суворов «не нашелся в нужных по обстоятельствам мерах». Он никак не предполагал, что европейские державы предрешили окончательный раздел Польши. Ему даже не мерещились такие последствия его побед. Напротив, он принял все меры к укреплению авторитета польского короля и к установлению дружелюбных отношений с польским населением.

При вступлении в Варшаву Суворов отдал приказ, чтобы ружья солдат не были заряжены и, если бы даже раздались выстрелы из домов, — чтобы на них не отвечали. Однако все прошло гладко; вооруженных выступлений не было. Приняв от магистрата городские ключи, Суворов выразил радость, что приобрел их не такой дорогой ценой, как ключи Праги.

На следующий день состоялось свидание со Станиславом Августом. Суворов одел, против обыкновения, полную парадную форму со всеми орденами и в сопровождении кавалерийского эскорта отправился во дворец. Встреча носила очень дружелюбный характер. Суворов продолжал свою тактику уступок и снисхождений. Когда король попросил его освободить пленного офицера, служившего прежде в его свите, Суворов с готовностью ответил:

— Если угодно, я освобожу вам их сотню, — подумавши, — две сотни, триста, четыреста, так и быть, пятьсот.

Тотчас был отправлен курьер, отобравший из числа пленных 300 офицеров и 200 унтер-офицеров. Этот жест произвел сильное впечатление на поляков и расположил многих из них к Суворову.

Дальнейшее поведение фельдмаршала было подстать этому. Он старался не задевать национальные чувства поляков, вообще держал себя так, словно он вовсе не был полновластным победителем. Он посещал балы панов и магнатов, которые быстро утешились при мысли, что сохранили свои поместья. Встречали его очень помпезно, а он, как обычно в таких случаях, выражал свое презрение к напыщенности шутовскими выходками и всевозможными коленцами. Увидав беременную даму, он подбежал к ней и перекрестил ее будущего ребенка; в другой раз, заметив красивую паненку, он прикинулся остоленевшим, потом бросился к ней и

начал ее целовать; он сморкался на пол посреди гостиной; воротил нос от надушенных мужчин и т. п. Но все эти чудачества не нарушали его дружелюбных отношений с поляками. Он провел целый ряд весьма благожелательных для Польши мероприятий. Чтобы поднять курс польских денег, он велел уничтожить захваченные в добычу кредитные билеты на сумму 768 тысяч злотых; он запретил сбор продовольствия для нужд армии под квитанции, а приказал расплачиваться наличными; строгими мерами поддерживал в войсках дисциплину, пресекал мародерство, охранял памятники культуры.

Все это совершенно не походило на систему ведения войны того времени. В этой области Суворов был головой выше своего века.

— Благородное великодушие, — говорил он, — часто полезнее, нежели стремглавый военный меч.

В этих словах выражалась его программа действий в побежденной стране. Но совсем иначе представляли себе эту программу Петербург, Берлин и Вена. Там приняли твердое решение о прекращении политического существования Польши, и образ действий Суворова шел в разрез с этим решением. В ноябре из Петербурга были присланы два распоряжения, осветившие, наконец, Суворову истинные намерения русского правительства: предписывались контрибуции, конфискации, аресты, применение оружия при малейшем протесте, упразднение варшавского магистрата и многое другое.

Для Суворова наступили тяжелые дни. Он никогда не был годен для пассивного исполнения чужих приказаний, в особенности, если не считал их правильными. Но открытое неповиновение было невозможно и бесцельно. Идя на сделки со своей совестью, он избрал промежуточную линию частных уступок петербургским требованиям, сохраняя неизблемыми общие контуры своей политики. Магистрат он не распустил; о контрибуциях донес, что они неосуществимы вследствие оскудения страны; оказывал жителям разные мелкие поблажки, неоднократно хлопоча в этих целях перед Екатериной. Те строгости, которые ему приходилось все же употреблять, он открыто объяснял вмешательством Петербурга.

Когда ему пришлось сообщить одной депутации о невозможности удовлетворить ее ходатайство, он вместо объяснения причин стал посреди приемной и, прыгнув как можно выше, сказал:

— Императрица вот какая большая!

Затем он присел на корточки:

— А Суворов вот какой маленький!

Депутаты поняли и удалились.

В Петербурге с досадой смотрели на деятельность слишком самостоятельного фельдмаршала. Румянцев подсчитывал, сколько офицеров было освобождено Суворовым из плена: 18 генералов, 829 штаб- и обер-офицеров и, кроме того, все взятые на штурме Праги. Один из государственных людей, Трощинский, писал: «Все чувствуют ошибку Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибуции; но не хотят его в этом исправить, из смеха достойного уважения к тем обещаниям, какие он дал самым злейшим полякам о забвении всего прошедшего».

Конечно, Суворова давно бы отозвали, если бы уверились в совершенном успокоении края. Но русское правительство получало сведения о брожении в Польше, о том, что пример Франции, отстоявшей свои границы, разжигает сердца польских патриотов. С другой стороны, возникли разногласия с Пруссией относительно нового раздела; дело дошло до того, что Россия и Австрия готовились об'явить Пруссии войну. В этих условиях присутствие Суворова при армии представлялось совершенно необходимым. Однако фактическое значение его делалось все меньшим и меньшим; его постепенно оттирали на задний план, отстраняли от участия в разрешении серьезных вопросов, отменяли отданные им распоряжения.

Суворов не видел, да и не мог увидеть выхода из этого заколдованного круга. Он тяжело переживал обиду, «жалкую сухость в своем апофеозе».

События шли своим чередом. С Пруссией, в конце концов, удалось договориться, и в 1795 году состоялся третий раздел Польши: Австрия получила 100 квадратных миль с населением в 1300 тысяч человек; Пруссия — 680 квадратных миль (в том числе Варшаву) и 1000 тысяч человек населения; Россия — 2730 квадратных миль с населением в 1900 тысяч человек. Вассал Польши, герцог Курляндский, отрекся от герцогства в пользу России. Польша как самостоятельное государство надолго исчезла с политической карты Европы.

Разделы Польши носили ярко выраженный захватнический характер. Однако Россия, на которую была возложена моральная ответственность за эти разделы и которая осуществила их силою своего оружия, имела то оправдание, что — как указал Энгельс — она подчиняла себе братские народности Украины и Белоруссии. Помимо того, Россия выиграла меньше, чем Пруссия и Австрия. Основная цель русского правительства — об'единение всего русского населения — все-таки не была достигнута. (Екатерина говорила по этому поводу: «Со временем надо будет выменять у австрийцев Галицию, она им некстати».) В то же время в стратегическом отношении Россия получила очень невыгодную границу, так как приобрела

только один берег Западного Буга и Немана, без обеспеченных переправ на них. Пруссия же и Австрия получили много коренных польских и даже русских земель с самыми крупными городами (Варшава) и с наиболее ценными районами (соляные копи в Величке).

Раздел прошел спокойно. Согласно договору, польская столица передавалась пруссакам. В октябре 1795 года Суворов получил милостивый рескрипт, отзывавший его в Петербург.

Он был встречен с небывалым почетом. В Стрельну была выслана для него дворцовая карета. Ему отвели для жительства Таврический дворец с целым штатом придворных. Зная его нелюбовь к зеркалам, императрица распорядилась всюду их завесить.

Но все эти любезности не могли скрыть глубокой трещины, столь резко проявившейся в течение последнего года. Тридцать три года сидит на престоле Екатерина. Впервые за все это время созрела почва для прочного примирения ее со строптивым фельдмаршалом: она не может не оценить его услуг, как не может не считаться с популярностью его в армии и в Западной Европе. Она дает ему высокий чин, вопреки шипению придворных (характерно, что свое решение о присвоении Суворову фельдмаршальского звания Екатерина держала до последнего момента в секрете, «во избежание интриг, искательств, клеветы и всяких иных доук»). Самый влиятельный недруг полководца сошел в могилу. Ничто не мешает, повидимому, упрочению отношений императрицы с ее лучшим военачальником. Но тут-то и обнаруживается органическая невозможность этого: Суворов по-иному мыслит, он не может понять хитрой механики Екатерины. Главное, он не хочет понять ее. Это не Потемкин и не Репнин. Когда проходит нужда в его поразительном таланте, в его страшном мече, лучше всего упрятать его куда-нибудь подальше. Так было всегда, так случилось и на этот раз.

Суворов отлично уяснял себе и ненадежность благосклонности государыни и притаившуюся неприязнь царедворцев и генералов. Но он вернулся из Польши в сознании своего значения. Теперь он решительнее, чем когда бы то ни было, выражал свой протест против придворных порядков. По старому обычаю, протест этот облекался им в причудливую форму. Перед Екатериной старик бросался на колени, целовал ее платье, а потом с невинным видом критиковал и осуждал петербургские порядки, вкладывая персты в скрывавшиеся язвы. Императрица подарила ему соболью шубу, не хуже, чем у самого богатого из придворных; он заявил, что она чересчур хороша для него, ездил в старом плаще, а слуга Прошка бережно возил за ним шубу. Недаром Раstopчин писал, что не знают, как

отделаться от Суворова, от «плоских шуток» которого государыня поминутно краснеет.

Отношение свое к вельможам Суворов высказывал еще откровеннее: принимал их в нижнем белье; иногда вовсе не принимал, выскакивая на улицу, когда они под'езжали, и садясь на несколько минут в их кареты; издевался над их чинопочитанием, напыщенностью и необразованностью. Как-то Суворову сообщили, что один офицер сошел с ума. Он принялся горячо возражать и спорил до тех пор, пока выяснилось, что он имеет в виду другого офицера.

— Хорошо, что так, — промолвил он с облегчением, — а не то я спорил бы до утра, потому что офицер, о котором я говорю, не имеет того, что сей потерял.

Екатерина хотела сплавить злоязычного фельдмаршала на персидскую границу, где предполагалась война, но Суворова не прельщала персидская экспедиция, тем более, что шли толки о войне с Францией. Его послали в Финляндию осмотреть построенные в 1792 году укрепления. Он выполнил поручение в две недели. Тогда его назначили командующим одной из южных армий (две другие армии были под начальством Румянцева и Репнина). В состав этой армии входили войска, собранные в Харьковской, Екатеринославской, Таврической и Вознесенской областях.

Весною 1796 года Суворов выехал в город Тульчин на Днестре, где он решил устроить свою штаб-квартиру. Прощание с императрицей было преисполнено взаимных любезностей; но когда оно закончилось, оба вздохнули с облегчением.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ССЫЛКА

Первые месяцы в Тульчине протекли безмятежно. Суворов гордился тем, что носит фельдмаршальское звание, что командует крупнейшей в России армией; в перспективе он видел войну с революционной Францией, разгромившей всех европейских полководцев. В донесении об осмотре войск он писал: «Карманьольцы по знатным их успехам могут простирать свой шаг на Вислу... Всемиловнейшая государыня, я готов с победоносными войсками их предварить».

В России в самом деле начались приготовления к войне с Францией. Назначено было, какие войска пойдут в поход^[30], приказано было их укомплектовать. Командующего не назначали, но все называли Суворова. К нему посыпались просьбы от желавших участвовать в кампании. Он и сам считал этот вопрос решенным и деятельно вел приготовления к новой войне. Вызвав провиантмейстера, полковника Дьякова, он приказал привести в исправное состояние все магазины и склады, пригрозив в противном случае повесить его.

— Ты знаешь, друг мой, — пояснил он, — что я тебя люблю и слово свое сдержу.

Сам Суворов считал неизбежной войну с республиканской Францией, в которой он видел вдохновительницу всех враждебных поползновений. Больше того, по его мнению, следовало поскорее начать эту войну, так как с каждым годом французы укрепляют свое положение. В письме Хвостову от 29 августа 1796 года Суворов писал: «Турецкая ваша война... Нет! А приняться надо за корень, бить французов. От них она родитца. Когда они будут в Польше, тогда они будут тысяч 200–300; Варшавою дали хлыст в руки прусскому королю — у него тысяч 100. Сочтите турков (благодать божия с Швециею). России выходит иметь до полумиллиона. Ныне же, когда французов искать в немецкой земле, надобно не все сии войны только половину сего».

Через два дня он возвращается к той же теме: «Благоразумно нельзя ждать прекращения французских успехов и ежели с нашей стороны влажность продолжится, то с нового года ваши 50 тысяч будет надлежать уже почти удвоить и так далее»^[31].

В ожидании похода Суворов занимался обучением войск, отдавая этому делу с былым увлечением. За несколько месяцев армия преобразилась. Смертность снизилась с двадцати пяти процентов до

одного, «полунагие, изнуренные и отовсюду обиженные» солдаты преобразились в здоровых, бодрых «дерзновенных» суворовцев.

Снова, как некогда в Новой-Ладоге, Суворов, хотя теперь уже не полковник, а фельдмаршал, занимался чуть не с каждым солдатом.

— Всякий солдат к тому должен быть приведен, чтобы сказать ему можно было: теперь знать тебе больше ничего не остается, только бы выученного не забывал, — таков был лозунг Суворова в деле воспитания солдат.

Попрежнему он обращал главное внимание на то, чтобы выработать в войсках сноровку, инициативность и храбрость. Чтобы подчеркнуть роль этих качеств, он, как всегда, прибегал к крайностям. Отступления — «ретирады» — он не признавал ни при каких обстоятельствах. Если на смотре один человек выдавался из строя, вся рота должна была догонять его — осаживать обратно он не имел права. Случилось однажды, что фельдмаршал наехал вплотную на шеренги; офицер приказал передним сделать шаг назад.

— Под арест! — завопил Суворов. — Этот немогузнайка зачумит всю армию.

«Немогузнайство» преследовалось с неменьшей строгостью. И здесь за кажущейся странностью, даже нелепостью крылась глубокая идея: приучить солдат к самостоятельному размышлению, уничтожить привычное слепое повиновение. Любой ответ был хорош.

— Как далеко до луны?

— Два солдатских перехода.

Фельдмаршал улыбается и треплет сообразительного гренадера.

— Сколько звезд на небе?

— Сейчас сочту, — солдат считает до тех пор, пока иззябший фельдмаршал убегает прочь.

Преследуя «немогузнайство», Суворов искоренял растерянность, ненаходчивость и страх перед лицом неожиданности. В русской армии, состоявшей из крепостных: приученных все делать только по команде, это была очень нелепая, но очень актуальная задача.

Но центром воспитательной работы были маневры.

Войска делились обычно на две части. Обе стороны строились развернутым фронтом, одновременно начинали движение вперед и, сблизившись на сотню шагов, бросались по команде в атаку — пехота бегом, кавалерия галопом. Пехота держала ружья на перевес и только в момент встречи с «противником» поднимала штыки вверх. Главным условием при этом было безостановочное, стремительное движение; если

перед встречей происходила задержка, учение начиналось сизнова. Перед самым столкновением солдаты делали полуоборот направо, что позволяло участникам обеих сторон протискиваться сквозь ряды. Нередко, особенно если в маневрах участвовала конница, возникала настоящая свалка, кончавшаяся увечьем нескольких человек. В этих случаях Суворов всегда проявлял беспокойство, но не изменял своего метода, который он считал исключительно полезным. Маневры происходили при непрерывной ружейной и артиллерийской стрельбе (холостыми зарядами), так что атакующие бывали густо окутаны облаками порохового дыма.

Сам Суворов во время учений вертелся вьюном, отдавал распоряжения, передвигал части, хвалил и бранил (но никогда не арестовывал). Заметив однажды офицера, скакавшего позади своей атакующей роты, фельдмаршал рассвирепел и отдал приказ немедленно «убить» его; офицер опрометью понесся вперед.

Присутствие Суворова на маневрах воодушевляло солдат. Все были охвачены лихорадкой быстроты и энергии.

Артиллеристы выбивались из сил, чтобы не отставать от пехоты, пехота торопилась за кавалерией. И над всем этим царил образ худого старика в холщевой рубашке, носившегося по равнине и выкрикивавшего:

— Стреляй метко, штыком коли крепко!

После учения Суворов часто собирал отряд и производил краткий разбор действий. Говорил он негромко, но был в полной уверенности, что слышащие его солдаты передадут вечером его слова всей армии. Внешняя манера поведения оставалась у него такой же простой, как в бытность мушкатером, и это очень нравилось солдатам. Появляясь перед фронтом в фельдмаршальском мундире, он преспокойно сморкался двумя пальцами, любил ввернуть соленое словцо, иногда даже не стеснялся отправлять малую нужду.

Суворов приходился по сердцу солдатам и тем, что не вмешивался в мелочи и не позволял офицерам придирается к пустякам. Но если проступки относились к основным требованиям службы или если проявлялось неповиновение, он строго взыскивал, и взыскивал с высших чинов больше, чем с нижних.

В Тульчине окончательно оформилась и была записана знаменитая суворовская инструкция войскам — «Наука побеждать». Еще в Херсоне и затем на походе в Польшу Суворов приказывал обучать войска составленному им военному катехизису, и большинство солдат знали это наставление наизусть. Теперь оно получило окончательную редакцию.

«Наука побеждать» внутренне тождественна с «Суздальским

учреждением». Она построена на тех же принципах. В ней также выдержана мысль о единой связи между механическими приемами обучения и нравственным, моральным воспитанием. Войскам прививаются те же идеи о необходимости порыва, энергии. Даже слог «Науки» соответствует этому: «рви, лети, ломи, скачи», тяжелые ранцы именуются «ветрами» и т. д. Прерывистый, лаконичный слог «Науки» был понятен солдатам, привыкшим к языку своего полководца. Первую часть «Науки побеждать» составлял «Вахт-парад» — наставление о производстве учения. Вторую и главную — «Словесное поучение»: система суворовских афоризмов о поведении в бою и о внутреннем быте солдат.

Этот замечательный документ заслуживает того, чтобы привести его [\[32\]](#).

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

(Деятельное военное искусство)

Раздел 2-й. Словесное поучение солдатам.

Военный шаг — аршин, в захождении — полтора аршина; береги интервалы.

Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко; штыком коли крепко; пуля обмишуются, штык не обмишуются; пуля дура, штык молодец.

Коли один раз — бросай басурмана со штыка; мертв на штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею — отскок на шаг, ударь опять, коли другого, коли третьего; богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в дуле; трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун.

В атаке не задерживай.

Обывателя не обижай; он нас поит и кормит. Солдат не разбойник. Святая добычь: возьми лагерь — все ваше; возьми крепость — все ваше. Без приказа отнюдь не ходи на добычь.

Баталия полевая — три атаки. В крыло, которое слабее,

крепкое крыло закрыто лесом — это не мудрено, солдат проберется. Атака в средину не выгодна, разве конница хорошо рубить будет, иначе сами сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для небольшого корпуса, а армией заходить тяжело.

Штурм. Ломи через засек, бросай плетни через волчьи ямы, быстро беги, прыгай через палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам. Колонны, лети через стены, на вал, скальвай, на валу вытягивай линию, ставь караул к пороховым погребам, отворяй ворота коннице. Неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо, недосуг за ним ходить. Неприятель сдался — пошали: стена занята — на добычь.

Три воинские искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как итти, где атаковать, гнать и бить; также для занятия местоположения, примерного суждения о силах неприятельских, для узнания его предприятий.

Второе — быстрота. Поход: полевой артиллерии от полверсты до версты впереди, чтоб спускам и под'емам не мешала... Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей в барабан, музыка греми. Десяток отломал — первый взвод снимай ветры, ложись; за ним второй взвод; и так взвод за взводом; первые задние не жди. На первом десятке отдыху час. Первый взвод вспрыгнул, надел ветры, бежит вперед 10–15 шагов. И так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. Вторым десятком — отбой: отдых час и больше.

Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками; братцы пришли, к каше поспели; артельный староста — к кашам! На завтраке отдых 4 часа, тож самое к ночлегу, отдых 6 часов и до 8, какова дорога.

По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чаёт, считает за 100 верст, — вдруг мы на него, как снег на голову — закружится у него голова.

Третье — натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет; в пальбе много людей гибнет; у неприятеля те же руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию — тотчас атакуй холодным ружьем; недосуг вытягивать линию — подвиг из закрытого, из тесного места. Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит, — только везде строй. Конница должна действовать всюду, как пехота, исключая зыби; там кони

на поводах. В двух шеренгах сила, в трех — полторы силы; передняя рвет, вторая валит, третья довершает.

Бойся богадельни; немецкие лекарственницы издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье, чисти желудок, коли засорился, голод — лучшее лекарство. Кто не бережет людей — офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору — палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет.

Богатыри, неприятель от вас дрожит, да есть неприятель больше и богадельни: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка. От немогузнайки много, много беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего штаб-офицера арест квартирный.

Солдату надлежит быть здорову, храбру, твердо, решиму, правдиву, благочестиву.

Ученье свет, неученье тьма; за ученого трех неученых дают; нам мало трех, давай нам шесть, давай нам десять на одного, — всех побьем, повалим, в полон возьмем. Вот, братцы, воинское обучение; господа офицеры, какой восторг!

По окончании сего командовалось: «К паролю, с обоих флангов часовые вперед, ступай на краул!» По отдаче пароля, лозунга и сигнала, следовала похвала или в чем-либо хула вахт-параду. Потом громогласно: «Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава».

«Наука побеждать» не обременяла солдат ничем, что не вызывалось боевой надобностью, и в то же время давала им указания относительно всего, что могло встретиться в бою и на походе.

...Так текли дни в Тульчине. Судьба снова, теперь в последний раз, послала старому полководцу краткий период покоя. «Наш почтенный старик здоров, — писал один из находившихся при Суворове, — он очень доволен своим образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых удовольствий — поля, ученья, лагеря, беспрестанное движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым».

Но это счастье было недолговечно.

Императрица Екатерина обладала крепкой натурой. Ни болезни, ни государственные обязанности, ни калейдоскопическая смена любовников не могли подорвать ее железного здоровья. Но мало-помалу годы брали свое. Когда перевалило за половину седьмого десятка, ее придворному врачу, доктору Рожерсону, все чаще приходилось выслушивать жалобы августейшей пациентки. В начале ноября 1796 года у императрицы был удар. Говорили, что причиной его явился отказ гостившего в Петербурге шведского короля принять условия женитьбы на великой княжне Александре Павловне. Через три дня, 7 ноября, Екатерина пошла в уборную и через полчаса была найдена там лежащей на полу. Ее перенесли в спальную, вручили попечению Рожерсона и тотчас послали в Гатчину известить Павла.

Если верить РаSTOPчину, и Павел и жена его видели в ту ночь во сне, что некая невидимая сила возносила их к небу, причем сон этот повторился несколько раз подряд. Когда Николай Зубов привез весть, наследник тотчас помчался в столицу. По дороге встретились еще двадцать курьеров: все торопились выслужиться перед завтрашним императором. Один курьер был даже от придворного повара. Курьеры становились в кортеж; так приехали во дворец.

Там царило оцепенение. Бледный, с трясущейся челюстью Безбородко обратился к Павлу с просьбой уволить его без срама, но тот отвечал, что старое забыто. РаSTOPчин немедленно опечатал кабинет государыни. В углу зала рыдал Платон Зубов; его сторонились, никто не решался подать ему стакан воды.

Утром Екатерина II скончалась. Тотчас состоялась присяга новому самодержцу. К Алексею Орлову, который не был на присяге в церкви, Павел послал Архарова; Орлов присягнул дома.

«Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды в всякой, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею слепого счастья».

Так описывает РаSTOPчин первый день нового царствования.

Когда Екатерина свергла своего полубезумного супруга, она могла рассчитывать на популярность в стране. Следуя своему плану — поступать так, чтобы «башмак меньше жал ногу», она выплатила из своих комнатных денег жалованье армии, ограничила пытки и конфискации, приняла меры против монополии и взяточничества, издала указы о свободе торговли и удешевлении соли, допустила «свободоязычие» в литературе.

Но прошло немного времени — и обнаружилось, что империя Екатерины — это, по выражению одного историка, картина, рассчитанная

на дальнего зрителя: издали — величественна, вблизи — беспорядочные мазки.

Свободолюбивые проекты были сданы в архив. Жестокая реакция пришла им на смену. Никогда еще крестьянству и работному люду не жилось так тяжело и горько, как в это блестящее царствование. Горожане были придавлены налоговым прессом, вследствие непрерывных войн. У кормила правления утвердились беспринципные, бесчестные люди, помышлявшие только о собственной наживе, о которых Александр I в 1796 году сказал, что не хотел бы иметь их у себя и лакеями. «В наших делах господствует невероятный беспорядок, — писал он тогда же, — грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок изгнан отовсюду... Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий».

Все это пытались заслонить внешнеполитическими успехами: Екатерина отвоевала у Турции и Польши земли с населением в 7 миллионов душ, число жителей в России возросло с 19 миллионов (1762) до 36 миллионов (1796), армия с 162 тысяч до 312 тысяч, флот с 27 фрегатов и линейных кораблей до 107. Но по этому поводу вице-канцлер Остерман тотчас после воцарения Павла из'яснил русскому послу в Лондоне Воронцову: «Россия, будучи в непрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в свете держава, которая находилась сорок лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Далее он констатирует, что жители «желают отдохновения после столь долго продолжавшихся изнурений».

Правда, имелись более значащие плюсы екатерининского царствования: увеличение числа фабрик, возрастание суммы государственных доходов с 16 до 69 миллионов. Но казна была все-таки пуста: в 1796 году государственный долг составлял 200 миллионов рублей, что равнялось трехгодичному доходу казны. При этом питейный доход увеличился во время царствования Екатерины в шесть раз и составлял третью часть всех поступлений.

Один из лучших дореволюционных историков, Ключевский, писал: «По мнению некоторых, вся героическая эпопея Екатерины II — не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставались в пренебрежении; вся политика Екатерины — нарядный фасад с неопрятными задворками, следствие чего: порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ограбление России»^[33].

Что касается нового императора, то в широких кругах он был мало известен. Знали, что у него всегда были неприязненные отношения с матерью, что достаточно было заслужить его благосклонность, чтобы впасть в немилость у Екатерины; что уже в детские годы он был занят «маханием» за фрейлинами; что он был раздражителен, гневен, презирал всех окружающих, по каковой причине его воспитатель Порошин предсказал, что «при самых наилучших намерениях он возбудит ненависть к себе», а его любимец Растопчин заявил: «Великий князь делает невероятные вещи; он сам готовит себе погибель и становится все более ненавистным». Известно было, что он, подобно отцу, пристрастен ко всему прусскому. Наконец, рассказывали об его парадомании и наклонности к поддержанию дисциплины путем жестоких наказаний.

Все это было мало утешительно, но на первых порах заждавшийся власти Павел проявил себя рядом поступков, подсказанных добрыми намерениями. Освобождены были заключенные по делам тайной экспедиции, среди них томившийся в Шлиссельбурге Новиков; из Сибири вернули Радищева; многие пленные поляки, в том числе Косцюшко, получили свободу; была прекращена война с Персией; отменен рекрутский набор и об'явлено дворам о мирных намерениях России.

Однако прошло несколько месяцев, и царь стал заводить порядки, которых не ведали и при Петре III. Весь уклад жизни подвергся строгой регламентации; запрещены были круглые шляпы, фраки и жилеты; надлежало надевать немецкое платье со стоячим воротником установленной ширины; женщинам воспрещалось носить синие женские сюртуки; регламентированы были упряжь, экипаж, прическа, форма приветствия государю. Даже отдельные слова подверглись гонению: вместо «стража» следовало говорить «караул», вместо «граждане» — «жители», вместо «отечество» — «государство»; слово «общество» было вовсе запрещено. Воспрещен был ввоз из-за границы книг и музыкальных произведений. Вся переписка тщательно перлюстрировалась. За неосторожные речи о государе пытали. По самым ничтожным поводам людей хватали, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, били кнутом. По всей России скакали фельд'егери, развозившие неожиданные и непонятные повеления императора: ссылки, наказания, перемещения, награды. Некого Лопухина наградили по недоразумению, так как Павел счел его родственником своей любовницы. По свидетельству современника, «генералы возрастали так же быстро, как спаржа растет в огороде», но так же быстро они увядали. В царствование Павла I было уволено 333 генерала и 2261 офицер. «Награда утратила свою прелесть, — писал Карамзин, —

наказание — сопряженный с ним стыд».

Тяжелее всех чувствовала гнет павловского режима армия. Была восстановлена старая прусская форма: волосы солдат spryskivali квасом, посыпали мукою и давали засохнуть мучной корке на голове; сзади к голове привязывали железный прут в пол-аршина для устройства косы, на висках приделывали войлочные букли. В службе завелась назойливая, мертвящая мелочность. Оторванная пуговица у одного из солдат могла свести к нулю отлично проведенные маневры. На первый план были выдвинуты послушание и исполнительность.

«Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный», — такова была установка Павла I. За малейшую провинность солдатам давали по несколько сот шпицрутенов. Заслуженные боевые офицеры подвергались из-за пустяков грубым выговорам. Один полковник-Суворовец, выслушав от Аракчеева подобную отповедь, застрелился. Во время разводов Павел на месте приговаривал к палкам, разжаловал офицеров в рядовые; однажды целый полк, не потравивший императору, получил в конце ученья приказ:

— Дирекция прямо! В Сибирь — шагом марш! — и вынужден был прямо с плаца маршировать в Сибирь.

Трудно было найти более резкие противоположности, более различные системы, чем те, которые насаждались Суворовым в Тульчине и Павлом в Петербурге. Сосуществование их было невозможно. Они неминуемо должны были столкнуться.

При жизни Екатерины II отношения между Суворовым и цесаревичем были хотя и сдержанные, но не плохие. Случались, правда, стычки. Будучи однажды у наследника, полководец в обычной шутовской форме выражал неодобрение виденным порядкам. Не отличавшийся обходительностью, Павел в бешенстве крикнул:

— Извольте перестать дурачиться. Я прекрасно понимаю, что скрывается за вашими фокусами.

Суворов тотчас уgomонился, но, выйдя за дверь, выкинул последнее «коленце»: пропел перед придворными экспромт, выражавший его гнев и обиду:

— Prince adorable! Demote implacable!^[34]

Но такие инциденты были в характере обоих. Павел знал, что фельдмаршал со всеми «дурачится», а тому было известен нрав наследника.

Существовало, правда, одно обстоятельство, чреватое серьезными последствиями: Павел не одобрял суворовских методов, его «натурализма».

Воинский идеал для него воплощался в Фридрихе II; с этой же меркой он подошел к Суворову — и, конечно, ничего не понял в нем.

Все-таки в первые месяцы по воцарении у Павла не возникало конфликтов с фельдмаршалом. Император сводил счеты с приближенными Екатерины. Алексей Орлов принужден был уехать за границу, Дашкова выехала в деревню; Суворов, встречавший при екатерининском дворе холодный прием, не вызывал в Павле подозрений. «Поздравляю с новым годом, — писал он фельдмаршалу, — и зову приехать к Москве, к коронации, если тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей». Суворов, в свою очередь, проявлял полную лояльность к новому государю. В день получения известия о смерти Екатерины и восшествии нового монарха он пишет Хвостову: «Сей день печальной! После заутрени, без собрания, одни в алтаре на коленях с слезами. Неблагодарный усопшему государю будет неблагодарен царствующему... Для восшествия на престол великого государя подарите моим русским крестьянам всем по рублю»^[35]. Начавшаяся смена министров даже радовала его: прежних он не мог помянуть добром. «Ура! Мой друг, граф Безбородко — первый министр», — восклицал он в одном письме.

Скоро на безоблачном небе появились первые предвестники грозы. В армии началась чехарда перемещений, увольнений и назначений. Чуть не целый десяток генералов сразу был произведен в фельдмаршалы; множество генералов было уволено; новый начальник генерал-квартирмейстерского штаба, Аракчеев, притеснял даже высших чинов так, что их служба сделалась «полной отчаяния»; на петербургской гауптвахте всегда сиживало по нескольку генералов. Наконец, что самое важное, Павел, опираясь на советы Репнина и Аракчеева, полагавшего, что «чем ближе своим уставом подойдем к прусскому, чем ровнее шаг... тем и надежды больше на победу», — стал со всей категоричностью вводить новые порядки в полках.

Суворов сразу занял непримиримую позицию по отношению к «прусским затеям». Реформы Румянцева, Потемкина, его собственная сорокалетняя деятельность — все шло на смарку. Русская армия отбрасывалась на полстолетия назад, к временам бездарных преемников Петра; живой дух в ней подменялся мертвым механическим послушанием; боевая подготовка — шагистикой; национальные особенности — бледной подражательностью прусским образцам.

Суворов восстал против всего этого и как военный и как патриот. Если раньше он шел на компромиссы, прибегал к «придворным изворотам», то теперь «польза дела» запрещала ему так поступать. Когда-то он объявил

своим лозунгом:

— Никогда против отечества! — и теперь он был свято верен ему.

Услужливые холопы все чаще доносили императору о резких отзывах старого фельдмаршала: «Солдаты, сколько ни весели, унылы и разводы скучны. Шаг мой уменьшен в три четверти, и тако на неприятеля вместо сорока тридцать верст», «Русские прусских всегда бивали, чтож тут перенять», «Нет вшивее пруссаков: лаузер или вшивень назывался их плащ; в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головною их вонью вам подарят обморок», «Пудра не порох, букли не пушки, косы не тесак, я не немец, а природный русак» и т. д., и т. п.

К этому присоединялось открытое невыполнение императорских повелений: Суворов не ввел в действие новых уставов, обучал войска по старой своей системе, не распустил своего штаба, попрежнему самостоятельно увольнял в отпуса.

Некоторыми исследователями была выдвинута версия, будто Суворов, в числе других авторитетных лиц, подписал заготовленный Екатериной манифест, по которому престол предназначался не Павлу, а сыну его Александру. Этим об'ясняют упорную ненависть Павла к знаменитому полководцу. Независимо от правильности этой версии, в ней нет надобности, чтобы уяснить корни императорской немилости. Среди безгласной покорности, которую видел Павел вокруг себя, поведение Суворова являлось совершенно необычайным. «Удивляемся, — раздраженно писал ему император, — что вы тот, кого мы почитали из первых ко исполнению воли нашей, остаетесь последним». В этих словах уже слышалась угроза, и Павел не замедлил привести ее в исполнение.

Ни одно нарушение устава Суворовым не проходило без последствий. По пословице, каждое лыко ставилось ему в строку. В середине января на имя Суворова последовал рескрипт государя:

«С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не меньше удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить сие мне. Что же касается до рекомендации вашей (генералу Исаеву. — К. О.), то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще рекомендую поступать во всем по уставу».

Одновременно Суворову был об'явлен в приказе выговор. Через короткий срок последовал новый выговор.

«Для Грациев потребно мое низложение, — писал Суворов, — начинают низложение».

Он снова подумывал о волонтерстве в другую армию, но международное положение так усложнилось, что он опасался, как бы не оказаться в рядах противников русской армии. «...Солдат мне воспрещает надеть военный пояс против герба России, которой я столько служил».

10 января он записывает: «...Не зная моей тактики Вурмзер есть в опасности. Я, боже избави, никогда против отечества».

Для него, как и для всех окружающих, очевидно, что император будет добиваться полной его капитуляции или же добьет его. Подлинная «буря мыслей» пронесится в его голове.

«Я генерал генералов. Тако не в общем генералитете. Я не пожалован при пароле», — записывает он 10 января, «на закате солнца».

Следующая обрывочная записка датирована 11 января, «поутру». В ней фельдмаршал излил сокровенные свои мысли:

«Сколь же строго, государь, ты меня наказал: за мою 55-летнюю прослугу! Казнен я тобою: штабом, властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, властью переводов... Оставил ты мне, государь, только власть высоч. указа за 1762 г. (вольность дворянства)»^[36].

Суворов, скрепя сердце, стал подумывать об отставке. Избегая столь решительного шага, он послал ходатайство об увольнении в годовой отпуск «для исправления ото дня в день ослабевающих сил». Император сухо отказал. Даже форма суворовских донесений, своеобразный и лапидарный язык его стали объектом гонения. «Донесение ваше получа, немедленно повелел возвратить его к вам, означа непонятные в нем два места», — гласила резолюция Павла на одном докладе Суворова.

Положение создалось нестерпимое. 3 февраля Суворов отправил прошение об отставке. Но Павел предупредил его: 6 февраля 1797 года он отдал на разводе приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь... что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы».

В КОНЧАНСКОМ

Высочайший приказ поразил, как внезапный удар грома. Никто не думал, что оваянный славой фельдмаршал будет отставлен, подобно неоперившемуся поручику. Враги злорадствовали; друзья незаметно отделились от Суворова. Подавшие одновременно с ним в отставку восемнадцать офицеров, которых фельдмаршал звал к себе управлять поместьями, распорядились предварительно выяснить, очень ли сердит государь на Суворова, и в этом случае решили прошения не подавать.

Сам Суворов мужественно переносил очередной поворот фортуны. Ему пришлось провести в Тульчине еще полтора месяца, и только по прибытии разрешения на выезд он покинул армию и выехал в свое имение, в Кобрин.

Иногда можно встретить упоминание о состоявшейся якобы трогательной сцене прощания Суворова с войсками. Это совершенно не соответствует действительности; обстановка момента исключала самую мысль об этом. Но несомненно, что весть об отъезде Суворова потрясла войска, особенно солдат. Чем острее было это возмущение и скорбь об отставленном полководце, тем страшнее казался его образ петербургскому деспоту. Ему уж мало казалось отставки. В Кобрин помчался коллежский асессор Николев с новым высочайшим приказом: Суворова непременно перевезти в его отдаленные боровичские поместья, расположенные в глуши Новгородской губернии, и «препоручить там городничему Вындомскому, а в случае надобности требовать помощи от всякого начальства»; никому из поехавших в Кобрин офицеров не разрешалось сопровождать Суворова на новое место жительства. Процедура увоза была столь поспешна, что Суворов не успел даже захватить своих драгоценностей и денег. Ему не позволили сделать никаких распоряжений; карета стояла наготове. Не успев опомниться, он очутился в ней, кучер взмахнул кнутом — и лошади понеслись на север.

Вблизи города Боровичи лежало захудалое суворовское поместье, Кончанское. Название села происходило от слова «конец»: здесь кончались жилища расселившихся с севера кореляков, южнее их уже не было. Вокруг — озера, болота да леса. Вотчина — из нескольких сот душ, перебивавшихся с хлеба на квас, не знавших промыслов и ковырявших каменистую, неплодородную землю. Сюда-то и приехал в начале мая 1797 года Суворов.

Помещичий дом обветшал; Суворов чаще жил в избе, в которой имелись две комнаты, одна над другой. Всю меблировку составляли диван, несколько стульев, шкаф с книгами, портреты Петра I, Екатерины II и несколько семейных портретов.

Жил он один, и никого близких около себя не видел. Семейная жизнь Суворова — тема, заслуживающая особого рассмотрения.

В одном письме, датированном 1776 годом, Суворов писал:

«Долг императорской службы столь обширен, что всякий долг собственности в нем исчезает: присяга, честность и благонравие то с собою приносят». Военное призвание, в самом деле, поглощало его целиком, и для личной жизни у него не оставалось ни времени, ни душевных сил. Самолюбивый, раздражительный, нетерпимый, обладавший тяжелым характером, он трудно уживался с людьми, не умевшими видеть за всем этим внутреннего благородства его натуры. У него не было близких друзей; вокруг него всегда была пустота. Обычно эту пустоту пытаются заполнить семейной жизнью, но если Суворов когда-либо разделял в этом отношении розовые иллюзии, то они привели лишь к очередному разочарованию: семейная жизнь его оказалась совершенно неудачной.

Женская красота страшила его теми волнениями, которые она несла с собой; размеренные брачные отношения казались ему узами, ограничивающими независимость. Однажды, выражая сомнение в способностях польского генерала Грабовского к быстрым действиям, он написал: «Грабовский, с женою опочивающий». Но наряду с этим он считал долгом каждого человека жениться и иметь детей. «Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за мое рождение...», «Богу не угодно, что не множатся люди...».

С такими религиозно-нравственными соображениями подходил он к своей женитьбе. Выбор его пал на Варвару Ивановну Прозоровскую. Это был человек, менее всего способный сочувствовать подобным воззрениям и ждавший от брака совсем иного.

Варваре Ивановне в то время было двадцать три года. «Она была красавицей русского типа, полная, статная, румяная; но с умом ограниченным и старинным воспитанием, исключавшим для девиц всякие знания, кроме умения читать и писать»^[37]. Впрочем, и эту нехитрую премудрость Варвара Ивановна осилила с грехом пополам, как то можно заключить из ее письма к своему дяде, князю Голицыну (приводим с соблюдением орфографии):

«и Я, милостиваи Государь дядюшка, принашу майе нижайшее патъчтение и притомъ имею честь рекаманьдавать в вашу милость

александры василиевича и себя такъжа, и такъ остаюсь, милостиваи государь дядюшка покоръная и веръная куслугам племянница варъварва Суворава».

Даже на фоне слабой образованности, которой отличалось русское высшее общество XVIII века, это письмо выделяется своей малограмотностью.

Суворов женился с обычной стремительностью, характеризовавшей все его поступки. 18 декабря 1773 года состоялась помолвка, 22 декабря — обручение, а 16 января 1774 года — свадьба. Отец новобрачной к тому времени обеднел и дал за дочь всего 5 тысяч рублей приданого. Несомненно, что Суворов, уже приобретший к тому времени известность, мог найти более богатую невесту. Очевидно, ему — как и его отцу — импонировала знатность рода Прозоровских и красивая наружность невесты. Пылких чувств к Варваре Ивановне Суворов, видимо, никогда не испытывал.

Между супругами не было ничего общего. Он был некрасив, она красавица; он глубоко образованный человек, с железной волей, грандиозными замыслами, она аристократка, пустая по содержанию, видевшая во всем лишь внешнюю, показную сторону вещей, неспособная ни понять, ни оценить своего мужа. Образ жизни полководца также не соответствовал понятиям его новой жены. Она не сочувствовала его бережливости, скромности, отказу от внешних аксессуаров знатности. Наконец, оба были неуступчивы и своенравны.

Как бы то ни было, первые годы супружества протекли без серьезных размолвок (Варвара Ивановна родила в это время дочь Наталью). Но затем отношения испортились. В сентябре 1779 года Суворов подал в консисторию прошение о разводе. Через несколько месяцев он взял это прошение обратно. Однако достигнутое примирение оказалось непрочным. К тем конфликтам, которые проистекали из противоположности их вкусов и характеров, прибавился новый серьезный фактор: Варвара Ивановна нарушила супружескую верность. Екатерининская эпоха отличалась необычайной распущенностью, царившей в так называемых «высших кругах» общества. Двор императрицы мог соперничать в этом отношении с доживавшим последние годы королевским Версалем. Знатные дамы беспрестанно меняли любовников, причем это не было тайной даже для их мужей. Варвара Ивановна поступила так же, как поступала почти всякая скучающая молодая женщина ее круга.

Но Суворов категорически не хотел признавать этого обычая. При той строгости и чистоте, которыми отличались его взгляды на брак, поведение

его жены неминуемо должно было повлечь крупную драму.

Впрочем, Суворов долго искал примирения с женой. Например, в 1780 году Суворов пишет статс-секретарю императрицы Турчанинову:

«Сжальтесь над бедной Варварой Ивановной, которая мне дороже жизни моей. Зря на ее положение, я слез не отираю. Обороните ее честь. Ее безумное воспитание оставляло ее без малейшего просвещения в добродетелях и пороках... Накажите сего изверга по примерной строгости, отвратите народные соблазны». И далее в том же письме: «...Прошу о наказании скверного соблазнителя и вечного поругателя чести моей неблагодарного по милостям и гостеприимству».

Мы не располагаем точными данными о том, кто был этот «скверный соблазнитель», да это и не важно. Есть основание считать, что просьбы полководца достигли цели, и «вечный поругатель» чести Суворова подвергся взысканию. Во всяком случае, в другом письме к тому же Турчанинову (написанном в августе 1780 года) говорится:

«Почтенное ваше письмо меня успокоило. Вижу я в перспективе покрытие моей невинности белым знаменем. Насильный похититель моей чести примет достойное воздаяние. Но до того мое положение хуже каторжного вдовца».

Варвара Ивановна, никак, видимо, не ожидавшая столь горестных последствий своего легкомыслия, в свою очередь, писала Турчанинову: «А что до злодея проклятого, то, пожалуйста, батюшка, постарайся, ради бога, упечь его поскорее».

Отношения Суворова к жене крайне испортились, но и на этот раз дело не дошло до полного разрыва. Свое примирение с Варварой Ивановной Суворов, проживавший тогда в Астрахани, обставил со свойственной ему оригинальностью. Для описания этой необыкновенной церемонии приведем выдержки из рассказа, напечатанного впервые в 1838 году в «Астраханских Ведомостях».

«Во время преосвященного Антония Румовскою был в Астрахани граф А. В. Суворов... Между графом и графинею какие были распри, это они только знают. 1783 года ^[38] декабря 12 дня... Суворов пошел в простом солдатском мундире и супруга его в самом простом также платье, кафедральный же протоиерей Панфилов, облачась во все облачения, взошел в алтарь, отворил царские двери. Граф и графиня и все приближенные, как мужеский, так и женский пол, стояли на коленях, обливаясь слезами... Граф встает и идет в алтарь к престолу, полагает три земных поклона, став на коленях, воздевает руки, встав, прикладывается к престолу, упадает к протоиерею в ноги и говорит: „Прости меня с моею

женою, разреши от томительства моей совести“. Протоиерей выводит его из царских врат, ставит на прежнее место на колена, жену графа подымает с колен... подводит к графу, которая кланяется ему в ноги, также и граф. Протопоп читает разрешительную молитву, и тотчас начинается литургия, во время которой оба причастились».

В продолжение нескольких лет после этого семейная рознь супругов не осложнялась крупными столкновениями, но в 1784 году произошел окончательный разрыв. Суворов обратился непосредственно в синод с ходатайством о разводе, и хотя синод, по формальным соображениям, не дал хода бракоразводному делу, Суворов решительно порвал всякую связь с Варварой Ивановной. Раздражение против бывшей жены было у него настолько велико, что когда до него дошли слухи «о повороте жены к мужу», он тотчас отправил своего управляющего Матвеича к московскому архиепископу.

«Скажи, что третичного брака уже быть не может и что я тебе велел об'явить ему это на духу. Он сказал бы: „Того впредь не будет“. Ты: „Ожегшись на молоке, станешь на воду дуть“. Он: „Могут жить в одном доме розно“. Ты: «Злой ее нрав всем известен, а он не придворный человек»».

Разошедшись с женой, Суворов пожелал вернуть полученное им приданое. Прозоровский отказался, но Суворов усиленно настаивал на этом и добился своего. Зато, устанавливая Варваре Ивановне ежегодное содержание, он, поколебавшись, определил незначительную сумму в 1200 рублей; впрочем, через несколько лет эта сумма была доведена до 3 тысяч рублей.

Резкий и желчный, когда его раздражали, Суворов проявил в ведении бракоразводных переговоров много бестактности по отношению к бывшей жене своей. Он предал огласке много интимных фактов из области супружеских отношений, совершенно не заботясь о том, какое влияние это окажет на Варвару Ивановну. Решившись на окончательный разрыв, он заглушил в себе последние остатки теплых чувств к ней и перессорился даже со своими родными, подозревая их в сочувствии его бывшей жене. Справедливость требует отметить, что сама Варвара Ивановна во многом способствовала такому поведению Суворова: она распространяла о нем лживые сплетни, будто он пьянствует, всячески компрометировала его, вымогала через суд деньги и т. д. Опыт супружеской жизни дорого обошелся Суворову и возобновлять его он никогда уже не собирался.

Вся нежность, таившаяся в сердце сурового полководца, в течение многих лет была сконцентрирована на его дочери Наталье, родившейся в

1775 году. Когда ей было два года, отец с умилением писал: «Дочка вся в меня и в холод бегаёт босиком по грязи». В дальнейшем он всегда питал самую трогательную любовь к дочери. «Смерть моя для отечества, жизнь моя для Наташи», — писал он из Финляндии.

Разлад с женой побудил Суворова удалить дочь из дома; она была отдана на воспитание во вновь учреждавшийся институт благородных девиц (Смольный) и поступила на попечение начальницы института, Софии Ивановны де Лафон. По решительному настоянию Суворова, Варвара Ивановна была разлучена с дочерью навсегда.

Где бы ни был Суворов, как бы тяжело ему ни приходилось, он всегда помнил о дочери; писал ей письма, радовался ее успехам.

«Любезная Наташа, — писал он ей в 1787 году, — Ты порадовала меня письмом от 9 ноября, больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье; и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софию Ивановну или она тебе выдерет уши, да посадит за сухарик с водицею... У нас были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы^[39], а как в правду потанцовали, в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мной лошади мордочку отстрелили. Насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру... Как же весело на Черном море, на Лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики; по полям жаворонки, синички, лисички, в воде стерляди, осетры: пропасть!»

Весь он здесь, в этом письме, этот едкий человек и жестокий воин, оставшийся в душе до конца жизни большим ребенком!

В другом письме, от 1788 года, он пишет:

«Милая моя Суворочка! Письмо твое от 31 Генваря получил; ты меня так утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу, что я завидую... Куда бы я, матушка, посмотрел теперь на тебя в белом платье! Как ты растешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать какую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах в древности... Ай-да, Суворочка. Здравствуй, душа моя, в белом платье: носи на здоровье, рости велика!»

Описывая бой под Очаковым, Суворов вновь прибегает к образному стилю, рассчитанному на уровень понимания и мышления детей:

«Ай да ох! Как же мы потчивались! Играли, бросали свинцовым большим горохом, да железными кеглями, в твою голову величины; у нас были такие длинные булавки, да ножницы кривые и прямые: рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть и голову. Ну, полно с тебя, завралась! Кончилось все иллюминацією, фейерверком... С Festin турки ушли далеко, ой далеко».

Приведем еще одну коротенькую цитату, любопытную тем, что она, хоть и в шутливой форме, рисует взгляды Суворова на воспитание. В 1790 году он пишет Наташе:

«Душа моя! По твоему письму, ты уж умеешь рассуждать, располагать, намерять, утверждать мысли в благонравии, добродушии и просвещении от наук. Знать, тебя Софья Ивановна много хорошо сечет».

В 1791 году Наталья Суворова окончила институт. По свидетельству современников, она не отличалась ни красотой, ни умом и была совершенно ординарной девушкой. Однако, во внимание к заслугам ее отца, Екатерина назначила ее фрейлиной, поместив жить во дворец. Милость императрицы страшно обеспокоила Суворова. Зная, сколько соблазнов таилось для молодой девушки в легкомысленной, развратной среде придворных, он решился, пренебрегая гневом Екатерины, взять ее из дворца. Наташа была поселена у своей тетки. Это не успокоило Суворова. Он, не переставая, посылал ей наставления и предостережения.

«Избегай людей, любящих блистать остроумием, — писал он, тоскливо следя издали за светской жизнью дочери, — по большей части, эти люди извращенных нравов... Будь сурова с мужчинами и говори с ними немного... Если случится, что тебя обступят старики, показывай вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай».

Наташа отвечала своему отцу обычно лаконичными, сухими письмами, напоминающими скорее отписки. «Милостивый Государь Батюшка! Я слава богу здорова. Целую ваши ручки и остаюсь навсегда ваша послушнейшая дочь гр. Н. Суворова-Рымникская».

Годы шли, и на очередь встал вопрос о замужестве Наташи. Суворов, скрепя сердце, готовился к этому; он чувствовал, что, выйдя замуж, дочь отдалится от него. (Хотя, надо сказать, Наташа и так не отличалась особой сердечностью.) Но делать было нечего! Начались выборы женихов.

Снова Суворов, так ценивший обычно расположение двора и вельмож, навлекает на себя гнев многих из них. Он отклонил возможность породниться со знатнейшими родами — из опасения, что жених недостаточно хорош для Наташи. Он отказал молодому графу Салтыкову (сыну Н. И. Салтыкова) потому, что он «подслепый жених», князь Трубецкой получил отказ потому, что «он пьет, и его отец пьет и в долгах, а родня строптивая», князь Щербатов потому, что «взрачность не мудрая, но паче непостоянен и ветрен». Симпатиями Суворова пользовался молодой граф Эльмпт — «юноша тихого портрета, больше со скрытными достоинствами и воспитанием, лица и обращения не противного». Но этот кандидат был забракован невестой, которую Суворов — в

противоположность господствовавшим обычаям — совершенно не неволил в выборе жениха.

Затянувшееся сватовство Наташи очень беспокоило Суворова.

— И засыхает Роза, — восклицал он.

Наконец, жених нашелся. Это был брат тогдашнего фаворита Платона Зубова, граф Николай Александрович Зубов. Сватовство было поддержано самой императрицей. Перспектива породниться с фаворитом казалась заманчивой.

В апреле 1794 года состоялось венчание. Суворова в Петербурге не было — он находился в тот момент в Варшаве. Обычно прижимистый в денежных вопросах, он на этот раз не поспешил: в приданое Наташе были даны 1500 душ крестьян и некоторые из пожалованных ему бриллиантовых вещей. Это была значительная часть всего его состояния.

Как и предполагал Суворов, замужество дочери охладило ее отношения с ним. Он сам пишет ей все реже и холоднее: «Любезная Наташа, за письмо твое тебя целую, здравствуй с детьми, божье благословение с вами»^[40], — вот образец его позднейших писем дочери. Он видел, что Наташа, занятая мужем, детьми и светской жизнью, все меньше вспоминает своего оригинала-отца.

В одном из писем Хвостову, датированном октябрём 1796 года, Суворов говорит со скрытой горечью: «Наташа отдана мужу, тако с ним имеет связь; он ко мне не пишет, я к ним не пишу: божие благословение с ними!.. Родство и свойство мое с долгом моим: бог, государь и отечество».

Отдалившись от дочери, он стал уделять больше внимания своему второму ребенку — сыну Аркадию.

Аркадий родился в 1784 году. Несомненно, что Суворов гораздо нежнее любил свою дочь, но несомненно также и то, что сын воспринял от него значительно больше, чем серенькая, ничем не выдававшаяся Наташа. Аркадий был одарен от природы замечательными способностями, в частности, военными. Что его отделяло от отца, это, видимо, унаследованная от матери, очень красивая внешность и безудержная жажда потех и наслаждений.

До одиннадцатилетнего возраста Аркадий жил у своей матери, и это, естественно, создало некое средостение между ним и его отцом. Затем он был назначен камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. Когда совершалась итальянская кампания, Павел I надумал, что сыну приличествует быть при отце, и отправил Аркадия в действующую армию, дав ему чин генерал-ад'ютанта. Во время похода пятнадцатилетний Аркадий проявлял неоднократно смелость и отвагу, что способствовало

перемене отношения к нему его отца. Отважный мальчик начал заполнять в сердце Суворова ту пустоту, которая образовалась с отдалением Наташи. В письмах полководца, в которых почти не встречалось раньше имя Аркадия, все чаще появляется упоминание о нем.

«Мне хочется Аркадию все чисто оставить», — писал Суворов, уже охваченный смертельной болезнью.

До него дошли слухи, что получивший беспорядочное воспитание, вращавшийся с детских лет в кругу толпившейся вокруг великого князя золотой молодежи Аркадий заимствовал ее наклонности. Для того, чтобы отучить сына от столь ненавидимых им кутежей и волокитства, Суворов решил женить его, несмотря на юный возраст. Он выбрал уже невесту, но не успел осуществить своего замысла: смерть скосила его, прежде чем он наставил «на путь истинный» своего, так поздно обретенного, сына.

Семейные радости не были суждены Суворову^[41].

Через месяц после прибытия Суворова в Кончанское, его навестила Наташа со своим сыном. Это очень развлекло опального фельдмаршала, он повеселел, бодрее относился к своей участи. Но через два месяца гости уехали, старик остался один. Жизнь его становилась все более тяжелой.

Вындомский отказался от обязанностей надзирать за Суворовым, сославшись на плохое свое здоровье. Из Петербурга повелели переложить эти обязанности на соседнего с Суворовым помещика Долгово-Сабурова. Тот также отказался, приведя какие-то веские причины. Тогда вспомнили о Николеве, безграмотном отставном чиновнике, подвернувшемся однажды под руку и так ретиво выполнившем тогда поручение перевода Суворова из Кобрина.

В конце сентября Николев приехал в Кончанское. Бесцеремонность нового надсмотрщика была хорошо известна Суворову. Нервы его не выдержали, и он отправил Павлу отчаянное письмо. «Сего числа приехал ко мне коллежский советник Николев. Великий монарх, жсальтесь, умилосердитесь над бедным стариком. Простите, если чем согрешил».

На этом письме император наложил резолюцию: «Оставить без ответа».

Николев следил за каждым шагом Суворова, перлюстрировал его корреспонденцию, наблюдал за тем, встречается ли он с кем-нибудь, «учтиво» препятствовал фельдмаршалу отлучаться даже поблизости из Кончанского. Эта мелочная опека терзала старика.

Из Петербурга приходили унылые вести: Павел в ярости. Когда ему доложили, что один полк еще не получил обещанных медалей за взятие Праги, он ответил: «Медалей за пражский штурм бывшим на нем отпущено

не будет, понеже я его не почитаю действием военным, а единственно заклятием жидов».

Самое имя Суворова вытравлялось из армии, отданной во власть Аракчеева, истекавшей кровью под фухтелями и шпицрутенами.

Кроме всего этого, у фельдмаршала начались денежные неприятности.

Император дал ход всем искам и денежным претензиям, которые, как из рога изобилия, посыпались на Суворова. Павел приказывал взыскивать с опального полководца по самым невероятным счетам: за то, что три года назад по устному распоряжению фельдмаршала израсходовали 8 тысяч рублей на провиантские нужды армии, а провиантское ведомство их не покрыло; за то, что суворовский управитель торговал дом в Москве, не купил его, а купец уже прикрыл фабрику, бывшую в том доме. Бывшей жене Суворова Варваре Ивановне велено было давать ежегодно не 3 тысячи, а 8 тысяч рублей. Дошло до того, что один поляк вчинил Суворову иск за повреждения, нанесенные его имению русской артиллерией в 1794 году. Сумма претензий превысила 100 тысяч рублей при годовом доходе Суворова в 50 тысяч. На кобринское имение был наложен секвестр.

Под влиянием всех напастей, унижений, клеветы и обид Суворов совсем извелся. Почти ежедневно он ударял кого-нибудь из дворовых, чего с ним раньше почти никогда не случалось, и даже его любимцу Прошке — грубому пьянчуге, но беззаветно преданному своему господину — изрядно доставалось. Впрочем, он быстро остывал и обращался с Прошкой по-обычному просто и ласково. На одной прогулке Прошке, шедшему следом за Суворовым, взбрело на ум напроказить, и он, на потеху мужикам, принялся копировать Суворова. Неожиданно обернувшись, фельдмаршал застиг его в самом разгаре его усилий.

— Гум, гум, Прошенька, — кротко сказал он и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь.

По целым дням он ходил из угла в угол, не имея живой души, с кем бы можно было поделиться своими мыслями. Смертельная тоска овладевала им. Иногда ночью, когда ему не спалось, он уходил в темный лес и бродил там до утра.

Главным развлечением его было звонить в колокола; это он очень любил и проводил целые часы на ветхой колокольне. Любил он также беседовать со старичком-священником и охотно читал на клиросе. В церкви он бил поклоны до земли, не сгибая колен, при этом часто смотрел между ног своих узад и, если замечал смеющихся над ним, делал потом им замечания. В домике своем он завел «птичью горницу» и нередко подолгу просиживал посреди говорливых пернатых обитателей ее. В иные дни он

вдруг присоединился к играющим в бабки ребятам и проводил целые часы за этим занятием.

Павел все ждал, что старый фельдмаршал принесет повинную. При всем своем сумасбродстве он понимал, какое неблагоприятное впечатление производит ссылка Суворова не только в России, но и за границей. Видя вокруг лишь покорность и поклонение, Павел не сомневался, что и старик-фельдмаршал скоро обломается и если не присоединит прямо своего голоса к хору восхвалений, то даст все-таки возможность поместить его куда-нибудь в армию на вторые роли, для отвода глаз Европе.

Но время шло, а Суворов не сдавался. Больше того: он не проявлял никаких признаков раскаяния. Случился, например, такой эпизод. В Кончанское прибыл курьер от императора; Суворов принял его в бане.

— Кому пакет?

— Фельдмаршалу графу Суворову.

— Тогда это не мне: фельдмаршал должен находиться при армии, а не в деревне^[42].

Петербургско-кончанская баталия продолжалась.

Кончилось тем, что первый шаг сделал император. В феврале 1798 года он приказал племяннику Суворова, молодому князю Андрею Горчакову, «ехать к графу Суворову, сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где надеюсь не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению». Одновременно было дано распоряжение об отзыве из Кончанского Николева.

Вряд ли существовал еще хоть один русский деятель, по отношению к которому тщеславный и самолюбивый Павел сделал подобный шаг. И вряд ли кто-нибудь отказался бы от этого приглашения пойти на компромисс. Но Суворов именно так и поступил; он сразу решил для себя вопрос: не итти ни на какие сделки; лучше ссылка в глухой деревне, чем хотя бы косвенное апробирование «пруссских затей» императора. Все его дальнейшее поведение было подчинено этому решению.

Сперва он вообще отказывался ехать в Петербург. Потом, уступая племяннику, выехал, но с необычной медлительностью, проселочными дорогами, «чтобы не растрястись». Горчаков отправился вперед. Государь с нетерпением, даже с тревогой ждал приезда Суворова. Он потребовал, чтобы его уведомили, как только фельдмаршал появится в столице.

Суворов приехал вечером. Павел уже лег, когда ему доложили об этом. Он вышел, сказал, что принял бы Суворова тотчас, но уже поздно, и он переносит аудиенцию на утро. В 9 часов Суворов с Горчаковым вошли в

приемную. По дороге в Петербург старый полководец понаблюдал новое устройство армии, и все виденное им только укрепило его в принятом решении.

Окинув взором расфранченных, важничавших генералов, он тотчас же приступил к обычным «шалостям»: одному сказал, что у него длинный нос, другого с удивлением расспрашивал, за что он получил чин и трудно ли сражаться на паркете, с царским брадобреем, крещеным турком Кутайсовым, заговорил по-турецки.

Аудиенция у императора длилась больше часа. Павел проявил небывалое терпение, десятки раз намекая, что пора бы Суворову вернуться в армию. Фельдмаршал оставался глух. В первый раз Павел опоздал на развод, все пытаясь уломать несговорчивого старика. К разводу был приглашен и Суворов. Снова началось ухаживание государя за фельдмаршалом: вместо обычного учения солдат водили в штыки. Суворов почти не глядел на учение, подшучивал над окружающими и, наконец, уехал домой, несмотря на испуганные заклинания Горчакова, что прежде государя никто не смеет уходить с развода.

— Брюхо болит, — пожал плечами Суворов.

Три недели, проведенные им в Петербурге, были подобны этому дню. Он издевался над новой, неудобной формой, путался шпагой в дверцах кареты, ронял с головы плоскую шляпу; на разводах он вдруг принимался читать молитву: «Да будет воля твоя».

В это время произошел характерный диалог между ним и графом Растопчиным.

— Кого вы считаете самым смелым человеком? — спросил Растопчин.

— Трех смелых людей знаю на свете: Курций, Долгорукий и староста Антон. Первый прыгнул в пропасть; Антон ходил на медведя, а Долгорукий не боялся царю говорить правду.

Пребывание в Петербурге становилось явно бесцельным. Бедный Горчаков выбился из сил, пытаясь сгладить перед государем постоянные резкости Суворова. В конце концов, фельдмаршал прямо попросился обратно в деревню; Павел с заметным неудовольствием дал разрешение.

Поездка в столицу имела все же положительные следствия: во-первых, с Суворова был снят надзор, во-вторых, фельдмаршал рассеял овладевшую было им хандру. В первое время по возвращении его настроение было ровное и хорошее. Он ездил в гости к соседям, толпами сбিরавшимся поглазеть на диковинного старика. Это, конечно, раззадоривало Суворова, и он в волю «чудил».

Сохранился правдоподобный анекдот, записанный со слов одного

кончанского старожила. Некий помещик приехал в гости к отставному фельдмаршалу на восьми лошадях. Добившись согласия на ответный визит, он зазвал в назначенный день всю округу, слетевшуюся взглянуть на опальную знаменитость. Каково же было всеобщее удивление, когда показался Суворов на восьмидесяти лошадях цугом: фореитор полчаса сводил лошадей в клубок, пока вкатилась бричка с седоком. Обрато фельдмаршал уехал на одной лошади.

В этот период Суворов много занимался хозяйством и тесно общался со своими крестьянами. Поведение его как помещика было столь же оригинально и своеобразно, как и все его поступки.

После смерти отца он получил 1900 душ: в Пензенском наместничестве, в Московском округе, в Костромской, Владимирской и Новгородской губерниях. В последующие десять лет он приобрел еще около тысячи душ. Затем ему было пожаловано обширное Кобрино. Разумеется, все это было ничтожно в сравнении с поместьями родовитой знати и фаворитов, но, тем не менее, это было уже немалое хозяйство. Суворов почти не уделял времени управлению поместьями, передоверяя это своим управляющим; те, зная неопытность фельдмаршала в житейских делах, безбожно обманывали его. Однако общие контуры обращения с крестьянами намечались им лично.

Для своего времени Суворов был очень просвещенным и гуманным хозяином. Он не выжимал из крестьян семи потов: крестьяне платили 3–4 рубли оброка в год (с души) и за это пользовались всеми угодьями, реками и покосами. Сберегая рабочие руки, Суворов охотно покупал на стороне охотников пойти в солдаты, вместо того, чтобы отдавать в рекруты своих оброчных. Половину суммы (150–200 рублей) платил он из своих средств, остальные — мир.

Суворов всегда заботился, чтобы не было безбрачных. Если нехватало невест, он посылал покупать их. «Лица не разбирать, были бы здоровы. Девочк отправлять на крестьянских подводах, без нарядов, одних за другими, как возят кур, но очень сохранно». Особенно внимателен и заботлив он был всегда к детям. Детей моложе тринадцати лет запрещалось посылать на работы (это в то время, когда в соседних деревнях и на заводах дети были заняты непосильным трудом с семи лет!).

Суворов следил за развитием скотоводства, за соблюдением правильных способов обработки земли. «В привычку вошло, — писал он, — пахать иные земли без навоза, от чего земля вырождается и из года в год приносит плоды хуже... Я наистрожайше настаивать буду о размножении рогатого скота и за нерадение о том жестоко, вначале старосту, а потом

всех, наказывать буду».

Наказания в суворовских поместьях применялись тоже совсем не те, что практиковались у других помещиков. Телесных наказаний он почти не употреблял, а если и прибегал к ним, то, главным образом, за воровство. При этом разрешалось употреблять только розги; кнут и плети совершенно были изъяты, равно как весь реквизит рогаток, цепей и т. д. Самое наказание розгами производилось «по домашнему», ничем не напоминая беспощадных истязаний в других поместьях.

Очень любопытны старания Суворова внедрить в сознание крестьян понятие о необходимости взаимной помощи.

«В неурожае крестьянину пособлять всем миром и заимобразно, — наставлял он, — без всяких заработков, чиня раскладку на прочие семьи».

Заботой о крестьянском хозяйстве не ограничивались занятия Суворова в этот период. Он много читал, требовал присылки то Державинских од, то Оссиана, выписывал газеты и жадно следил за бушевавшей над Францией военной грозой. Суворов быстро оценил первые успехи Бонапарта и тогда же произнес свою известную фразу:

— Далеко шагает мальчик! Пора унять...

В дальнейшем он все больше уважал военный гений французского полководца. Это проявлялось даже в манере говорить о нем: сперва Суворов называл Бонапарта молокососом, затем мальчишкой, а потом стал величать его «молодой человек».

Не отдавая себе, быть может, отчета в том, что составляло основу успехов французской армии, он констатировал беспомощность коалиции противников. Он очень близко подходил к отгадке.

— Якобинцы побеждают, потому что у них твердая, глубокая воля, — сказал он одному французскому эмигранту, — а вы, ваша братия, не умеете хотеть.

Впрочем, это не значит, что Суворов готов был изменить свои политические убеждения. Он твердо оставался на позициях монархизма, отзываясь о революции как о ниспровержении человеческих и божеских законов. К слову сказать, еще живя в Польше, Суворов послал проникнутое пафосом и риторикой приветственное письмо предводителю вандейского контрреволюционного восстания.

Живя в кончанской трущобе, стоя одной ногой в гробу, он ловил каждое новое известие о титанической борьбе на берегах Рейна и в долинах Италии. Услышав, что французы замышляют десант в Англию, он расхохотался:

— Вот трагикомический спектакль, который никогда не будет

поставлен! — В этом сказались и его постоянное недоверие к десантным операциям и убеждение в превосходстве английского флота.

Мнения кончанского отшельника живо интересовали Павла, он подослал к нему генерала Прево де Лючиана, в упор поставившего вопрос о возможной войне с Францией. Суворов продиктовал в кратких чертах план кампании: оставить два обсервационных корпуса у Страсбурга и Люксембурга, итти, сражаясь, к Парижу, не теряя времени и не разбрасывая сил в осадах. Только два человека могли составить такой план — Суворов и Наполеон. Конечно, павловские специалисты с презрением отвергли его.

Пожелтела листва, умчалось короткое лето, а с ним и бодрое настроение Суворова. Павел исподтишка сводил счеты за недавний приезд фельдмаршала: он подверг немилости Горчакова, запретил невинную патриотическую книжку о победах русского полководца; снова полился дождь немедленно удовлетворявшихся денежных претензий. Ввиду крайнего расстройств дел Суворов определил себе на полгода всего 1600 рублей, но это, разумеется, не поправило его бюджета.

Отношения с зятем Н. Зубовым в конец испортились, и тень от этого легла даже на отношения с Наташей. Все стало немило. Унылая скука вновь овладела им.

«Бездействие гнетет и томит. Душа все равно, что пламя, которое надо поддерживать и которое угасает, если не разгорается все сильнее».

К упадку духа присоединилось физическое недомогание. В декабре 1798 года он жаловался, что «левая сторона, более изувеченная, уже пять дней немеет, а больше месяца назад был без движения во всем корпусе».

Нужен был какой-нибудь исход. Измученный старик решил искать его там, где меньше всего мог ужиться его беспокойный нрав, — в монашестве. В том же декабре он отправил императору прошение о дозволении ему постричься в монахи. «Неумышленности моей прости, великий государь», — добавлял он. Это был голос не прежнего неукротимого Суворова, а человека, наполовину покончившего уже счеты с жизнью.

Целый месяц ждал Суворов в занесенной снегом избе разрешения надеть рясу. Не принял ли Павел его просьбу всерьез, либо уже обсуждался вопрос о новом назначении его, но ответа на прошение не последовало. И вдруг в начале февраля 1799 года в тишину кончанского домика ворвался на фельд'егерской тройке генерал Толбухин с высочайшим рескриптом. Павел звал Суворова в Италию — командовать русско-австрийскими армиями, действующими против французов.

ВЫЕЗД В ВЕНУ

Как было упомянуто выше, при вступлении своем на престол Павел I круто изменил правила внешней политики своей матери, «соображенные на видах приобретений». Он задался целью способствовать установлению в Европе мира. Прусскому королю он сообщил, что намерен условиться с ним о способах «положить предел всяческим потрясениям государств», причем намерен был привлечь к этим переговорам и другие державы. Несмотря на свою фанатическую приверженность монархической идее, он проявлял терпимость по отношению к Французской республике. «Признание республики Французской не долженствует уже в нынешнем дел положении встречать ни малого от какой-либо державы затруднения», — указывал он отправленному в Европу фельдмаршалу Репнину. И далее: «Хотя мы по сие время удалялися от непосредственного сношения с настоящим во Франции правлением... по оказании однако ж со стороны его желания восстановить с нами доброе согласие... постарайтесь завести речь о мире».

Эти первые внешнеполитические установки Павла I испытали участь благих намерений, которыми, по утверждению Данте, вымощена дорога в ад. Прошло очень недолгое время, и они сменились совершенно противоположными. Формулируя вкратце причины, приведшие к резкой перемене политического курса, можно указать на следующие: 1. При занятии Ионических островов в 1797 году французы арестовали русского консула, что повлекло немедленный приказ не умевшего сдерживаться Павла о прекращении сношений с Францией впредь до освобождения консула. 2. Франция поддерживала поляков, содействовала Домбровскому в формировании на ее территории польских легионов и явно подогревала надежды на восстановление независимого польского государства. Это страшно волновало Павла. В посланном весной 1798 года Репнину императорском рескрипте имелись такие строчки: «Французы, примирясь с державами, которых вдруг вовсе истребить или опровергнуть были не в состоянии, разрывают с ними дружбу как скоро предвидят удобность успевать в своем плане, чтоб достигать всемерного владычества посредством заразы и утверждения правил безбожных и порядку гражданскому противных». 3. По пути в Египет Бонапарт захватил, нуждаясь в морской станции, остров Мальту, владение так называемого Мальтийского ордена. Образовавшийся во времена крестовых походов с

целью защиты христианства от мусульман, орден этот комплектовался исключительно из древнего католического дворянства и был средоточием реакционных сил. В числе покровителей ордена числился и Павел, повелевший отпускать ежегодно мальтийским рыцарям крупные денежные суммы. Когда Мальта сдалась без сопротивления французам, проживавшие в Петербурге члены этого ордена сместили великого магистра и торжественно предложили сей титул Павлу, охотно принявшему их предложение и обещавшему ордену свою защиту.

Таковы были ближайшие причины, вызывавшие негодование Павла против французов. Но и Россия, со своей стороны, давала серьезные поводы к неудовольствию Франции. 1. Не находивший нигде пристанища претендент на французский трон Людовик XVIII был приглашен Павлом в Россию. Ему и его семье был предоставлен замок в Митаве с установлением годового содержания в 200 тысяч рублей. 2. Павел предоставил приют семитысячному корпусу французских эмигрантов, сражавшихся под начальством принца Конде в рядах австрийской армии. После того, как Австрия заключила в Кампо-Формио мир с Францией, этот корпус перешел русскую границу и был расквартирован на Волыни и в Подолни на полном иждивении русского правительства. 3. В апреле 1798 года было объявлено о запрещении французам в'езжать в Россию, а вслед затем о конфискации находившихся в России французских товаров и кораблей.

Перечисленные факторы, крайне обострившие отношения между обеими странами, искусно использовала Англия. Плетя сложную сеть интриг, разжигая неприязнь русского кабинета, в частности, самого императора к установленному французской революцией новому социальному строю, английское правительство сумело втянуть Россию в составившуюся коалицию (Англия, Австрия, Турция, Неаполь). Каждый член этой коалиции имел в предстоявшей войне осязаемые материальные интересы. Одна Россия втягивалась в тяжкую борьбу без всяких реальных оснований, — если не считать тяжеловесную реакционность правительства, считавшего одной из своих основных задач искоренение «заразы», распространяемой французской буржуазной революцией. В договоре с Англией участие России было прямо объяснено стремлением «действительнейшими мерами положить предел успехам французского оружия и распространению правил анархических; принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие». Во имя этой «бескорыстной» цели должна была пролиться кровь многих тысяч русских солдат.

Русский флот отплыл в Средиземное море и занял Ионические острова. Одновременно было приказано снарядить двадцатитысячный корпус под начальством шестидесятилетнего генерала Розенберга и двинуть его в Вену для присоединения к австрийской армии.

Тут возникло непредвиденное замешательство, в котором опытный глаз мог бы увидеть предвозвестие грядущих конфликтов между союзниками. Австрийцы обязались продовольствовать русские войска по своим нормам. Розенберг нашел, что эти нормы меньше русских — не три фунта хлеба в день, а только два. Австрийцы отказались увеличить снабжение; в ответ на это Павел предписал распустить вспомогательный корпус. Венский двор поторопился обещать к двухфунтовому рациону еще фунт муки — и таким путем было достигнуто соглашение.

Тогда на очередь встал новый вопрос: кого назначить главнокомандующим? Намечали принца Оранского, но он скоропостижно скончался; остальные кандидаты были известны понесенными ими от французов поражениями. Тогда глава английского правительства, Питт, представлявший собою мозг коалиции, выдвинул кандидатуру Суворова. После длительных колебаний австрийцы поддержали это предложение и обратились к Павлу, прося послать полководца, «коего мужество и подвиги служили бы ручательством в успехе великого дела».

В первую минуту император даже был польщен.

— Вот каковы русские — всегда пригождаются, — воскликнул он и тотчас отправил в Кончанское генерала Толбухина с рескриптом. Тревожась, как бы упорный старик не отказался, Павел приложил к официальному рескрипту частное письмо. «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитывать. Виноватого бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

Беспокойство Павла было напрасным. Что значили для Суворова перенесенные обиды, когда перед ним открывалась манящая возможность снова стать во главе «чудо-богатырей» и сразиться с сильнейшей армией в свете! Уже давно он говорил:

— Я почитаю божеским наказанием, что до сей поры ни разу не встретился с Бонапартом.

И вот — в перспективе встреча с ближайшими соратниками Бонапарта, а то и с ним самим.

Тоска, болезни, обиды — все было забыто. На другой же день он

выехал в Петербург. Любопытная деталь: у главнокомандующего союзными силами не оказалось денег на дорогу и пришлось занять 250 рублей у старосты Фомки. Теперь поясница не мешала быстрой езде; через несколько дней он был в столице.

Известие об этом вызвало живейшую радость в войсках, и не только в войсках; толпы народа бегали за каретой Суворова. Его былая слава засияла еще ярче от окружившего ее после Кончанского ореола. Павел держал себя с полководцем весьма предупредительно: он тотчас восстановил его в фельдмаршальском чине, наградил орденом и всячески подчеркивал свое благоволение. Придворная челядь устремилась к Суворову. В несколько дней он перешел от опалы к небывалому почету. Такие метаморфозы являются пробным камнем для человека, и надо констатировать, это испытание Суворов выдержал блестяще. Он ни в чем не изменил себе; подобострастие придворных отскакивало от него; голова его осталась холодной, а сердце не очерствело.

В суматохе военных приготовлений, в чаду лести фельдмаршал получил полуграмотное письмо от некоей старушки Синицыной; ее сын, офицер, был сослан Павлом «навечно» в Сибирь. Не найдя нигде защиты, Синицына обратилась к Суворову. Он немедленно отозвался:

«Милостивая государыня!

Я молиться богу буду, молись и ты — и оба молиться будем мы. С почтением пребуду ваш покорный слуга». На языке Суворова это означало, что он постарается спасти офицера. При первом удобном случае он ходатайствовал перед Павлом за человека, которого никогда не видел в глаза, и добился полного прощения его.

Для тех, кто не понимал глубокого смысла суворовских «чудачеств», его поведение в этот приезд представлялось необъяснимым: он не терял больше шляпы, не цеплялся шпагой за дверцы кареты, не заболел во время разводов. Но все это было вполне естественно: теперь не было уже нужды в его протесте, а раздражать попусту императора он вовсе не собирался. Однако он ни в чем не уклонился от прежних позиций. Капитулировать пришлось Павлу, который заявил Суворову:

— Веди войну по-своему, как умеешь.

В устах деспотического императора это были необычайные слова; надо полагать, они дались ему с немалым трудом, и, быть может, память о них послужила через год одной из причин новой опалы полководца.

Однако, давая на словах Суворову «полную мочь», Павел в то же время готовил для него пути. Генералу Герману было доверительно сообщено императором: «Венский двор просил меня начальство над

союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы должны будете во все время его командования иметь наблюдение за его предприятиями, которые могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда будет он слишком увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете».

Генералу Герману надлежало стать «ментором пылкого Телемака». К счастью, «ментора» вскоре перевели в Голландию, где он, командуя отборными полками (в том числе суворовскими фанаторийцами), потерпел целый ряд сокрушительных поражений от французов.

Суворов покинул Петербург в конце февраля. По пути в Вену он представлялся Людовику XVIII. Дело не обошлось без странностей: фельдмаршал отправился на гауптвахту, подсел там к караулу и пообедал с ним, затем поехал к королю-претенденту и начал с того, что поцеловал полу его платья. Людовик впоследствии отзывался о Суворове как о великом военном гении, но наряду с этим рассказывал про его «причуды, похожие на выходки умопомешательства, если бы не исходили из расчетов ума тонкого и дальновидного»; этот отзыв делает честь проницательности Людовика. Что до Суворова, то он, конечно, оценил по достоинству ничтожность претендента, которого он должен был своим мечом водворить на трон в ненавидевшей его стране. Но он уже привык не задумываться над истинным смыслом и последствиями своих кампаний. Он добывал победу и в этом видел награду себе и славу родине. А в остальном он мог повторить: «Я только военный человек и иных дарований чужд».

14 марта он прибыл в Вену. Начиналась итальянская кампания...

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ

АДДА — ТРЕББИЯ

Приезд Суворова всколыхнул всю Вену. Огромные толпы теснились перед окнами русского посольства, где остановился знаменитый полководец. Из уст в уста передавали, что в отведенных Суворову комнатах не оставлено ни одного зеркала, вообще никаких предметов роскоши, что в качестве постели для русского фельдмаршала привезли охапку сена; что он встает до рассвета и в 8 часов утра уже обедает. Все эти толки были верны: Суворов и в австрийской столице ни в чем не изменил своих привычек. Отчасти здесь был свой умысел — «расчеты ума тонкого и дальновидного», как выразился Людовик XVIII. Суворов давал понять тем, кто его призвал, что во всем остается верен себе. Он знал, что в Вене его постараются лишить свободы действий, и не ошибся в этом.

Со времен императора Максимилиана I, все военные вопросы в австрийской армии решал придворный военный совет — гофкригсрат. Даже в ту пору, когда во главе его стояли люди с громкой боевой славой — Монтекукули, Евгений Савойский, даже тогда гофкригсрат приносил больше вреда, чем пользы. Когда же распорядиться в совете стала бездарность, вроде премьер-министра барона Тугута, вредное влияние гофкригсрата, пытавшегося во всех мелочах управлять из Вены армиями, находившимися на расстоянии многих сотен верст, достигло исключительных размеров.

Ходить на помочах Суворов вообще не желал, тем более на австрийских. Когда к нему явились члены гофкригсрата, он отказался изложить им свой план кампании, сказав, что рассудит обо всем на месте. Тогда австрийцы привезли собственный план, предусматривавший оттеснение французов до реки Адды. Суворов перечеркнул его накрест, заявив:

— Я начну с Адды... А кончу, где богу будет угодно.

Разумеется, у него имелся уже план войны. Но Суворов всегда составлял свои планы в общих чертах, моментально видоизменяя их в зависимости от обстановки. Было здесь и еще одно соображение, которое он высказал своим приближенным:

— Если гофкригсрат узнает мои намерения, то через несколько дней об них будут знать и французы.

Когда же к нему очень пристал русский посол Разумовский,

указывавший на недопустимость оставления в неведении союзников, Суворов раздражен но ответил:

— Знаете ли вы первый псалом: «Блажен муж, иже не ведает...»?

Такое опасение перед происками французских шпионов показывает, с какую серьезностью подходил Суворов к своим новым противникам.

Десятилетие 1789–1799 годов было десятилетием ошеломляющих побед французских революционных армий. Тому было много причин. В эпоху революционного Конвента оборванные французские солдаты несли на штыках своих новые идеи, всемирные лозунги свободы, равенства и братства. Воодушевленные этими идеями, взрывавшими закостенелые устои феодальных государств, французские солдаты сражались с невиданным энтузиазмом. Правда, к концу этого десятилетия — в эпоху Директории и Бонапарта — революционные войны Франции превратились в войны захватнические. Но во главе французских войск остались талантливые военачальники, выдвинувшиеся благодаря своим дарованиям, а не вследствие знатности рода. Революция же создала новую систему: армии были легки и подвижны, они не везли с собой громоздких обозов, а питались за счет населения по принципу, согласно которому война должна питать войну. В условиях непрерывных боев, когда не было времени обучать солдат сложному маневрированию, возникли прежние надежды на эффективность энергичного удара холодным оружием; вместо линейного строя применялся массивный строй глубоких колонн или рассыпной строй. Старая тактика — осмотрительная, робко выжидающая — сменилась бешеным натиском; французы мало заботились о прикрытии флангов, о сбережении людей, об охране сообщений, они атаковывали с бестрепетной храбростью, часто истомленные и впроголодь, стремясь прорвать фронт, либо обойти расположение неприятеля. «Ничего не сделано, пока остается хоть что-нибудь сделать», — было девизом французских командующих, и к этому присоединялся другой девиз: «Делать каждое усилие так, как будто бы оно было последним». И старые армии были способны на подобное напряжение, но только изредка и не надолго; французы возвели исключение в правило, и в результате старые армии терпели одно поражение за другим.

Только одна система обладала такой же силой, такой же нравственной упругостью: то была суворовская система. Престарелый прусский фельдмаршал Меллендорф прямо заявил, что Суворов был первым и единственным полководцем, который понял дух и свойства французской армии и сразу нашел верный способ для успешного противодействия ей. В тактическом отношении Суворов уже давно комбинировал линейный строй

с колоннами; что еще важнее — он противопоставил французам такую же энергию, бесстрашие, подвижность и способность к лишениям.

— Испуган — наполовину побежден... Смерть бежит от сабли и штыка храброго... Наименее опасное средство одерживать победу, это искать ее в середине неприятельских батальонов... Где пройдет олень, там пройдет и солдат... Одна минута решает исход баталии... — эти афоризмы Суворова, отражавшие его последовательное военное мировоззрение, были сродни французским революционным принципам войны.

Клин вышибают клином. Питт недаром настаивал на посылке Суворова. Старая тактика обанкротилась, но в суворовской тактике были предвосхищены все главные преимущества французов.

Выполнители этой тактики, русские солдаты, были воспитаны своим полководцем так, что и у них каждое усилие производилось с максимальным напряжением сил, и они дрались всегда, по выражению Суворова, «как отчаянные... а ничего нет страшнее отчаянных». Иностранцы недаром отзывались, что русские батальоны «обладали твердостью и устойчивостью бастионов».

Предстояла гигантская борьба — и Суворов был далек от недооценки своего противника.

Нелегкая задача его становилась еще гораздо более трудной оттого, что большую часть вверенной ему армии составляли австрийские войска, а военная система австрийцев была в корне иному. Типичные представители «методики», австрийцы силились все многообразие сражения вместить в узкие рамки кабинетной диспозиции. Die erste Kolonne marschiert^[43], как осмеивал через много лет эту систему Толстой. Австрийцы предпочитали быть побитыми, но по правилам военной науки, Суворов же делал выбор в пользу «знатной виктории», хотя бы и противоречившей теории. Они избегали крупных потерь, уклоняясь от сражения, а русский полководец не признавал «ретирады» и считал, что часто кровавый бой есть кратчайший путь к миру. Наконец, что самое важное, австрийцы вели войну, чтобы округлить свои границы, а Суворов, как обычно, не видел этого и совершенно иначе трактовал политический смысл кампании.

Пытаясь подвести некоторую идейную базу под малопонятную и непопулярную среди солдат войну, он в своих обращениях к солдатам пояснял, что случилось «большое злое дело», что «бездарные и ветреные французишки» своего короля «нагло до смерти убили» и вследствие этого «восприяв намерение с союзниками нашими ниспровергнуть незаконное правление, во Франции утвердившееся, восстали мы на оное нашими силами».

В какой-то мере он, пожалуй, и сам верил в подобную интерпретацию причин войны. Австрийское же правительство смотрело на вещи гораздо менее идеалистически. Оно тоже стремилось «ниспровергнуть незаконное правление» во Франции — не столько из-за нее самой, сколько в целях обеспечения феодально-консервативного режима в Австрии. Но при этом оно ставило перед собой непосредственно агрессивную задачу: завладеть рядом итальянских провинций. Суворов был мало подходящим партнером в этой игре, и австрийцы соответственно с этим определили отношение к нему.

Русский полководец, при всех своих наивных попытках, не сумел до конца выдержать взятую им линию: как ни избегал он переговоров с гофкригсратом (он даже не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, во избежание отказа, не пригласил его), однако он не проявил всей категоричности и австрийцы сочли возможным накануне его отъезда вручить ему инструкцию о том, как надлежит вести кампанию. Это было классическое произведение «методизма»: длинное, нудное предписание, сулившее бесцветную, робкую войну. Принимая инструкцию, Суворов ни на один момент не собирался выполнять ее. Он смотрел на поставленную перед ним в Италии задачу приблизительно так же, как пять лет назад смотрел на порученное ему занятие Бреста: как на первый шаг, за которым последует решительный удар; начав в Италии, он рассчитывал объединить общее наступление на Францию.

Наконец, все процедуры были проделаны и после десятидневного пребывания в Вене старый фельдмаршал выехал в действующую армию.

Войска коалиции сражались с французами в Италии, Швейцарии, Голландии и Эльзасе.

Суворову была поручена Итальянская армия: около 20 тысяч русских (впоследствии еще 10 тысяч) и 86 тысяч австрийцев. Австрийцами командовал генерал Мелас (проигравший впоследствии битву при Маренго); Суворов добродушно называл его «добрый, старый папаша — Мелас». Французов было около 90 тысяч; Римской и Неаполитанской армиями командовал даровитый Макдональд; во главе Северо-Итальянской армии стоял нелюбимый солдатами, неспособный и дряхлый генерал Шерер. Это был гораздо больше «методист», чем предводитель пылких республиканцев. Узнав, что он на параде подымал головы солдатам, Суворов воскликнул:

— Теперь я знаю Шерера! Такой екзерцирмейстер не увидит, когда его неприятель окружит и разобьет.

Суворов быстро приближался к фронту, обгоняя по пути колонны

войск. То и дело он вздыхал и корчил гримасы: это были не его стремительные отряды; бесконечные обозы плелись в хвосте русских полков. Многие офицеры везли с собою жен; вместо денщиков — целые штаты дворни; иные вели даже своры борзых для охоты.

С появлением Суворова все преобразилось, как по мановению волшебного жезла. Медленное продвижение сменилось быстрыми маршами; за 18 дней войска сделали 520 верст, совершая иногда переходы по 60 верст в сутки. Истоптанная в предыдущих переходах обувь развалилась; многие офицеры и солдаты шли босиком. Тех, кто не выдерживал марша, везли на повозках. Суворов приказал снять знаменитые павловские косы, и войска с наслаждением подставляли южному солнцу свои природные шевелюры.

Австрийцы должны были соблюдать тот же походный режим, но им это оказалось неважно. День за днем они отставали от задаваемой Суворовым нормы, а он упрямо назначал новый переход, исходя не из фактического местонахождения австрийских войск, а из того, в каком они находились бы, если бы выдерживали темп марша.

Это приводило к страшной неразберихе. Австрийцы всячески выражали свое недовольство, но фельдмаршал с завидным хладнокровием парировал все жалобы изобретенными им словами «унтеркунфт» и «бештимтзагеры». Первое слово обозначало нечто вроде тяготения к комфорту, к уютному уголку. Второе пояснил сам Суворов:

— Бештимтзагер — это среднее между плутом и трусом.

Суворов, в свою очередь, был недоволен австрийцами, так как они явно не могли удовлетворить пред'являвшихся им суровых военных требований.

Перспективы взаимоотношений для союзников были неблагоприятны...

В начале апреля войска, не встречая сопротивления, подошли к Вероне. Как и повсюду в Италии, веронцы делились на два лагеря: малоимущие классы населения симпатизировали республиканцам, крупно зажиточные горожане, духовенство и знать сочувствовали союзникам. Вначале большинство итальянцев явно тяготело к Франции. Но «безмерные грабежи французов и всяческие с их стороны насилия» остудили их пыл: реквизиционная система французов оказалась не по нраву итальянцам.

Когда разнесся слух о приближении Суворова, экзальтированная веронская интеллигенция пошла ему навстречу. Люди выпрягли лошадей из его кареты и сами ввезли ее в город. Верона была украшена цветами, вечером зажгли иллюминацию.

Здесь состоялась церемония принятия Суворовым верховного правления армией. Генерал Розенберг торжественно представил ему всех русских и некоторых австрийских начальников. Суворов стоял во фронт, с закрытыми глазами, и при каждой незнакомой фамилии бормотал:

— Не слышал. Помилуй бог, не слышал... Познакомимся.

Такой отзыв очень коробил павловских протеже, мнивших себя главными героями кампании.

Когда же называлось имя боевого командира, Суворов приветливо обращался к нему, здоровался, вспоминая совместные походы. Он обласкал молодого Милорадовича, которого знал еще ребенком, а князя Багратиона горячо расцеловал.

Перечислив все фамилии, Розенберг умолк. Блестящая толпа русских и австрийских генералов с интересом ждала, что скажет им новый главнокомандующий. Суворов большими шагами ходил из угла в угол. Потом он начал, как бы не замечая присутствующих, произносить отрывистые слова:

— Субординация! Экзерциция! Военный шаг — аршин! В захождении — полтора! Голова хвоста не ждет! Внезапно, как снег на голову! Пуля бьет в полчеловека! Стреляй редко, да метко! Штыком коли крепко! Мы пришли бить безбожных ветреных французишков. Они воюют колоннами и мы их бить будем колоннами! Жителей не обижай! Просящего пощады помилуй!

Так он высказал свой катехизис и затем, круто остановившись, потребовал у Розенберга «два полчка пехоты и два полчка казачков». Розенберг с недоумением ответил, что вся армия подчинена своему главнокомандующему. Суворов страдальчески поморщился, но тут выступил Багратион и доложил, что его отряд готов к выступлению.

— Так ступай же, князь Петр, — напутствовал его Суворов.

Через полчаса авангард под командой Багратиона уже выступал из Вероны.

Питт называл войны эпохи французской буржуазной революции «борьбою вооруженных мнений». Французские прокламации, возвещавшие о новом социальном порядке, были часто действительнее пушек. Австрийцам нечего было противопоставить революционным лозунгам. Однако Суворов издал к населению прокламацию, начинавшуюся словами: «Восстаньте, на роды Италии!» В воззвании указывалось на поборы и насилия французов, на тяжкие налоги и реквизиции. Оно соответствовало моменту; французы в это время отступали, и население повсеместно провожало их партизанскими налетами.

На следующий день после выступления Багратиона Суворов также

покинул Верону и 4 (15) апреля^[44] прибыл в город Валеджио.

Военная обстановка в этот момент рисовалась в следующем виде. За десять дней перед тем австрийский генерал Край принудил Шерера покинуть сильную оборонительную позицию на реке Минчио, но не развил своего успеха, предоставив французам отступить в порядке. Шерер с двадцатипяти тысячной армией в тяжелых условиях отступал на соединение с войсками Макдональда, оставив сильные гарнизоны в нескольких крепостях, в том числе в первоклассной крепости Мантуе.

В распоряжении Суворова находилось 55 тысяч австрийцев; русские войска еще не дошли до Валеджио. Преследования французов, в сущности, не велось; речь шла о том, предпринимать ли немедленное новое наступление. Суворов решил дожидаться сперва хотя бы части русского корпуса и приучить австрийцев к новым для них приемам боя. В австрийские полки были командированы русские инструкторы для обучения штыковой атаке; была разслана специальная инструкция, продиктованная Суворовым на немецком языке; тем временем к Валеджио подошли 11 тысяч русских, и 19 апреля началось общее наступление.

Вся эта серия мероприятий встретила самую резкую критику со стороны австрийцев. Они обвиняли русского полководца в потере пяти дней, в то время как немедленные действия австрийцев приводили будто бы к разгрому Шерера. Они называли «глупостями» обучение австрийцев, возмущались преподанной им инструкцией, в которой им были непонятны и лаконичный слог Суворова и смысл его указаний. «Неприятеля везде атаковать! Это что за стратегия?» — иронизировал один генерал. Оскорбленные тем, что приезжий «неуч» взялся их учить, австрийцы наперебой издевались втихомолку над инструкцией, называя ее «бредом сумасшедшего», «смесью ума и глупости» и т. п. Во всем этом чувствовалась непрерывно возрастающая неприязнь и попросту зависть к Суворову. Даже барон Тугут понимал это. В одном доверительном письме он сообщал: «Меня уверяют, что в нашем военном совете распространена такая зависть к русскому полководцу, что она повлияла на множество лиц в армии».

Положение Суворова делалось с каждым днем все более ложным: в его войсках австрийцы составляли восемьдесят процентов. Он не обладал терпением и ловкостью, чтобы сглаживать острые углы, и при своей болезненной впечатлительности остро воспринимал каждое проявление австрийцами недоброжелательства.

Все-таки австрийцы соблюдали пока декорум самостоятельности Суворова. Когда он из'яснил Меласу свой план действий, сводившийся к

тому, чтобы энергично нажимать на французские армии, оставив заслоны против крепостей, Мелас подчинился ему. Правда, при этом он не преминул скептически заметить:

— Знаю, что вы — генерал Вперед.

— Полно, папаша Мелас, — возразил фельдмаршал, — «вперед» мое любимое правило, но я и назад оглядываюсь.

Оставив заслоны против крепостей Мантуи и Пескьерро и отрядив небольшие части для демонстраций и для угрозы французским флангам, Суворов с главными силами (29 тысяч австрийцев и 11 тысяч русских) двинулся в глубь Италии, к Милану.

Французы поспешно отступали, бросая часто артиллерию и портя дороги; в тыльных крепостях они оставляли незначительные гарнизоны. Первым таким пунктом была Брешиа, где заперлись 1260 французов. Понимая моральную важность первого столкновения, Суворов назначил 15 тысяч человек для штурма Брешии, но комендант, видя безнадежность сопротивления, сдался. Эффект был испорчен, тем не менее и русские и австрийские реляции о взятии Брешии носили весьма триумфальный характер.

Наступление продолжалось с неослабеваемой быстротой. Австрийцы с непривычки сотнями валились с ног, кляли судьбу и русского полководца. После перехода через одну реку под проливным дождем ропот охватил все слои австрийской армии и сам Мелас присоединился к нему. Железный характер Суворова не изменил ему. Меласу было отправлено письмо: «До моего сведения дошли жалобы на то, что пехота промочила ноги, — начиналось оно, заканчивалось же следующим образом: — У кого здоровье плохо, пусть тот остается назади... Ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают». Австрийцы смирились, но после этого инцидента стало еще яснее, что Суворову нужно вести борьбу на два фронта — с французами и со своими союзниками.

25 апреля войска подошли к реке Адде, важной естественной преграде на пути к Милану, и Суворов увидел, что французы намерены оборонять ее. Наступало желанное сражение.

Несмотря на сравнительную малочисленность своих сил, Шерер решил использовать крутизну берегов и ширину реки Адды, чтобы задержать здесь противника вплоть до прибытия подкреплений. Однако он не сумел организовать оборону; он разбросал свои силы на протяжении ста километров, они стояли редкой цепочкой и нигде не могли оказать серьезного сопротивления.

В противоположность французам, стремившимся обычно к обходам и

охватам, Суворов редко прибегал к этой тактике. В значительной степени это об'яснялось тем, что он всегда имел гораздо меньше войск, чем неприятель, и в этих условиях правильная тактика сводилась не к охватам, а к мощному прорыву. Под Аддой Суворов оказался многочисленнее, но, выяснив с помощью разведки, как растянута французская линия защиты, он остался верен своей манере и решил пробить расположение Шерера. Местом переправы для главной атаки он избрал Сен-Джервазио, приказав наводить здесь мосты. Чтобы не позволить французам укоротить фронт, он распорядился наводить мосты еще в двух пунктах: у Лоди и у Лекко, отстоявших один от другого на пятьдесят километров.

Сооружение моста у Джервазио шло медленно, из-за проливного дождя. Тогда Суворов, засучив рукава, без шляпы стал в ряды понтонеров. Мост был вскоре готов. Однако переправу пришлось отложить: начавший активные операции у Лекко, отряд Багратиона встретил неожиданно крупные силы французов и попал в затруднительное положение. После упорного боя французы были отбиты, а переброска туда Шерером резервов еще более обнажила его позиции в центре у Джервазио.

В 5 часов утра следующего дня началась переправа. В самый момент ее было получено известие, что Шерер смещен и на его место назначен один из известнейших и образованнейших генералов, тридцатипятилетний Моро. Суворов улыбнулся, когда ему донесли об этом.

— Мало славы было бы разбить шарлатана, — громко произнес он, — лавры, которые мы похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть.

Моро немедленно начал стягивать свои разбросанные войска, но было уже поздно. Французам нужны были сутки на перегруппировку, но этих суток Суворов не дал им. Донской атаман Денисов с казачьими сотнями и венгерскими гусарами быстро переправился через реку, обеспечивая развертывание пехоты. Французы храбро дрались, но в это время у них в тылу загремела канонада: Мелас на глазах у прискакавшего Суворова взял предмостные укрепления через Адду у Кассано. Оказавшись между двух огней, французы начали поспешно отступать. Однако момент для отступления был уже упущен. Одна французская дивизия под командой генерала Серрюрье была окружена и сложила оружие. Потери французов составили около двух с половиной тысяч человек убитыми и ранеными и пять тысяч пленными; потери союзников — около двух тысяч человек. Путь на Милан был открыт.

— Адда — Рубикон, — написал Суворов русскому послу в Вене, — мы ее перешли на грудах неприятеля^[45].

Суворов с обычной приветливостью обошелся с пленными; 250

офицеров были отпущены во Францию под честное слово, что не примут более участия в войне. Серрюрье Суворов вернул шпагу, сделав коварный комплимент, что не может лишить шпаги того, кто так искусно владеет ею.

Серрюрье нахохлился и пустился в доказательство чрезмерной рискованности суворовской атаки.

— Что же делать, — вздохнул фельдмаршал, — мы, русские, уж так воюем: не штыком, так кулаком. Я еще из лучших.

29 апреля состоялся торжественный в'езд в Милан. Снова овации, цветы и рукоплескания пылких итальянских обывателей, за три года перед этим (и год спустя) с таким же энтузиазмом встречавших Бонапарта.

Обе армии получили щедрые награды. Австрийцы начали подумывать, что с их чудаковатым главнокомандующим можно ужиться. Мелас на Миланской площади захотел облобызать победоносного вождя, но потерял равновесие и, к общему конфузу, свалился с лошади.

Кажется, только один человек был недоволен положением дел — сам Суворов. Форсирование Адды при двойном численном перевесе не было в его глазах особенной победой. Понесенные при этом тяжелые потери свидетельствовали об искусстве неприятеля и, пожалуй, о его собственных ошибках: ему не следовало слишком разбрасывать свои силы, умаляя этим свои преимущества. Главное же — победа не была использована. Чуть ли не впервые в жизни он не преследовал разбитого противника, позволил ему зализать раны. Он сделал это оттого, что русских войск там почти не было, австрийцы же были страшно утомлены сражением на Адде. У них не было еще нужной закалки, «выучить мне своих неколи было», — с сожалением писал он в Вену Разумовскому. Он понимал, что значение битвы при Адде — больше моральное, чем стратегическое.

Австрийцы под шумок принялись вводить в Милане свои порядки, и старый фельдмаршал с горечью видел, как его именем прикрывают действия, не вызывающие в нем никакого сочувствия. Генерал Мелас именем австрийского правительства обезоружил национальную миланскую гвардию, запретил мундир уничтоженной Цизальпинской республики, ввел снова в обращение билеты Венского банка — словом, выказывал твердое намерение целиком восстановить старые феодальные порядки и вновь присоединить к Австрии отторгнутую от нее по Кампо-Формийскому договору Ломбардию. Между тем популярность Суворова не ослабевала. Он живо интересовался городом, с уважением отнесся к памятникам искусства, выказывал пиетет к духовенству. Вообще, в этот период он как бы даже щеголял религиозностью. Это не помешало ему, впрочем, при встрече с одним католическим священником сперва смиренно поцеловать

его руку, а потом велеть дать ему пятьдесят палок вследствие жалоб местного населения.

Итак, можно было подводить первые итоги: за десять дней Суворов прошел сто верст, выиграл сражение, завоевал Ломбардию. План гофкригсрата — дойти в конце кампании до реки Адды — был уже превышен. Барон Тугут недаром писал: «Нам могут всегда поставить в упрек, что до прибытия Суворова мы испытывали лишь поражения, а с ним имели только успех». Но для Суворова все это являлось лишь своего рода интродукцией; он мечтал о походе на Париж, и первой предпосылкой этого похода было не достигнутое еще уничтожение французских армий в Италии.

Перед ним был торопливо отступавший Моро; из Средней Италии приближалась свежая сорокатысячная армия Макдональда; в тылу остались сильные французские крепости. Против кого обратиться главными силами? Гофкригсрат назойливо слал инструкции с требованием во что бы то ни стало взять крепости. Вопреки этому, Суворов устремился навстречу живой силе противника, но, чтобы откупиться от гофкригсрата, отделил больше половины войск для осадных действий.

Проведя два дня в Милане, он выступил с армией всего в 36 тысяч человек. Зато половину их составляли русские дивизии, которых так нетерпеливо ждал фельдмаршал и которые отстали отчасти из-за позднего выступления из России, отчасти из-за нераспорядительности австрийского интендантства. («Задние российские войска еще к нам не успели, — сообщал Суворов, — но еще и тут мешают провиянт по томным здешним обычаям».)

Суворов принял решение воспрепятствовать соединению Макдональда с Моро, обрушившись на первого из них как наиболее опасного. Во исполнение этого плана, войска двинулись к реке По, в направлении на Пьяченцу.

Военные критики упрекают Суворова в том, что он разбросал свои силы и двинулся для маневренных операций только с третью тех войск, которые вмела коалиция в Италии. Это замечание в существе своем правильно, но ответ на него лежит в горьких словах русского полководца, оброненных им около этого времени:

— Я стою между двумя батареями: военной и дипломатической. Первой не боюсь, но не знаю, устою ли против другой.

Во время марша к По обнаружилось одно обстоятельство, многократно сказывавшееся потом в этой кампании, — слабость разведки. Несмотря на преимущество в коннице, союзники не умели наладить правильной

рекогносцировки, что отчасти об'яснялось незнанием страны казаками и ненадежной позицией населения. Изо дня в день приходили самые разноречивые слухи о передвижениях французов. Сообщили, что они оставили важную крепость Тортону; фельдмаршал двинул туда войска, но в Тортоне оказались французы. Затем выяснилось, что Макдональд вообще не выступал из Средней Италии, а Моро между тем искусным маршем занял сильную позицию на линии Валенца — Александрия, грозя тылу союзников в случае их движения против Макдональда. Суворов изменил план и повернул на Моро. Ему донесли, что Валенца очищена; он послал туда Розенберга, но известие оказалось ложным.

Поведение Суворова в это время — чрезмерная доверчивость к слухам, нервность в реагировании на них — показывает, что он был несколько дезориентирован. Перед ним был искусный враг; нужна была кристальная четкость маневра, а обстановка, в которой приходилось сражаться, не благоприятствовала этому. Австрийские генералы не столько помогали, сколько мешали ему, забрасывая Вену донесениями о допущенных Суворовым ошибках. Очень любопытно в этом отношении письмо состоявшего при Суворове в должности генерал-квартирмейстера австрийского генерала Шателера барону Тугуту: «Я был единственным человеком в армии, который помогал обширным зачинаниям Суворова... Обширные планы фельдмаршала, которые я, конечно, разделяю, он применяет сообразно обстановке и местности. Эти планы кажутся сумасшедшими и баснями тем ограниченным гениям, благодаря которым мы потеряли Савойю и Италию».

Окружавшие Суворова трудности усугубились еще тем, что некоторые русские генералы стали проявлять непослушание; между тем французы были не такие противники, с которыми можно было безнаказанно позволить себе опрометчивые действия. Узнав, что Валенца занята французами, Суворов приказал Розенбергу срочно отступать: «Жребий Валенции предоставим будущему времени... наивозможнейше спешите денно и ночью». Но в отряде Розенберга находился только что прибывший великий князь Константин Павлович^[46]. Он упрекнул Розенберга в трусости; тот не стерпел, устремился к Валенце, занял деревню Бассиньяно, но тут был встречен превосходными силами французов и отступил в беспорядке, потеряв 1250 человек и два орудия.

Поведение Розенберга было преступной ошибкой^[47]. Суворов рвал и метал. Он двинул почти все свои войска на помощь Розенбергу, одновременно еще раз предписав тому как можно скорее отступить; на

этом приказе он собственноручно сделал пометку: «Не теряя ни минуты, немедленно сие исполнить, или под военный суд». Когда приехал великий князь, фельдмаршал встретил его с низкими поклонами, затем уединился с ним в кабинете; князь вышел оттуда с красным лицом и заплаканными глазами и тотчас уехал; больше он не пытался вмешиваться в распоряжения главнокомандующего. Суворов проводил его с теми же низкими поклонами, но, проходя мимо офицеров его свиты, обругал их мальчишками.

Через неделю после Бассиньяно произошло новое столкновение с французами, на этот раз по инициативе Моро, который, в свою очередь, не имел точных сведений и хотел прояснить обстановку. Дивизия австрийских войск была атакована близ Маренго; случившийся поблизости Багратион бросился на выстрелы, пристроился к флангам австрийцев и помог отразить неприятеля. Однако успех не был развит, и если Бассиньяно могло печальнее кончиться для русских, то под Маренго дешево отделались французы. Суворов опять не присутствовал в месте боя. Прискакав туда уже по окончании битвы и ознакомившись с происшедшим, он с досадой заметил:

— Упустили неприятеля!

Убедившись, что перед ним главные силы союзников, Моро решил отойти в Генуэзскую Ривьеру. Суворов не последовал прямо за ним; он свернул к столице Пьемонта, Турину. Этим он рассчитывал отрезать Моро от возможных подкреплений из Швейцарии и Савойи, поднять восстание во всем Пьемонте и обеспечить себе опорный пункт для наступления на Ривьеру. Вместе с тем захват Турина передавал в его руки огромные военные запасы.

Марш к Турину происходил в трудных условиях. Немилосердно пекло солнце. Люди шли в пыли, обливаясь потом, терпя недостаток в воде. Суворов то обгонял колонны, то снова останавливался, пропуская их мимо себя и находя для каждой роты ободряющее приветствие. Он приказал шедшим во главе рот офицерам громко твердить двенадцать французских слов, которые обязал солдат выучить; чтобы лучше слышать, солдаты вынуждены были подтягиваться к головному офицеру.

26 мая союзные войска вступили в Турин. Французский гарнизон под командой решительного Фиореллы заперся в цитадели и начал обстреливать город. Суворов пристыдил Фиореллу, передал, что не зазорно, если несколько сот человек уступят целой армии, и в заключение пригрозил вывести на городскую эспланаду под огонь цитадели французских пленных. После коротких переговоров французы прекратили

бомбардировку.

Занятие Турина вполне отвечало желаниям Австрии, и фельдмаршал надеялся этим актом улучшить свои отношения с союзниками. Но случилось обратное. Суворов объявил восстановленным Сардинское королевство, передал ранее изгнанному французами королю все драгоценности, восстановил пьемонтскую армию и должностных лиц. Все это нимало не соответствовало видам австрийского правительства, алчность которого пробуждалась по мере военных успехов. Рескрипт из Вены передавал управление Пьемонтом в руки австрийских властей; фельдмаршалу было деликатно сообщено, что его компетенция — только военные вопросы, а устройство завоеванных областей принадлежит австрийцам.

Суворов оказался в таком же положении, как в Польше в 1794 году, но на этот раз его разочарование было еще острее. Итак, все, что он совершает, имеет своим результатом удовлетворение аппетита австрийцев. В первую минуту у него мелькнула даже мысль возвратиться в Россию. Около этого времени он пишет в Вену Разумовскому: «Во мне здесь нужды нет и я ныне же желаю домой». Но потом он пообдумал — и подчинился. Жаловаться Павлу было бесполезно; он изливал душу в письмах к Разумовскому, указывал, что распущенная австрийцами пьемонтская народная армия могла бы составить 40 тысяч человек, что Вена вновь диктует ему «методические» планы кампании и т. д. Одно из писем заканчивается буквально воплем: «Спасителя ради, не мешайте мне». С этого времени в отношениях Суворова с австрийцами наступило резкое ухудшение.

Побуждаемый гофкригсратом, Суворов прервал наступательные операции впредь до прибытия подкреплений. Он провел несколько недель в Турине, наблюдая за осадой цитадели, которую было решено не штурмовать, чтобы избежать жертв среди населения, и укрепляя дисциплину в войсках. Суворов предоставлял в «добычу» только взятые с боем города. В остальных случаях он строго преследовал мародерство. Был издан приказ, что при всякой жалобе обывателей «старший в полку или в батальоне прикажет обиженному все сполна возвратить, а ежели чего не достает, то заплатит обиженному на месте из своего кармана; мародера — шпицрутенами по силе его преступления, тем больше, ежели обиженного налицо не будет». Суворов отлично понимал, как трудно солдатам, питавшимся скудными рационами, удержаться от грабежа в дышащей изобилием стране, но он оставался верен своим правилам. Большую роль играло здесь желание оградить честь своей родины. Суворов часто говорил:

— Горжусь, что я россиянин, — и он хотел, чтобы репутация русского солдата стояла на высоте.

Одновременно с действиями Суворова в Северной Италии, русские войска приняли участие в операциях против французов на юге Апеннинского полуострова, в Неаполе.

Завладев Неаполем и принудив бежать короля Фердинанда, французы создали там Парфенопейскую республику; конституция этой республики являлась точным сколком с французской. Однако значительная часть населения — не говоря уже о феодальных и клерикальных элементах — не сочувствовала французам: остались налоги, вдобавок, взимавшиеся по неправильной системе; к ним прибавилась контрибуция, а в довершение, французские войска частенько грабили население. К тому же, случился неурожай, а подвоз хлеба был затруднен вследствие блокады берегов английской эскадрой.

В стране вспыхнуло восстание против французов. Население разделилось на два лагеря; началась кровавая междоусобная борьба. Перевес получила феодально-поповская реакционная партия. Тридцатитысячная армия фанатичных повстанцев, предводимая кардиналом Руффо и освобожденным из тюрьмы разбойником Микеле Пецца, прозванным за свою жестокость Фра-Диаволо, задавила малочисленные французские гарнизоны и вытеснила их из страны.

Неаполитанский король обратился во время войны к Павлу I с просьбой о помощи. Павел приказал высадить с русских кораблей, находившихся в Адриатическом море, десант, который принял участие в войне.

С уходом французов адмирал Нельсон, а вслед за ним вернувшийся король встали на путь жесточайшего террора. Десятки тысяч людей были приговорены к казематам и виселице. Русский отряд пытался смягчить репрессии, но безуспешно.

Командовавший русским флотом адмирал Ушаков поддерживал контакт с Суворовым — и тут произошел, между прочим, один характерный эпизод. Однажды к фельдмаршалу явился немец-офицер с пакетом от Ушакова. В разговоре он употребил выражение: «Господин адмирал фон-Ушаков».

— Возьми себе свое «фон»! — вскричал с гневом Суворов, — раздавай его кому хочешь. А победителя турецкого флота, потрясшего Дарданеллы, называй Федор Федорович Ушаков.

Приблизительно в этот же период времени ему довелось узнать, что один из его офицеров не умеет писать по-русски.

— Стыдно, — покачал он головой, — но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски.

Вообще, национальное чувство в Суворове было исключительно сильно. Он неоднократно цитировал слова Петра I:

— Природа произвела Россию только одну. Она соперницы не имеет.

Наконец, подошли подкрепления: восьмитысячный австрийский корпус генерала Бельгарда. Суворов вручил ему предписание, начинавшееся словами: «Деятельность есть вернейшее из всех достоинств воинских». Багратиону было приказано обучить вновь пришедших «тайнству побиеия неприятеля холодным ружьем». Наступала пора новых операций.

Показания разведчиков, даже перехваченные письма, свидетельствовали, что Макдональд переправляет свою армию морем в Геную, чтобы оттуда двинуться на Турин. Поэтому Суворов отложил наступление на Генуэзскую Ривьеру. Так как последующие известия сводились к тому, что французы совершат удар не на Турин, а на Тортону и Алессандрию, — он решил сосредоточить в последнем пункте свои главные силы. С разных сторон союзные войска направились к Алессандрии. Но через два дня пришло новое «достоверное» известие: Макдональд не собирался идти ни к Турину, ни к Тортоне; французы сами распустили ложные слухи, и фельдмаршал попался на эту уловку. На самом же деле армия Макдональда движется к Модене, угрожая австрийскому корпусу, осаждавшему Мантую.

Суворов понял, что на этот раз он дался в обман. «Новости сменяются ежеминутно, — записал он, — надо действовать по указаниям своего собственного разума, если не хочешь впасть в сомнамбулизм».

Нужно было исправить свою ошибку. Выдвинув пятнадцатитысячный заслон против Моро, он устремился навстречу Макдональду, приказав генералу Краю, осаждавшему Мантую, оставить там незначительный отряд и со всеми частями спешить к нему на соединение. В ответ на это Край прислал копию распоряжения гофкригсрата, запрещавшего ему снимать хотя бы одного солдата из-под Мантуи. Это было похоже на удар грома с безоблачного неба: в самую критическую минуту Суворов оказался, несмотря на общее численное превосходство союзников, слабее Макдональда.

Клаузевиц пишет по этому поводу: «Решительный замысел Суворова, которым нельзя достаточно восторгаться, рушился о подводный камень, о коем он не мог и думать».

Стиснув зубы, прочитал фельдмаршал ответ Края. Теперь поздно было пререкаться: Макдональд после блестящего марша, пройдя за неделю 230 верст, перевалив при этом через горный хребет и выдержав сражение, обрушился на австрийцев и, оттеснив их, шел на соединение с Моро (соединение их намечалось в Тортоне). Все достигнутые Суворовым результаты повисли на волоске.

Присутствие духа ни на один миг не покинуло Суворова. В 10 часов вечера 15 июня он выступил из Александрии. Войска были утомлены только что проделанным форсированным переходом из Турина, когда за сутки было сделано пятьдесят верст по размытым дорогам (этот переход удостоился даже специального благодарственного приказа фельдмаршала), но теперь нужна была меньшая быстрота. Утром 17 числа Суворов с главными силами прибыл в Страделлу. Полки расположились на отдых. Вдруг прискакал на взмыленной лошади курьер: узнав о движении Суворова, Макдональд решил уничтожить до его прибытия авангард союзников — австрийский корпус генерала Отта. Бой был в полном разгаре, и Отт сообщал, что дела его плохи. Гибель авангарда могла привести в замешательство всю армию. Надо было спешить. Выслав вперед Меласа с трехтысячным отрядом, фельдмаршал через несколько часов поднял и остальные войска.

Истомленные невиданными переходами последней недели, солдаты с трудом передвигали израненные ноги. Раскаленное солнце палило землю. Люди мечтали о глотке воды, о минувшем отдыхе под тенью одинокого деревца. Множество отсталых обозначало след армии.

Суворов помнил одно — надо спешить! Неизменно бодрый, он в сопровождении ординарца раз'езжал между колоннами, прося, требуя:
— Скорее! Скорее!

Вот когда подверглась суровому испытанию его теория, что для солдата нет невозможного. Но испытание было выдержано. Солдаты не шли, а бежали. Словно исступление овладею всеми. Те, кто не выдерживал этого безумного бега при пятидесятиградусной жаре, падали, отползали в сторону от дороги, потом, отдышавшись, продолжали бежать ^[48].

Примчался новый гонец — войска Отта и Меласа еле держатся у С.-Джиовано. Суворов принял новое решение: передав командование великому князю, он взял четыре казачьих полка и два полка австрийских драгун и поскакал с ними вперед. Ему сопутствовал Багратион.

Около четырех часов дня высланный Макдональдом польский корпус Домбровского обошел австрийцев. В этот решительный момент «с ураганом коней и пыли и лесом копий» примчался Суворов. Одного взгляда

на поле битвы было ему достаточно, чтобы оценить обстановку. Четыре конных полка ударили на поляков, два другие — на противоположный фланг французов. Цель атаки сводилась к тому, чтобы задержать противника, выиграть время, пока подойдет пехота. Эта цель была достигнута. Поляки были опрокинуты, французы, впервые увидавшие русских донцов, подались назад.

Через час стали прибывать отдельными группами русские полки. Суворов приказал Багратиону немедленно атаковать ими. Тот просил повременить хоть час, указывая, что в ротах нет еще и по сорока человек.

— А у Макдональда нет и по двадцати, — сказал ему на ухо Суворов, — атакуй с богом.

Багратион не уяснил важности минуты — нельзя было дать оправиться ошеломленному противнику.

Началась атака, в которую постепенно, по мере прибытия, вливались русские войска. В течение всего дня численный перевес оставался на стороне неприятеля: 19 тысяч против 12–15 тысяч. Однако к 9 часам вечера Макдональд был отброшен и отошел на семь верст, до речки Треббии. Битва утихла.

Своим изумительным переходом — 80 верст за 36 часов — и немедленным решительным вступлением в бой Суворов разрушил планы Макдональда. Однако французский полководец решил принять утром новый бой: он рассчитывал, что двигавшийся на соединение с ним Моро подойдет к Треббии и армия союзников окажется между двух огней. Через сутки к нему должны были подойти подкрепления — дивизии Оливье и Монришара. Он решил дождаться их и 19-го атаковать Суворова.

Но русский полководец предупредил его — он сам атаковал 18-го.

За 218 лет до нашей эры Ганнибал разбил на Треббии римские легионы. Теперь на том же месте сошлись две лучшие в мире армии — суворовская и республиканская. Это была, строго говоря, их первая встреча (сражение при Адде велось преимущественно австрийцами). Обе армии были до сих пор непобедимыми и высоко ставили понятие воинской чести. Отсюда в значительной мере проистекло то необычайное упорство, которым отличается битва при Треббии.

К утру 18 июня подтянулись последние колонны австрийцев, и численность противников сравнялась. Наступление было назначено на 7 часов, но полное изнеможение бойцов заставило Суворова отложить его до 10 часов.

Задуманный им план сражения заключался в прорыве левого фланга французов, где Суворов гениально усмотрел решающий участок позиции.

Однако он, по обычаю, не посвятил в это начальников двух других колонн, которые должны были действовать против центра и правого крыла неприятеля. Это повлекло к тяжелому недоразумению: действовавший против правого крыла французов Мелас, встретив энергичное противодействие и не поняв истинной роли своей в сражении, не выполнил приказания Суворова об отправке на другой фланг находившихся у него резервов и тем сорвал осуществление суворовского замысла.

Бой начался новой атакой казачьей лавы против поляков. После жестокой рубки поляки, потеряв 600 человек, отступили. Но подошедшие французские части удержали фронт. Положение французов облегчалось пересеченным характером местности, затруднявшим наступательные операции. Единственным открытым местом было русло реки Треббии, которая совершенно обмелела, так что вода доходила людям только по щиколотку. В этом русле происходило много жарких стычек.

В середине дня к Макдональду неожиданно подошли ожидавшиеся им только на другой день подкрепления. Теперь французов стало в полтора раза больше, чем союзников. На своем левом фланге французы сосредоточили шестнадцать батальонов против одиннадцати русских. Тем не менее, Багратион сбил их с позиции и заставил податься назад. Если бы подоспел резерв, противник был бы разгромлен. Но Мелас, начавший бой только в 5 часов вечера, удержал резервную дивизию Фрелиха, и хотя к вечеру французы отступили на всех пунктах, они нигде не потеряли боеспособности.

Суворов оставил в силе прежнюю диспозицию. Двойственность его положения на посту главнокомандующего не позволила ему сменить Меласа, и он ограничился подтверждением ему немедленно перевести резервную дивизию.

На следующий день Макдональд первым начал атаку, пытаясь охватить фланги союзников. Он ждал, что в тылу у них с часу на час появится Моро. Искусным распределением сил он достиг того, что на всех участках его войска имели численное преимущество.

Багратион стремительно ударил на обходивший правое русское крыло корпус Домбровского и рассеял его. Третье рядовое поражение настолько деморализовало поляков, что они отступили за Треббию и более не принимали участия в сражении.

Но пока войска Багратиона дрались с поляками, французские дивизии Виктора и Руска ворвались в образовавшийся просвет в русском расположении и, пользуясь четверным превосходством сил, стали теснить русские полки. Окруженные со всех сторон, не знавшие никогда

«ретирады», солдаты дрались с бешенством отчаяния. Один гренадерский полк, зажатый в железное кольцо, повернул третью шеренгу кругом и отстреливался во все стороны. Французы ничего не могли поделывать с ним, он не давался им и, в конце концов, пробился из окружения. Солдаты медленно отступали, но то и дело, увлекаемые примером какого-нибудь смельчака, кидались в штыки. Трудно было понять, какая сторона является отступающей в этом вихре ярости и самоотверженного мужества.

Французы были достойными противниками. Презирая смерть, они бросались в атаки, шаг за шагом продвигаясь вперед. Командовавший правым русским флангом Розенберг послал сказать, что дальнейшее сопротивление невозможно. Суворов указал прибывшему офицеру на громадный камень, под которым он прилег:

— Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так же невозможно отступление.

Возвратившиеся части Багратиона ослабили остроту положения, но неравенство сил было чересчур заметным. Багратион лично прискакал с рапортом о необходимости оттянуться.

— Не хорошо, князь Петр, — тихо сказал Суворов.

Встав на ноги, он потребовал лошадь и поскакал на правый фланг. Навстречу ему валила отстреливающаяся, но уже расстроенная толпа солдат. Соскочив с коня, фельдмаршал вмешался в их ряды и побежал вместе с ними.

— Шибче... шибче... — кричал он, — заманивай их... бегом...

Потом он вдруг остановился и зычно крикнул:

— Стой!

Он остановил войска возле скрытой в кустах батареи. Оттуда брызнули в лицо наседавшим французам картечью. Тотчас вслед за этим Суворов, выхватив шпагу, повернул солдат и бросил их в атаку. Увидев поблизости отдохавший батальон егерей и казачий полк, он послал их на помощь. Атака была так стремительна, что французы сочли эти войска за свежие, хотя на самом деле это были их прежние противники.

Суворов поскакал вдоль линии фронта, под роем пуль ободряя бойцов. Следивший за ним его секретарь и биограф Фукс (бывший, между прочим, агентом Тайной экспедиции) с удивлением видел, что стоило где-нибудь показаться его белой рубахе, как русские войска начинали одолевать противника. Стоявший подле Фукса Дсрфельден с улыбкой заметил:

— Я эту картину видел не раз. Этот старик есть какой-то живой талисман. Достаточно развозить его по войскам, чтобы победа была обеспечена.

Натиск французов разбился о стойкость и искусство сопротивления. Одна из лучших частей их, 5-я полубригада, отличившаяся в ста сражениях, бежала, пораженная ужасом.

Любопытно, что Мелас снова ничего не понял в обстановке, и хотя выслал резерв, но только половину его, продержав другую половину почти весь день в бездействии.

Ночь застала обе армии на прежних позициях. В этот момент Суворов получил известие, что в близком тылу у него появились передовые раз'езды Моро. Над армией повисала угроза окружения, но это не смутило непреклонную волю полководца. Он решил на другой день в четвертый раз возобновить сражение, разбить Макдональда и тогда обратиться всеми силами против Моро.

Однако войска Макдональда были уже разбиты. На собранном им военном совете выяснились огромные потери, расстройство полков, отсутствие снарядов у артиллерии. Все это — и в еще большей степени — имело место в войсках коалиции, но преодолевалось железным упорством старого фельдмаршала.

Не получив сведений о движении Моро, Макдональд в 12 часов ночи начал отступление. На берегах были оставлены бивачные костры, чтобы создать видимость нахождения армии.

В 5 часов утра казачьи раз'езды доставили весть об уходе противника. Немедленно началось преследование. Шедшая в арьергарде дивизия Виктора была атакована и разбита; при этом была взята в плен знаменитая 17-я полубригада, считавшаяся гордостью всех французских армий. Войска Макдональда катились в Тоскану, отгрызаясь от преследователей, но не представляя уже собою серьезной военной силы.

Трехдневное сражение вырвало из рядов обеих сторон по 6 тысяч человек; во время отступления французы потеряли еще около 12 тысяч человек.

Так окончилась битва при Треббии.

Даже иностранные исследователи, склонные с лупой в руках отыскивать какие-нибудь погрешности в действиях Суворова, восхищаются его поведением в этом сражении. В своем труде «Die Feldzuge von 1799 in Italien und der Schweiz» Клаузевиц говорит: «Zum Schluss dürfen wir wohl noch auf den Einfluss aufmerksam machen, den Suworows Geist auf die Begebenheiten diesen Tage hatte. Auf dem Punkte, wo er sich befindet, sind die Verbiindeten immer entschlieden die Sieger, ob sie gleich keineswegs mit uberlegenen Kraften fechten. Dagegen findet Melas immer Schwierigkeiten und wurde ohne Suwrrows Nahe noch mehr gefunden haben».^[49]

Этой оценке высокого авторитета, которого нельзя заподозрить в пристрастии к Суворову, соответствуют отзывы самих французов.

По выражению Моро, марш к Треббии является «верхом военного искусства» (*c'est le sublime de d'art militaire*). Сам Макдональд был такого же мнения. В 1807 году, на приеме в Тюильри, он указал русскому посланнику на увивавшуюся вокруг Наполеона толпу и промолвил:

— Не видать бы этой челяди Тюильрийского дворца, если бы у вас нашелся другой Суворов.

Император Павел ничего не понимал в военном искусстве, но прислал Суворову бриллиантовый портрет и милостивый рескрипт, в котором выражал благодарность за «прославление его царствования» и заявлял: «Бейте французов, а мы будем бить вам в ладоши».

Только австрийцы остались недовольны. Черная зависть и тупость окончательно возобладали в их отношении к Суворову. Мелас в донесении гофкригсрату назвал диспозицию сражения «не соответствовавшей правилам военного искусства». Австрийский император прислал Суворову двусмысленный рескрипт, содержащий намек на то, что главную причину суворовских побед составляло «столь часто испытанное счастье ваше».

Полководец был жестоко уязвлен этим.

В письме к русскому послу в Вене он с горечью писал:

«Счастье! говорит римский император... Ослиная в армии голова тоже говорила мне — слепое счастье!» — и потом насмешливо сказал окружающим: — Беда без фортуны, но горе без таланта.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ НОВИ

Суворов с главными силами преследовал французов на расстоянии тридцати верст, но, убедившись, что догнать их не удастся, остановил войска, дал им однодневный отдых и, предоставив преследование отряду Отта, повернул обратно против Моро. Из перехваченных писем он выяснил, что главный противник его обезврежен; «армия Макдональда более, чем разбита, — резюмировал он итоги Треббии в письме к Краю, — Моро делает попытку против графа Бельгарда на Бормиде; я пойду встретить его так же, как встречал Макдональда».

Наступление Моро началось 17 июня, но он двигался медленно, желая сложными маневрами привлечь внимание Суворова и задержать его под Александрией. Однако этими хитростями он обманул лишь самого себя, опоздав прибыть к Треббии. Узнав о начавшемся генеральном сражении, он отказался от мысли разгромить корпус Бельгарда, оставил там только часть сил, а с остальными поспешил на помощь Макдональду. Известие о результатах Треббии побудило его приостановить это движение и возвратиться в Ривьеру. Однако, желая облегчить положение Макдональда, он до 25 июня оставался возле Бормиды и распустил слух, будто намерен идти оттуда к Турину. Для подтверждения этого им производились некоторые демонстрации. Он рассчитывал при этом на слабость разведки союзников и на чрезмерно большое внимание Суворова к слухам и демонстрациям.

— Я был несомненно уверен, — сказал как-то впоследствии Моро, — что мое мнимое вторжение в Пьемонт озаботит Суворова, потому что слабая сторона этого полководца, которого, впрочем, я ставлю наряду с Наполеоном, заключалась в том, что он излишне тревожился при каждом нарочно производимом мною ложном движении.

Но Суворов и сам считал теперь более целесообразным обратиться против Моро. Однако, несмотря на усиленные переходы, ему не удалось нагнать его^[50]. Тогда он снова поставил вопрос о наступлении на Ривьеру.

Неожиданно в рескрипте австрийского императора от 21 июня ему предписывалось «совершенно отказаться от всяких предприятий дальних и неверных»; а в рескрипте от 10 июля приказывалось «без всякого дальнейшего отлагательства предпринять и окончить осаду Мантуи». Все

планы Суворова, направленные к тому, чтобы стратегически использовать победу под Треббией, категорически отвергались. «Также не могу никак дозволить, — писал император Франц, — чтобы какие-либо войска мои, впредь до особого моего предписания употреблены были к освобождению Рима и Неаполя».

Уже не Репнин, не Потемкин, а ненавистные полководцу «бештимтзагеры» сковывали его по рукам и ногам. Сознание своего бессилия угнетало его. Письма его полны отчаяния.

«Гофкригсрат вяжет меня из всех четырех углов. Если бы я знал, то из Вены уехал бы домой. Две кампании гофкригсрата стоили мне месяца, но если он загенералиссимствует, то месяца его кампании станет мне на целую кампанию... Дайте мне волю или вольность — у меня горячка, и труды и переписка с скептиками, с бештимтзагерами, интриги — я прошу отзывать мне... Я не мерсенер, не наемник, не из хлеба повинуюсь, не из титулов, не из амбиции, не из вредного эгоизма — оставлю армию с победами и знаю, что без меня их перебьют... Деликатность здесь не у места. Где оскорбляется слава русского оружия, там потребны твердость духа и настоятельность».

Сплошь и рядом распоряжения гофкригсрата приобретали просто курьезный характер. Осада Туринской цитадели привела, в конце концов, к сдаче Фиореллы, а как раз в это время пришло предписание из Вены отложить осаду до взятия Генуи.

— Чего глупее, — пожал плечами Суворов. В письмах к Разумовскому он иронически комментировал создавшуюся ситуацию:

«Его римско-императорское величество желает, чтобы, ежели мне завтра баталию давать, я бы отнесся прежде в Вену... Я в Милане — из Вены получаю ответ о приезде моем в Верону; я только что в Турин перешел — пишут мне о Милане».

Суворов нервничал, раздражался. Здоровье его, расшатанное тяготами войны, окончательно подрывалось вечным напряжением, бесконечными неприятностями с австрийцами.

Развязность Вены простиралась все дальше. Было предписано, чтобы обо всех распоряжениях Суворова тотчас извещался Мелас и чтобы ни одно предприятие русского полководца, «имеющее важное значение», не осуществлялось без предварительного одобрения австрийского императора.

Потеряв всякое терпение, вне себя от злобы, Суворов послал в первых числах июля прошение об отставке. «Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранцу, интриги частных двуличных начальников... безвластие мое в производстве операций... принуждают меня просить об

отзыве моем, ежели сие не переменится».

Павел предпринял некоторые шаги, но настолько нерешительно, что почти ничто не изменилось. Тон предписаний Суворову из Вены становился все более резким, почти угрожающим. В рескрипте от 3 августа император Франц прямо напоминал, что фельдмаршал отдан в его распоряжение, «а потому несомненно надеюсь, что вы будете в точности исполнять предписания мои».

Так, в бесцельных и мучительных пререканиях приходилось Суворову тратить драгоценное время. Два обстоятельства несколько улучшили его настроение: из России прибыла десятитысячная дивизия Ребиндера и 28 июля сдалась Мантуя.

После того, как в 1796 году Мантуя на несколько месяцев остановила блистательные успехи Бонапарта, утвердилась мысль, что владение этой крепостью равносильно обладанию Северной Италией. Суворов не разделял этого мнения — и потому, что придавал всякой крепости второстепенное значение по сравнению с живой силой, и потому, что не находил Мантую столь неприступной.

— Зачем Бонапарт солгал, назвав Мантую сильнейшей крепостью? — заметил он однажды. — Это, чтоб прикрасить свое хвастовство и прикрыть свои ошибки. Крепость, которую он взял в столь короткое время и при столь малых пособиях, не заслуживает такого пышного названия.

В Петербурге и Вене падение Мантуи было воспринято как завоевание Италии. Павел возвел Суворова в княжеское достоинство в ознаменование заслуг его в «минувшую войну». Австрийцы втайне разрабатывали план переброски русских корпусов из Италии, где все казалось законченным, в Швейцарию, где Массена громил австрийские войска.

Суворов совершенно иначе оценивал положение. «Мантуя с самого начала главная цель, — писал он Разумовскому, — но драгоценность ее не стоила потеряния лучшего времени кампании»^[51]. Падение Мантуи радовало его, главным образом, тем, что оно освобождало тридцатитысячный осадный корпус генерала Края и создавало предпосылки для возобновления маневренных операций. Он предвидел, что энергичный противник, обессиленный, но не добитый, причинит еще немало хлопот. Так оно и случилось.

Вынужденное бездействие Суворова было широко использовано французами. Макдональд пробрался в Геную и соединился там с Моро. Из Франции прибыл с подкреплениями новый главнокомандующий, тридцатипятилетний пылкий Жубер. Кумир солдат, человек, которого Бонапарт охарактеризовал «гренадером по храбрости и великим

полководцем по военным познаниям», Жубер уехал в Италию прямо из-под венца, заявив жене, что вернется к ней победителем или мертвым. Моро передал ему командование над армией, но, подавив оскорбленное самолюбие, предложил себя в качестве советника. Жубер, связанный с Моро узами личной дружбы, охотно принял его сотрудничество.

Хотя французская армия насчитывала всего 45 тысяч человек, Жубер решил перейти в наступление. Непосредственной целью своей он поставил освобождение Мантуи, о капитуляции которой во Франции еще не знали.

Его выступление совпало с лихорадочными усилиями Суворова сломить, наконец, саботаж австрийцев и начать движение на Ривьеру. О том, как дорого давались русскому полководцу эти переговоры, чернильная война со своими союзниками, можно судить по приводимому отрывку из одного письма Суворова к Меласу: «Заклинаю ваше превосходительство приверженностью вашею к его императорскому величеству; заклинаю собственным усердием вашим к общему благу. Употребите всю свою власть, все силы свои, чтобы окончить непременно в течение десяти дней приготовления к предположенному наступлению в Ривьеру Генуэзскую. Поспешность есть теперь величайшая заслуга; медленность — грех непростительный».

Наступление французов разрубило гордые узлы этих унижительных переговоров.

По приказанию Суворова, передовые войска не препятствовали продвижению противника: фельдмаршал хотел выманить французов из гор на равнину и подавить их тогда своей многочисленной конницей и артиллерией. Не доверяя больше непроверенным сообщениям, он умело расположил свои войска так, чтобы они легко могли быть придвинуты к любому пункту, где появится армия Жубера.

К 14 августа противники настолько сблизились, что столкновение сделалось неизбежным. Французские силы исчислялись в 35 тысяч человек, силы союзников — в 50 тысяч, да еще 15 тысяч стояло в резерве. В третий — и последний — раз в жизни Суворова на его стороне было численное превосходство. Он не мог отказать себе в небольшом психологическом, типичном для него, трюке: интуитивно понимая, что Жубер ни за что не отступит, чтобы не обескураживать свою воодушевленную армию и не разрушать веры в себя, Суворов выстроил все свои войска на равнине у Нови так, что французы могли сосчитать их со всей точностью. Эффект получился такой, как он и ожидал: убедившись в крупном перевесе сил союзников, Жубер, дотоле не сомневавшийся в успехе, сильно пал духом. Он созвал военный совет; почти все советовали

вернуться в Геную. Однако такой исход казался французскому главнокомандующему позорным, да притом отступать в виду сильного неприятеля было рискованно. Он отложил решение до утра, а на рассвете получил донесение, что союзники начали атаку.

Диспозиция Суворова к сражению под Нови не сохранилась.

Военные авторитеты расходятся по вопросу о том, в чем заключался план фельдмаршала. Большинство полагает, что он хотел направить главный удар на левый фланг французов; иные же находят, что атака левого фланга носила демонстративный характер. Трудно было вообще предвидеть, как будут действовать французы: позиции их, укрытые от Суворова, расположенные на пересеченной оврагами и виноградниками местности, были очень удобны для обороны. Суворов надеялся, что пылкий Жубер увлечется преследованием и спустится на равнину. Возможно, что расчет его оправдался бы, но одно непредвиденное обстоятельство опрокинуло соображения творца военной психологии. При первых выстрелах Жубер примчался в цепь, и когда он изучал картину атаки, шальная пуля поразила его.

— *Marchez! Marchez toujours!*^[52] — успел только прошептать он.

Смерть его скрыли от солдат. Начальство над армией принял Моро; усилив свое левое крыло дивизией Сен-Сира, он отразил атаку австрийцев, но категорически запретил преследование.

— Моро понимает меня, старика, и я радуюсь, что имею дело с умным военачальником, — отозвался Суворов о своем противнике.

Теперь его план определился: отвлечь еще больше неприятельских сил от центра на левый фланг и, пользуясь этим, прорвать центр, взяв город Нови. Атака Нови поручалась русским войскам под начальством Багратиона и Милорадовича.

Генерал Край возобновил наступление на левый фланг неприятеля и настойчиво требовал, чтобы Багратион также повел войска. Но Багратион, посвященный, очевидно, в замысел главнокомандующего, медлил, ссылаясь на отсутствие предписания. Край несколько раз посылал к Суворову, но ординарцы не могли передать его требования: завернувшись в плащ, фельдмаршал делал вид, что спит, и ад'ютанты не разрешали будить его. В 9 часов утра Край был вторично отбит. Только тогда, — решив, что французы перетянули достаточно сил на левый фланг, — Суворов вскочил на ноги и отдал приказ об атаке Нови.

Багратион отлично знал местность, потому что дважды стоял здесь. Пользуясь каждым прикрытием, он, несмотря на жаркий огонь, довел

войска до города, но здесь каменная стена, не поддававшаяся выстрелам легких русских орудий, остановила атаку. Тогда Багратион обошел Нови с запада, но здесь был встречен в упор картечью, за которой последовала контратака французов.

Русские батальоны пришли в замешательство и под прикрытием казаков были отведены обратно.

Вторая атака также была отбита.

Суворов придал к частям Багратиона подоспевшую с необыкновенной скоростью дивизию Дерфельдена и приказал атаковать в третий раз.

Стояла невыносимая жара. Легко раненые умирали от изнурения. Солдаты шли на штурм с яростью, не знавшей пределов.

«Солдаты, как бы ослепленные исступленной храбростью, под смертоносным огнем орудий, казалось, не замечали преимуществ позиции неприятельской; они презирали неминуемую смерть и не было возможности удержать их», — доносил в своей реляции Суворов.

Это была самая упорная битва, какую ему приходилось давать. Даже при Треббии не было того нечеловеческого ожесточения и упорства, которое проявляли здесь обе стороны. Командующий гарнизоном Нови, Гардан, выказал настоящий образец активной обороны, чередуя смертоносный обстрел с короткими ударами. Республиканские солдаты дрались с поразительным мужеством.

Суворов все время был в огне. Смерть витала вокруг его седой головы. Он провожал в бой каждую колонну, направлял удары, потом пристраивался к откатывавшимся от неприступных стен Нови батальонам и уговаривал их снова идти в атаку:

— Назад, ребята, хорошенько их! — восклицал он, и на звук его голоса измученные люди с пересохшими от зноя губами, облитые потом и кровью, тотчас выстраивались в боевой порядок и устремлялись к Нови. — Не задерживайся, иди шибко, бей штыком, колоти прикладом... Ух, махни, головой тряхни!..

Все было напрасно. Моро перетянул войска не из центра, а со своего правого фланга. Огромные потери атакующих сравняли их численность с обороняющимися, а выгоды французской позиции предоставляли им решающее преимущество.

На Суворова было страшно смотреть. Не то, чтобы он опасался поражения. Но небывалая неудача его «чудо-богатырей», сражавшихся под его личным руководством, была для него оскорбительна, почти позорна. Лицо его перекосилось, он рвал на себе одежды, катался по земле, кричал, что не переживет этого дня. Прибывавшие с донесениями офицеры, видя

его в таком состоянии, вскакивали на коней и галопом неслись к своим частям; приехав, они бросали только два слова: «Атаковать! Победить!» — и отчаянное напряжение полководца распространялось через них на всю армию.

...Третья атака, подобно двум предыдущим, была отбита. Солдаты отзывались о своих противниках со смесью удивления и уважения. Был час дня. Бой затих по всей линии. Изнемогавшие от жажды, утомленные до предела сил люди искали какого-нибудь укрытия от палящих лучей солнца.

Суворов, сидя в разбитой для него палатке, размышлял над результатами девятичасового сражения. Мужество французов и выгода их позиции позволили им отбить все атаки. Но истекшая фаза сражения показала, что Моро ввел уже в дело все свои силы. У Суворова же оставались еще крупные резервы: отряды Меласа и Розенберга. Он приберегал их, чтобы в решительную минуту сразу перетянуть чашу весов на свою сторону. Теперь эта минута приблизилась.

Меласу было приказано атаковать правое крыло французов. В 4 часа пополудни начался одновременный штурм по всему фронту. Со стороны союзников сражались 46 тысяч человек. На этот раз соотношение сил было слишком неодинаково. Мелас первый одержал успех над ослабленным французским флангом и стал продвигаться в тыл Нови. Прискакавший Сен-Сир героическими усилиями задержал австрийцев, но это могло помочь лишь отступлению французской армии: войска Багратиона и Дерфельдена ворвались, наконец, в Нови. В 6 часов вечера французы начали отступать, но было уже поздно. Сказалась ошибка Моро, который под впечатлением успешных действий своих войск в первой половине дня не воспользовался наступившей передышкой, чтобы отвести свою армию. Теперь оказалось невозможным сохранить порядок в отступлении. Левое крыло французов отошло на деревню Пастурану, но туда уже надвигались от Нови русские. Отступавшие столпились в узких улочках деревни. В это время небольшой австрийский отряд взшел на соседнюю возвышенность и открыл частый огонь по густым толпам французов. Это послужило сигналом. Все бросились врассыпную, ища спасения, кто как мог. Генерал Груши с одним батальоном пробовал обороняться, но был изранен и взят в плен. Только части Сен-Сира отступили в относительном порядке. Остальные полки бежали, бросая оружие, укрываясь в кустарниках и глубоких оврагах. Спустившаяся темнота предотвратила полное истребление беглецов.

Суворов дал отдых своим истомленным войскам, возложив преследование на свежий корпус Розенберга. В руки союзников попали вся неприятельская артиллерия, бо́льшая часть обоза и четыре знамени. Потери

их достигали 8 тысяч человек; французы потеряли во время сражения 6500 человек, но при отступлении 4 тысячи были взяты в плен и множество солдат рассеялось по окрестностям. Французская армия уменьшилась почти на половину.

Через много лет кто-то однажды спросил у Моро его мнение о Суворове при Нови.

— Что же можно сказать, — ответил Моро, — о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?

Суворов, видя окончание кровопролитной битвы, посвятил остаток вечера на то, чтобы удержать войска от насилий над жителями Нови. Потом он приехал на отведенную ему квартиру и, увидя Фукса, пришедшего, чтобы писать рапорт, встретил его словами:

Конец — и слава бою!
Ты будь моей трубою!

Судя по всему, он был очень горд этим экспромтом.

Стратегическое значение Нови было невелико: союзники почти не преследовали Моро, тот наладил порядок в остатках своих войск и снова занял проходы в Апеннинах. Принцип Суворова — вести неуклонное преследование, так как «недорубленный лес опять вырастает» — в этот раз совершенно не был соблюден. Австрийские военные исследователи нагромодили по этому поводу целый ворох обвинений против русского полководца, но в действительности именно австрийцы явились прямыми виновниками инертности преследования. На следующий день после сражения Мелас об’явил Суворову, что армия обеспечена хлебом только на два дня. Достать продовольствие в Апеннинах было невозможно, итти на Ривьеру с двухдневным запасом — тем более. Кроме того, австрийцы заявили, что нет мулов для перевозки продуктов.

подавляя бешенство, Суворов приказал срочно добыть мулов и продовольствие и оповестил, что дальнейшее наступление откладывается на несколько дней. Австрийскому генералу Кленау он предписал двигаться к Генуе вдоль морского берега.

Но Суворов решал без хозяина. Вопреки его приказанию, гофкригсрат повелел Кленау прекратить продвижение и ничего не предпринимать, впредь до новых инструкций из Вены^[53]. Одновременно гофкригсрат отдал

еще ряд директив по армии. Извещая обо всем этом Суворова, Мелас с откровенным цинизмом писал: «Так как означенное высочайшее повеление должно быть исполнено безотлагательно, то я прямо уже сообщил о нем по принадлежности и сделал надлежащие распоряжения». Так Мелас сообщал главнокомандующему *для сведения* о важных распоряжениях по армии. Дальше итти было некуда.

Еще на другой день после Нови Суворов, узнав о необходимости прервать преследование, писал РаSTOPчину: «После кровопролитного боя мы одержали победу; но мне все не мило. Повеления, поминутно присылаемые из гофкригстрата, расстраивают мое здоровье. Я здесь не могу продолжать службу».

Последующие действия австрийцев окончательно вывели Суворова из себя. Он отправил в Петербург копию упомянутого сообщения Меласа, желчно жаловался, что «хотят операциями править за тысячу верст, не зная, что всякая минута на месте заставляет оные переменять», и твердо заявлял, что должен будет «вскоре в каком ни есть хуторе или гробе убежища искать».

На этот раз Павел понял нелепость и недопустимость создавшегося положения. Он приказал об'явить в Вене, что если там не изменят своего поведения с Суворовым, то фельдмаршалу будет предоставлено действовать, не считаясь с желаниями австрийцев.

Но политика Вены по отношению к Суворову была частью общей политики австрийского кабинета. Незадолго перед тем Павел воспрепятствовал австрийцам сделать приобретения в Южной Германии. Теперь он неблагосклонно взирал на попытки Вены завладеть некоторыми провинциями в Италии. Обуреваемый своей идеей «спасти Европу от французов», он упорно не хотел видеть, что руками русских солдат осуществляет грабительские намерения Австрии. Когда же он встал в некоторую оппозицию к Вене, оттуда пояснили австрийскому послу в Петербурге, что русский император, «служба общему делу, не служит дому австрийскому»; Россию стали рассматривать как главное препятствие к выполнению австрийских планов в отвоеванной Суворовым Италии.

Недоброжелательство по отношению к фельдмаршалу было одним из звеньев в общей цепи начавшихся интриг против России, больше того: теперь пребывание русской армии в Италии оказывалось для австрийцев явной помехой. Они хотели остаться один на один с итальянским народом. Отсюда возник план переброски Суворова в Швейцарию.

По этому плану, австрийская шестидесятитысячная армия эрцгерцога Карла переводилась на Рейн, где со стороны французов действовали только

незначительные отряды. Суворов же должен был примкнуть к находившемуся уже в Швейцарии русскому двадцатисемитысячному корпусу Римского-Корсакова и противостоять восьмидесятитысячной армии Массены, изрядно потрепавшего уже австрийцев.

План делал честь его составителю, Тугуту: Италия предоставлялась в полное распоряжение Австрии; австрийские войска уводились на спокойный театр войны; грозному Массене подставлялись русские войска: кто бы из них ни победил, оба ослабеют, и Австрия так или иначе извлечет из этого пользу.

Австрийцы без особого труда получили согласие Павла на этот план. «Сокрушаюсь сердцем обо всех происшествиях, ниспровергающих меры наши к спасению Европы, — растерянно писал Суворову одуроченный император, — но на кого же пенять?» Этот риторический вопрос остался, разумеется, без ответа. Предвидя, что с Суворовым будет не так-то легко сговориться, австрийцы поставили его перед совершившимся фактом: извещая его о новом распределении сил, гофкригсрат присовокупил, что ему надлежит торопиться, потому что эрцгерцог уже начал выводить из Швейцарии свои войска.

Суворов был потрясен. Политическая сторона замысла ускользала от него, но ему ясны были чисто военные трудности. Надо было хоть подготовиться к новой кампании, обзавестись необходимым для горной войны снаряжением: горными орудиями, понтонами, амуницией; русские войска не были привычны к условиям военных действий в горах, никто из них не знал местности.

«Сия сова не с ума ли сошла, или никогда его не имела», — с негодованием писал он о Тугуте. Новому посланнику в Вене, Колычеву, он слал одно за другим возражения против немедленной переброски его армии в Швейцарию и против открытия австрийского фронта.

«Барон Тугут, как не Марсов сын, может ли постигнуть?.. Тугуту не быть, или обнажить его хламидой несмыслия и предательства... Коварные замыслы Тугута все более обнаруживаются».

Но делать было нечего. Правда, эрцгерцог оставил временно в Швейцарии 20 тысяч человек под начальством генерала Готце, но и при этом Массена получал двойное превосходство сил. Зная энергию французов, Суворов не сомневался, что французский главнокомандующий постарается использовать создавшуюся ситуацию. Надо было спешить на помощь Римскому-Корсакову. Скрепя сердце, он отдал распоряжения к походу.

Провокационная тактика австрийцев по отношению к Суворову

представляла яркий контраст с тем ореолом, который создан вокруг его имени. После победы при Нови Павел приказал отдавать ему «даже и в присутствии государя все воинские почести, подобно отдаваемым особе его величества». Сардинский король возвел его в титул «королевского кузена» и гранда Сардинии^[54]. Город Турин прислал золотую шпагу. В Англии появились суворовские пироги, суворовские прически и шляпы; на торжественном обеде английский король провозгласил первый тост за Суворова. Адмирал Нельсон гордился полученными от полководца письмами.

Отблеск этой небывалой славы распространялся и на родину Суворова. «Приятно быть русским в такое славное для России время», — писал один современник.

В лагерь Суворова началось целое паломничество. Всем хотелось взглянуть на него хоть издали, всюду передавали о его привычках и странностях. Мало какой вопрос возбуждал в тот период в Европе такой жгучий интерес, как вопрос о личности Суворова. Через два десятка лет Байрон отразил этот интерес в своем «Дон Жуане»:

Молясь, остря, весь преданный причудам,
То ловкий шут, то демон, то герой,
Суворов был необ'яснимым чудом...

ЛИЧНОСТЬ СУВОРОВА

Наружность у Суворова была неказистая; по выражению одного автора, чин его был «по делам, но не по персоне». Он был ниже среднего роста, сухощав, немного сутуловат. Лицо его имело овальную, слегка продолговатую форму и отличалось чрезвычайной выразительностью. К старости на нем было очень много морщин. Лоб — высокий, глаза — большие, голубые, искрившиеся умом и энергией. Рот небольшой, приятных очертаний; по обе стороны его шли глубокие вертикальные складки. Редкие, седые волосы заплетались на затылке в маленькую косичку. Вся фигура, взгляд, слова, движения — все отличалось живостью и проворством, не было солидности и важности, которые его современники привыкли считать обязательным атрибутом крупного деятеля.

Разрыв с общепринятым типом выдающегося человека возрастал все больше, по мере ознакомления с манерами и образом жизни Суворова. Везде и всюду он спал на покрытой простынею охапке сена определенной вышины и окружности, укрываясь вместо одеяла плащом. Вставал в четыре часа утра, причем слуге было велено тащить его за ногу, если он проспит. Одевался он очень быстро, неизменно соблюдая величайшую опрятность. Шубы, перчаток, сюртука, шлафрока он никогда не носил; всегда на нем был мундир, иногда плащ, а в жаркие дни частенько просто исподнее белье.

Выпив утром несколько чашек чаю, он упражнялся около получаса в бегании или гимнастике, потом принимался за дела, а в свободное время приказывал что-нибудь читать ему. Обедал в 8–9 часов утра; за столом бывал весел и разговорчив; присутствовало за обедом обычно около двадцати человек. В пище Суворов был очень умерен, строго соблюдал посты, фруктов и сладкого не ел. После обеда он охотно спал. За обедом выпивал рюмку тминной водки и стакан кипрского вина, но напитками никогда не злоупотреблял. Он не курил, но нюхал табак.

Во всех своих привычках Суворов был необыкновенно скромн. «Я солдат, не знаю ни племени, ни роду», — сказал он однажды про себя. Не говоря уже о предметах роскоши — картинах, сервизах, нарядах, он лишал себя даже элементарного комфорта. Ездил он всегда в самой простой таратайке или на первой попавшейся казацкой лошаденке, одевался в добротные, но грубые ткани, пользовался самой простой мебелью и т. д. Все это составляло разительный контраст с царившей в XVIII веке безумной роскошью.

Пуще всего он боялся изнеженности, которая, по его мнению, подобно ржавчине, раз'едает волю и здоровье. Он считал необходимым поддерживать физическую и духовную стороны человека в состоянии постоянной готовности к лишениям и опасностям. Пребывание в солдатской среде укрепило эти его привычки и, следуя им, он достигал двух целей: подавал пример другим, — от которых требовал в военное время предельного напряжения сил, — и лишней раз привлекал симпатии солдат.

Суворов не любил игр и забав, дорожа каждой минутой для занятий. «Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом», — заметил он однажды. В этом отношении можно найти сходство между ним и Гете, не учившимся играть в шахматы, чтобы не красть у себя времени, которое можно употребить на работу. Вероятно, из этих же соображений Суворов редко посещал балы и вечеринки, но если попадал туда, то бывал очень оживлен, много плясал и уже в глубокой старости хвалился, что танцевал контрданс три часа кряду. Он всех заражал своей живостью и больше всего не терпел «оспалости» (сонливости, вялости).

В комнатах Суворова всегда было очень жарко натоплено. Его биограф Фукс передает, что когда один посетитель удивился этому, полководец, смеясь, отвечал:

— Что делать! Ремесло наше такое, чтобы быть всегда близ огня. А потому я и здесь от него не отвыкаю.

К числу странных привычек Суворова относилось то, что он никогда не носил с собою часов и денег и не любил носовых платков.

— Не держите в кармане то, что чересчур грязно, чтобы бросить на землю, — говаривал он.

Он очень быстро, по нескольким взглядам и вопросам, составлял мнение о человеке — и редко менял его.

Несмотря на то, что он десятки раз принимал участие в рукопашных битвах, мускульная сила его была очень невелика. К концу жизни он так ослабел, что сгибался под тяжестью сабли.

Вообще, от природы он был слабого здоровья, и только непрерывная тренировка, спартанский режим и стальная сила воли позволяли ему переносить непрерывное физическое и нервное напряжение войны.

Живя в Новой-Ладогe (1765), Суворов тяжело болел желудком: эта болезнь осталась у него на всю жизнь. В 1780 году он сообщал в одном письме: «Желудок мой безлекарственный ослабел. Поят меня милефолиумом, насилу пишу». Обычно он пользовался услугами простого фельдшера — «бородобрея», который лишь в последний год его жизни был

заменен настоящим врачом. Но Суворов не доверял медикам, полагал — и, может быть, не без основания, — что его неправильно лечат. За три месяца до смерти он писал Хвостову: «Мне недолго жить. Кашель меня крушит. Присмотр за мною двуличный». Во время итальянской кампании он, как говорится, таял на глазах; сперва крепился, выглядел гораздо моложе своих семидесяти лет, но постепенно, изнуренный тяготами сражений, пререканиями с австрийцами и лишениями швейцарского похода, совершенно обессилел, так что нередко даже засыпал за обедом; у него появились резь в глазах, жестокие приступы кашля; ныли старые раны и, наконец, развился смертельный недуг.

Суворов был по натуре добр — неприятельской добротой простого русского человека. Он не пропускал ни одного нищего, чтобы не оделить его милостыней. Встречая ребят, он останавливался и ласкал их. В Кончанском у него жила на полном пансионе целая команда инвалидов. Он помогал всем, кто обращался к нему. По уверению Фукса, он до конца жизни тайно высылал 10 тысяч рублей в одну из тюрем.

— Я проливал кровь потоками, — сказал он однажды, — я прихожу в ужас от этого. Но я люблю моего ближнего; я никого не сделал несчастным, не подписал ни одного смертного приговора, не задавил ни одной козявки.

Полководец был искренен, говоря это, и здесь нет противоречия с его беспощадностью там, где она диктовалась железным законом войны.

Но, как часто бывает, наряду с добрым сердцем и благородством духа, Суворов обладал тяжелым характером. Множество неприятностей и обид, выпавших на его долю, еще более обострило эту черту. Он сам знал, что с ним нельзя ужиться.

— Я иногда растение «не тронь меня», иногда электрическая машина, которая при прикосновении осыплет искрами, хоть и не убьет, — признавался он в минуты откровенности.

Он требовал, чтобы все подчинялись его привычкам и разделяли его вкусы; в этом отношении он часто бывал настоящим деспотом. На обедах у него водку разливали по чинам; один офицер усмехнулся такому порядку; Суворов прогнал его из-за стола, хотя это был честный, всеми уважаемый служака. Другой не произнес после предобеденной молитвы «аминь», — его вовсе обнесли водкой. Вдобавок, Суворов осыпал прогневивших его градом сарказмов, на которые он был великий мастер. Одному полковнику красивой внешности он дал ставшую крылатой характеристику:

— Он храбр в Амазонском полку.

Увидя табакерку с портретом ненавистного ему человека, он воскликнул:

— Зачем не изобразил его художник спящим! Во сне и тигр добр!

Вообще, с окружающими он не церемонился. Своему начальнику штаба, Ивашеву, он как-то велел петь рождественские гимны:

— Я возьму себе первый бас, а ты — второй.

Ивашев в ужасе доказывал, что не имеет голоса и вовсе не знает нот, но ничто не помогло; во время службы он орал, что придет в голову, и тем доставил, видимо, совершенное удовольствие своему патрону.

В период итальянской кампании Суворов приказал одному провинившемуся генералу надеть солдатскую форму и стать с полной выкладкой на два часа перед его палаткой.

Но все это было несерьезно; это походило на капризы и гнев ребенка. В серьезных случаях Суворов, напротив, проявлял неизменную снисходительность. Он почти никогда не отдавал под суд; одного своего офицера, проигравшего в Варшаве казенные деньги, он не только не привлек к суду, но уплатил за него растраченную сумму; когда Павел I хотел сместить генерала Розенберга, потерпевшего по собственной оплошности поражение при Бассиньяно, Суворов заступился за Розенберга.

— Заранее учись прощать ошибки других и не прощай никогда собственных, — часто повторял он.

Окружающие знали его отходчивость, доверчивость и житейскую неопытность и часто использовали их в своих интересах. Управители обкрадывали его или разоряли своей ленью и небрежностью; адъютанты опутывали его сетью взаимных интриг, подсказывали ему пристрастное распределение наград, играли на всех его слабых струнах, благоразумно не вторгаясь только в чисто военную сферу, где, как им было известно, полководец не терпел ничьего вмешательства.

Вряд ли Суворов не замечал всех ухищрений и плутней, разыгрывавшихся вокруг него. Скорее всего, он просто не придавал им значения, не считал их достойными того, чтобы отвлекаться ради них от военных дел. Иногда он наблюдал за ними с добродушным любопытством. Его управляющий, Матвейч, задержал однажды отсылку коровы, чтобы пользоваться молоком; в другой раз он же долго не отправлял лошадей. Суворов напомнил ему о лошадях — «ведь от них молока нет».

Характерным, во всем проявлявшимся свойством его была безыскусственная простота; ни при каких обстоятельствах его не покидал его подлинный демократизм. Об'езжая в скромной повозке пограничные крепости Финляндии, он встретился с мчавшимся фельд'егерем. Не узнав в бедно одетом старичке знаменитого графа Суворова, тот гаркнул, что-то и хлестнул графа нагайкой. Адъютант в бешенстве хотел остановить

фельд'егеря, но Суворов закрыл ему рот рукою:

— Тише! Курьер, помилуй бог, дело великое.

Много раз высказывалось — особенно иностранными писателями — удивление, как мог Суворов, при его независимом и гордом нраве, униженно вести себя со своими начальниками (Румянцевым и Потемкиным). Здесь явное недоразумение. Правда, что он непрочь был «воскурить фимиам», но это курение в значительной степени проистекло из обычаев XVIII века. Самоунижительная форма обращения была в ту эпоху обычной. Екатерина II отменила подпись «раб», которую ставили в конце письма перед своим именем. Недалеко еще было то время, когда принято было, подражая цветистой и лукавой восточной манере, называть себя «холопом» и подписываться только унижительным именем. Этот патриархальный обычай наложил свой отпечаток на Суворова. Очень характерно письмо, отправленное им секретарю князя Потемкина, Попову, когда юный сын Суворова ездил представляться могущественному фавориту. «Посылаю при сем моего мальчика. Представьте его светлейшему князю, повелите ему, чтобы он его светлости понижее поклонился и, ежели может быть удостоен, поцеловал бы его руку. Доколе Жан-Жаком^[55] мы опрокинуты не были, целовали мы у стариков только полу».

Таким образом, внешне подобострастная манера никак не умаляла человека в глазах Суворова. Доказательством этому служит то, что он всегда отстаивал свою точку зрения — против Потемкина, против Екатерины, против Павла I, против австрийского императора, словом, против всех, перед кем как будто бы бил земные поклоны. Другим доказательством может служить его откровенная, нелицемерная нескромность в разговорах; он сравнивал себя с Цезарем, проводил параллель между швейцарским походом и походом Аннибала, заявлял, что он лучше Фридриха II, так как не проигрывал сражений и т. п.

Это была наивная, честная нескромность большого ребенка, далекая от хвастовства и игры самолюбия.

— Никогда самолюбие, часто производимое мгновенным порывом, не управляло моими деяниями, — сказал про себя полководец, и его поступки не дают оснований усомниться в истинности этих слов.

Одним из основных свойств его природы была глубокая, нерушимая бескорыстность. И здесь он представлял собою яркое исключение среди возведенной в принцип продажности екатерининских вельмож. Все искали, чем бы можно было поживиться, все воровали направо и налево. Кондотьерские нравы господствовали во всех армиях. Французы грабили

завоеванную Италию, австрийцы — Польшу, турки продавали задешево пленных русских, русские разоряли турецкие области. От простого солдата до известнейших генералов вся армия участвовала в грабеже — и только Суворов никогда не взял ни одной вещи из бесценной добычи, которая доставалась войскам в результате его побед. Когда же при взятии Турина ему принесли драгоценности бывшего сардинского короля, оставленные французами при поспешном отступлении, он отказался считать их своей военной добычей и отослал экс-королю.

Суворов был одним из наиболее образованных русских людей своего времени. Он недурно знал математику, историю, географию; владел немецким, французским, итальянским, польским, турецким, арабским, персидским и финским языками; был основательно знаком с философией, с древней и новой литературой. Военная эрудиция его была изумительна. Он проштудировал все важнейшие военные книги, начиная с Плутарха вплоть до своих современников, изучил фортификацию и даже сдал экзамен на мичмана.

Сохранился рассказ, будто однажды Суворов выразился: «Не будь я военным, я был бы поэтом».

Не известно в точности, была ли произнесена им эта фраза, но факт таков, что генералиссимус российских армий питал неизменный интерес к поэзии и сам постоянно порывался писать стихи. Служа Марсу, Суворов всегда был поклонником Аполлона.

Стихотворения Суворова, писанные в то время, когда уровень русской поэзии был вообще невысок, не отличаются особыми достоинствами. Они пестрят типичными для его эпохи тяжеловесными оборотами речи, архаической формой выражений. В одном стихотворении (ответ Кострову) Суворов писал:

Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь,
И обожаю все, что ты в меня вperiшь:
К услуге общества, что мне недоставало,
То наставление твое в меня влияло.

Выражения вроде «вperiшь», «влияло» и прочие встречаются у Суворова очень часто. Часто попадаются характерные для того времени витиеватые сравнения и гиперболы. Письмо к Кострову заканчивается такими словами:

Вергилий и Гомер, о! если бы восстали,
Для превосходства бы твой важный слог избрали.

Или еще:

Вспоминаю я, что были Юлий, Тит.
Ты к ним меня ведешь, изящнейший пиит!

Коротко говоря, с точки зрения формальных достоинств, муза Суворова, в лучшем случае, не превышала среднего уровня его эпохи. К чести Суворова надо сказать, что он сам отлично понимал это. Когда один из собеседников назвал его однажды поэтом, он решительно отклонил это звание. «Истинная поэзия рождается вдохновением, — произнес он. — Я же просто складываю рифмы».

Будучи, как всегда, последовательным, он никогда не печатал своих стихов.

И все-таки стихи всегда были слабостью его исключительно волевой и сильной натуры.

В бумагах Суворова, относящихся к периоду итальянской кампании, имеется четко переписанное стихотворение:

ЭПИГРАМА

На пламенном шару остановилось время
И изумленное ко славе вопиет:
Кто муж сей, с кем в родство
Вошло венчаных племя?
От славы вдруг ответ:
Се вождь союзных сил,
Решитель злых раздоров,
Се росс! Се мой герой!
Бессмертный то Суворов!

На этом листке рукою полководца сделана пометка: «Сии стихи неизвестно кем писаны, но прекрасны»^[56].

Суворов с огромным удовольствием отвечал в стихах поэтам, посвящавшим ему славословия, и, между прочим, ответил в стихах Державину, поздравившему его в 1794 году со взятием Варшавы.

Царица, Севером владея,
Предписывает всем закон.
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон.
Она светила возжигает,
Она и меркнуть им велит,
Через громы гнев свой возвещает,
Через тишость благодать всем явит.
Героев Росских мощны длани
Ее веленья лишь творят.
Речет: Вселенная заплатит дани,
Глагол ее могуществен и свят.

Суворов очень любил прибегать к стихотворной форме и в частной переписке.

Стоит привести письмо, отправленное им дочери Наташе в 1794 году из Польши:

Нам дали небеса 24 часа.
Потачки не даю моей судьбине,
А жертвую оным моей монархине.
И чтоб окончить вдруг,
Сплю и ем, когда досуг.

В том же году он послал ей очень любопытное письмо, в котором касался злободневного тогда вопроса о выборе жениха:

Уведомляю сим тебя, моя Наташа:
Костюшко злой в руках; взяла вот так-то наша.
Я ж весел и здоров, но лишь немного лих,
Тобою, что презрен мной избранный жених.
Когда любовь твоя велика есть к отцу,
Послушай старика, дай руку молодцу.

Но впрочем никаких не слушай, друг мой, вздоров.
Отец твой Александр граф Рымникский-Суворов.

Дочь полководца ответила ему также в стихах, причем засвидетельствовала глубочайшее почтение к чему и преданные дочерние чувства, но выйти замуж за рекомендованного ей жениха категорически отказалась.

Пристрастие Суворова к стихам проявлялось не только в личной, но и в официальной переписке. Не говоря уже о его подчиненных, он неоднократно во время итальянской кампании давал указания австрийским генералам в виде немецких или французских стихов. Сообщение военных репортажей в форме стихов было также в обычае у Суворова. Вдобавок, иногда эти стихи были пропитаны тонким ядом. Приехав под Очаков, где русские войска безрезультатно топтались на месте, и проведя немедленно энергичную операцию против турок, он в разгаре боя получил от Потемкина запрос о его намерениях. Вместо ответа он послал стишок: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу». Этот намек на предыдущее бездействие русских войск привел Потемкина в ярость.

Свойственный Суворову язвительный стиль нашел себе яркое отражение в его эпиграммах. Известна его эпиграмма на Потемкина, высмеивающая завоевательную политику, напыщенность и презрение к людям князя Таврического:

Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет.
Одной ногой разит он друга и врага,
Другую топчет он вселенны берега.

Эта эпиграмма является, кстати, пародией на державинские «Хоры», сочиненные по случаю потемкинского праздника в 1791 году.

Конфликт с тем же Потемкиным побудил попавшего в незаслуженную опалу Суворова написать такие строчки:

Стремись, моя душа, в восторге к небесам
Или препобеждай от козней стыд и срам.

Склонность Суворова к поэзии неоднократно утилизировалась окружающими. Его управляющий, плут Терентий Черкасов, отправлял ему доклады, составленные в стихах. Звание поэта само по себе обеспечивало симпатии Суворова. Летописец фельдмаршала Фукс рассказывает, что на одном обеде молодой офицер, желая очутиться поближе к Суворову, сел не по чину. Такое нарушение табели о рангах весьма не понравилось фельдмаршалу, и он гневно обрушился на офицера, упрекая его в зазнайстве, в непочтении к старшим и т. д. Желая выручить провинившегося, кто-то заявил Суворову, что это — поэт, желавший поближе видеть командующего, чтобы воспеть его. Услышав, что перед ним поэт, Суворов сразу смягчился и, сказав, что к поэтам надо быть снисходительным, обласкал офицера.

На фоне спесивых екатерининских и павловских вельмож, не достаивавших поэзию серьезного внимания, Суворов являлся редким и отрядным исключением. Будучи глубоко образованным человеком, он с уважением относился ко всякому знанию. Поэзия же была на протяжении всей его семидесятилетней жизни его излюбленным занятием, которому он был искренне и без лести предан.

Богатый материал для характеристики каждого человека представляют его письма. Корреспонденция Суворова особенно интересна. Слог его был естественный, простой, лаконичный, отрывистый, какой-то мятущийся — верное отражение его натуры. «Мой стиль не фигуральный, а натуральный, при твердости моего духа», — писал он секретарю Потемкина Попову. Непривычному читателю трудно было разобраться в этих недоконченных фразах, неожиданных скачках мысли, резких переходах к совершенно другой теме. Когда состояние его духа было спокойно, он писал ровнее и систематичнее; в часы волнения бумага выдавала его настроение. Вдобавок, он пользовался совершенно оригинальной пунктуацией; знаки препинания расставлялись им произвольно, часто в середине строки неожиданно оказывался вопросительный или восклицательный знак, еще более затруднявший путь к смыслу письма.

Была и еще веская причина, по которой его письма оказывались не всегда доступны пониманию, — опасение перлюстрации. Суворов почти всегда отправлял письма через курьеров и приказывал вручать их лично, но все эти предосторожности не давали гарантии. В царствование Екатерины перлюстрация достигла колоссальных размеров; правительство рассматривало ее как надежнейший источник информации. О взятии Хотина императрица узнала из частного письма 28 сентября (1788), а официальное донесение Румянцева пришло только 7 октября. В свете этого

понятно, отчего письма Суворова сплошь и рядом зашифрованы, полны намеков и условных обозначений. Сама Екатерина в переписке с Гриммом прибегала к тому же приему.

В своих письмах Суворов нередко погрешал и против стилистики и против грамматики. Но язык писем — своеобразный и чеканный — дышит свежестью образов, слов и оборотов, даже когда он говорит о самых обыкновенных вещах. «Приезжай ко мне, — пишет он дочке, — есть чем поподчивать: есть и гривенники, и червонцы». В другом письме:

«Я в саду: астрея приятная, птички поют» и т. п.

С каждым корреспондентом он умел поддерживать переписку в том стиле, какой был тому свойственен. Небезынтересно привести, например, обмен посланиями между ним и принцем де Линем, последовавший после Рымникского сражения.

Де Линь прислал ему письмо, начинавшееся следующим образом: «Любезный брат Александр Филиппович, зять Карла XII, племянник Баярда, потомок де Блуаза и Монлюка»^[57].

Суворов ответил: «Дядюшка потомок Юлия Цезаря, внук Александра Македонского, правнук Иисуса Навина!» и т. д.

Суворов писал четкими, тонкими, очень мелкими буквами. «Он писал мелко, но дела его были крупны», — выразился однажды Растопчин. Это был энергичный почерк, обнаруживавший волевые качества автора. В письмах и бумагах его никогда не было помарок и поправок; так же писал он свои приказы. Если он бывал доволен адресатом, то часто заканчивал письмо словами: «Хорошо и здравствуй».

Облик Суворова останется незаконченным, если не отметить его поразительной храбрости. Десятки раз он находился в смертельной опасности. Со своей тонкой шпажкой он не мог оказать серьезного сопротивления неприятельским солдатам, и робость была неведома ему. Он бросался, вдохновляя бойцов, в самые опасные места, где почти невозможно было уцелеть, проявляя какую-то безрассудную смелость. Известен рассказ о маршале Тюрене, которого охватывала нервная дрожь при свисте пуль и который однажды с презрением обратился к самому себе:

— Ты дрожишь, скелет? Ты дрожал бы еще гораздо больше, если бы знал, куда я тебя поведу.

Тюрень был любимым образцом Суворова. Прибежавшему после Очаковской битвы врачу Суворов не позволял перевязать его рану, твердя: «Тюрень! Тюрень!» — и только когда раздраженный врач заметил, что Тюрень давал себя лечить, он подчинился. Но, в противоположность французскому маршалу, русский полководец был мужественен и духом и

телом. Ни разу его не видели в бою растерявшимся, побледневшим или задрожавшим.

И, тем не менее, Суворов, конечно, испытывал страх; его беспримерное хладнокровие было следствием самодисциплины, закалки организма и титанического усилия воли. Во время сражения при Нови, когда французы осыпали русские войска ураганом ядер, Фукс признался Суворову, что боится. Тот пристально посмотрел на него.

— Не бойся ничего, — сказал он, — держись только подле меня: я, ведь, сам трус.

Неверно думать, будто Суворов всегда жаждал войны. Как бы ни были сильны в нем задатки полководца, он всегда считал войну бичом человечества. В Италии ему доложили, что один офицер помешался.

— Жаль! — промолвил он, и после короткой паузы добавил: — Но время ли сходить с ума сейчас, когда и вся война — хаос!

Военное творчество Суворова может рассматриваться как вклад в сокровищницу русской культуры: история русского военного искусства есть часть истории нашей культуры, а влияние Суворова в этой области было исключительно велико.

Суворов воплотил в себе множество отличительных черт русского народа. Его простота, упорство, выносливость, оригинальность и самобытность военных методов, самоотверженное служение своей родине — все это делало его подлинно национальным полководцем.

Суворов начал свою военную деятельность в период господства «кордонной системы»: наступающая сторона предельно растягивала линию фронта в попытке обойти противника; обороняющаяся — в той же мере растягивала свою линию и, выбрав позицию с прикрытыми флангами, сопротивлялась, не двигаясь с места, натиску противника. При этом каждая деревня, каждая дорога или возвышенность служили объектом упорных боев.

Суворов перевернул всю эту систему. Он не рассеивал свои войска, а стремился, сосредоточив их, пробить разреженный фронт противника. Он не придавал решающего значения владению населенными пунктами, дорогами и даже крепостями, а главную цель видел в уничтожении живой силы противника. Он не признавал безынициативной, пассивной обороны, а проявлял максимум маневренности, требуя, чтобы каждый полк был «подвижной крепостью», и восполнял быстротой и отвагой войск численное преимущество противника. Наконец, в соответствии с этими своими принципами он возлагал главную надежду не на мало действительную в те времена стрельбу, а не энергичный штыковой удар.

Суворовские стратегия и тактика были восприняты и законченно развиты Наполеоном. Каждой эпохе свойственна своя стратегия. В дальнейшем, когда получили распространение железные дороги и был изобретен телеграф, вновь возродилась на новой базе стратегия окружения, достигшая своего апофеоза в Седане (1870). Но при том уровне техники, который существовал в конце XVIII века, наиболее действительной была стратегия сокрушения, основанного на сосредоточении и прорыве. При этом Наполеон, как и Суворов, неоднократно подвергал свою армию угрозе окружения ее неприятелем и вообще прибегал к очень рискованным маневрам. «Ввиду достижения великой цели, — выразился однажды Наполеон, — бывают минуты, когда следует жертвовать всем для достижения победы и не опасаться сжечь своих кораблей».

Подобная стратегия была возможна только при условии исключительной стойкости войск. (Характерный в этом смысле эпизод произошел во время осады австрийцами турецкой крепости Журжи. Во время вылазки турок австрийцы решили действовать «по-суворовски» и приняли их в штыки; однако моральная устойчивость войск оказалась не на высоте, и, несмотря на колоссальное превосходство в силах, австрийцы были наголову разбиты.) Наполеон поддерживал эту стойкость с помощью умелого манипулирования революционными лозунгами. Положение Суворова в этом отношении было значительно труднее. Для того, чтобы воодушевить войска, ему в гораздо большей мере приходилось рассчитывать на свое личное влияние, на умение понять и быть понятым солдатами. При этом решающую роль играли отмеченные выше национальные черты Суворова и его глубокая народность, его органическая связь с солдатскими массами, преодолевавшая классовый антагонизм и «расстояние состояний».

В этом, главным образом, заключался секрет необычайного обаяния Суворова для солдат, которое позволяло ему осуществлять такие маневры, как, например, в битве при Треббии, когда солдаты, прошедшие за 36 часов 80 верст, не успев перевести дыхания, вступили в бой и сражались до позднего вечера.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что в европейской истории не было более полного и цельного типа военного человека, чем Суворов. «Все его личные качества, свойства, понятия, привычки, потребности, — говорит один историограф, — все было тщательно выработано им самим и применено именно к потребностям военного дела, которое с детских лет играло первенствующую роль в его жизни и руководило им».

В Суворове-полководце было сочетание обширного просвещенного

ума с военным гением, могучая воля, умение воспитывать массу, магически влиять на нее и увлекать за собою.

В применении к Суворову слово *гений* вполне уместно. В своем историко-психологическом этюде о Суворове профессор П. Ковалевский писал: «Принимая во внимание чрезвычайно острое восприятие органов чувств, необычайно быстрый психический процесс, огромное участие личных бессознательных проявлений в мышлении, необыкновенную энергию действий, самобытность и оригинальность в действиях и поступках, полное личное самоотвержение для идеи, полное подавление низших человеческих проявлений для высших идеалов, величие духа, господство над окружающими — мы можем с полным правом сказать, что Суворов составлял передовой и высший человеческий тип, он по всей справедливости может быть назван *гением*, и по специальности — военным гением».

Что особенно ценно и дорого в Суворове, это его постоянные старания пробудить в русском солдате «живую душу», развить в нем чувство любви к родине, чувство национальной и личной гордости. И это — в эпоху, когда, следуя примеру Фридриха II, все государства заботились лишь о муштровке солдат; и это — в стране, где солдат был вдвойне бесправен: как нижний чин и как крепостной.

Попытка набросать портрет Суворова встречает наибольшие трудности в необходимости объяснить странности полководца, заслужившие столь громкую и в большинстве невыгодную славу. Бесконечные выходки и эксцентричности Суворова, особенно усилившиеся к концу его жизни, не соответствовали представлению о нем как о замечательной личности.

Однажды, когда полководец особенно много «чудил», соблюдая при этом величайшую серьезность, Фукс набрался смелости и прямо спросил его о причине такого поведения.

— Это моя манера, — ответил Суворов. — Слышал ли ты о славном комике Карлене? Он на парижском театре играл арлекина, как будто рожден арлекином, а в частной жизни был пресерьезный и строгих правил человек: ну, словом, Катон.

Этот иносказательный ответ ценен, прежде всего, тем, что в нем признается нарочитость причуд, «манера».

Причуды Суворова — это безумие Гамлета, это искусная маскировка его неизменной фронды к правящим кругам.

Нет сомнения, что по самой сущности своей Суворов обладал глубоко оригинальной натурой. Долголетнее пребывание среди солдат развило в

нем новые привычки, которые с точки зрения «высшего общества», в свою очередь, рассматривались как чудачества. В большинстве случаев подобная оригинальность резко ограничивалась под влиянием общепринятых правил. Однако Суворов сознательно дал простор особенностям своей натуры.

Они выделяли его из толпы незнатных, не блещущих ни осанкой, ни светской ловкостью офицеров.

Они создавали ему популярность в солдатской среде: «Александр не сжег Афин, чтобы в гостиницах рассказывали о его гаэрствах. Пусть же и о моих солдатских проказах говорят в артелях».

Наконец, в условиях неприязи правящих сфер они создавали вокруг него некую атмосферу безнаказанности, предоставляли ему хоть какую-нибудь независимость суждений и действий.

С течением времени этот последний мотив сделался преобладающим. Известность его стала очень большой. Солдаты любили его и без причуд — и, конечно, не за причуды, а за его военные качества, за то, что он не бросал их зря под пули, а вел кратчайшим путем к победе, деля с ними на этом пути все опасности. Но недоброжелательство вельмож росло по мере роста его славы, и Суворову все труднее становилось отстаивать свою систему и свои принципы. В связи с этим он все чаще укрывался, как щитом, своими причудами.

— Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном; шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который при Петре благодетельствовал России, кривлялся я и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых; я хотел бы иметь благородную гордость Цезаря, но чуждался бы его пороков.

Долгое время эта своеобразная мимикрия имела успех. Маска простака и чудака сослужила не раз Суворову службу. Но постепенно ее научились распознавать.

— Тот не хитер, кого хитрым считают, — говорил полководец, наивно радуясь, что все судят о нем как о безвредном оригинале.

На самом же деле опытные люди разгадали его уловку. Принц де Линь именовал его Александром Диогеновичем, а Румянцев сардонически заметил:

— Вот человек, который хочет всех уверить, что он глуп, и никто не верит ему.

Мало-помалу принятая на себя Суворовым роль стала доставлять все меньше преимуществ; однако он уже слишком вжился в нее, чтобы под конец жизни менять свое обличье. Теперь, когда его славы никто не мог от

него отнять, он имел возможность с большей смелостью выражать свое отношение к людям и обычаям в той форме, какая ему нравилась.

Этим он наносил себе большой вред. Один из суворовских историографов метко выразился: «Обыкновенно ищут в человеке, чтобы он был не только годен на дело, но и удобен для употребления в дело, сплошь да рядом отказываясь от удовлетворяющего первому условию, если он кажется не имеющим второго. Исключения очень редки; исключением служит, например, Петр Великий, у которого ни один годный не был неудобным. Суворов был неудобен вследствие резкой своей оригинальности... А что Суворов-чудак тормозил карьеру Суворову-полководцу и повредил его военной славе, это понятно не только теперь, но было видно и тогда».

В том-то и дело, что Суворов нередко жертвовал карьерой ради возможности сохранить хоть некоторую самостоятельность. А мнение «высшего света» он глубоко презирал, он стоял выше него, как это свойственно подлинно замечательным людям.

Оставаясь наедине с самим собою или будучи в обществе человека, которого он уважал, Суворов сбрасывал свою личину и становился простым, серьезным человеком, чуждым всяких гасконад.

То же случалось, когда ему приходилось представлять русскую армию при каких-нибудь торжественных событиях.

— Здесь я не Суворов, а фельдмаршал русский, — пояснил он однажды эту перемену.

Внутренняя жизнь Суворова оставалась загадкой для окружавших его.

Незадолго до его смерти, в 1800 году, он сказал художнику Миллеру, писавшему с него портрет:

— Ваша кисть изобразит видимые черты лица моего, но внутренний человек во мне скрыт... Я бывал мал, бывал велик.

Суворову как человеку были присущи многие отрицательные черты: деспотичность, нетерпимость, пристрастие и т. п.

Однако ни страшные картины войны, ни личные невзгоды, ни постоянный холод внутреннего одиночества не могли запятнать его человеческого достоинства и остудить его горячего, хотя часто ошибавшегося сердца. Мнение о Суворове определялось во многом тем, что в нем не было внешней обходительности, которая в общечитии служит часто основанием для суждения о человеке.

Вспоминая моральный облик Суворова, хочется отнести к нему слова из одной эпитафии, посвященной когда-то другому великому человеку:

Другие лучшими казаться ввек хотят,
Он был ввек лучшим, чем казался.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД

В военной истории человечества нельзя найти столь драматического эпизода, как швейцарский поход Суворова. Все соединилось здесь: ледяная стужа; непроходимые горы и стерегущие бездонные пропасти; энергичный, гораздо более многочисленный враг; отсутствие припасов и одежды; отсутствие патронов; незнание местности и непривычка к горным условиям; наконец, изменническая политика Австрии, сцепление роковых обстоятельств, опрокидывавшее все расчеты, какая-то несчастная звезда, омрачавшая первые шаги армии и преследовавшая ее во все продолжение похода... И, несмотря на это, отряд Суворова не растаял, не погиб, вышел из окружения; полководец перенес все тяготы наравне со своими солдатами, а солдаты проявили такую исполинскую мощь духа, такую стойкость, что их ужасный марш в тесно сжатом кольце врагов поразил всю Европу.

«В Вене ваше последнее чудесное дело удостоивают названием *une belle retraite*^[58]; если бы они умели так ретироваться, то бы давно завоевали всю вселенную», — писал Суворову РаSTOPчин. Противник русских в Швейцарии, любимый наполеоновский маршал Массена, впоследствии с завистью говорил, что отдал бы все свои победы за один швейцарский поход Суворова.

...Когда все старания фельдмаршала отложить поход, не вызывавшийся стратегической обстановкой и к которому совершенно не были готовы русские войска, когда эти старания оказались тщетными, было приступлено к срочному составлению плана новой кампании.

Корпус Римского-Корсакова был расположен впереди Цюриха, вдоль реки Лимата; корпус Готце — по реке Линте и у Валленштадского озера; в Саргансе и дальше до Диссентиса стояли австрийские отряды Елачича и Линкена. Ввиду ухода главных сил эрцгерцога Карла все эти войска в совокупности (45 тысяч человек) составляли лишь немногим более половины французской армии. Прибытие Суворова с 20 тысячами русских солдат до некоторой степени уравнивало численность с войсками противника, а качество солдат и ореол полководца создавали шансы на успешность борьбы.

Для движения из Италии в Швейцарию имелось несколько путей.

Суворов мог идти в долину верхнего Рейна на соединение с Линкеном, далее — через Кур и Саргане — соединиться с Елачичем и Готце.

Протяжение пути до соединения с Готце (от города Таверно) равнялось 170 верстам.

Другой путь вел через Сен-Готардское ущелье в долину Рейсы, к городу Альторфу, оттуда к Швицу на соединение с Римским-Корсаковым и к Гларису — на соединение с Готце. Этот вариант был выгоден тем, что нужно было пройти только 135 верст (от Таверно до Швица), главное же, заняв Швиц, Суворов выходил на фланг и тыл главных сил Массены.

Правда, кружное движение на Кур было легче по местным условиям, и неприятель мог встретиться здесь в менее значительных силах. Но Суворов опасался, что пока он будет совершать этот марш, Массена разобьет корпуса Корсакова и Готце, да и по всему складу его военного дарования ему больше по душе приходился энергичный второй вариант. «Истинное правило военного искусства, — писал он Готце, — прямо напасть на противника, с самой чувствительной для него стороны, а не сходитья, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым смелым наступлением». Что касается трудностей пути, то Суворов не мог ясно представить их, потому что ни когда не бывал в тех краях; но вера его в русских солдат была безгранична, и он был убежден, что они преодолеют все трудности, что еще раз «невозможное» станет для них возможным^[59].

Это был рискованный план, однако австрийцы еще больше увеличили заложенный в нем элемент риска. Суворов был настолько озабочен полным незнакомством с условиями нового театра войны, что послал набросанный им план на консультацию Готце и в то же время потребовал прикомандирования к нему нескольких офицеров австрийского генерального штаба, хорошо знающих местность. К нему прибыли девять офицеров во главе с подполковником Вейротером, сразу принявшим на себя функции стратегического воротилы. Ответ Готце был получен Суворовым уже после выступления. Австрийский генерал соглашался с диспозицией похода, но рекомендовал внести в нее ряд поправок: место соединения он выносил от Глариса к Эйнзильдену и Швицу, куда намеревался продвинуть свои войска, подтянув туда же 5 тысяч человек из корпуса Римского-Корсакова и отряды Линкена и Елачича. Полагаясь на опыт Готце в Швейцарии, Суворов одобрил его коррективы и поручил Венротеру составить окончательную диспозицию.

Новый вариант плана чрезвычайно увеличивал трудности: своевременное соединение отдельных колонн, разобщенно движущихся из далеко отстоящих точек, было трудно исполнимо по условиям местности; кроме того, этот замысел как бы предполагал совершенное бездействие

мощного противника, в виду которого должны были происходить все передвижения.

Но как бы ни был рискован и трудно выполним план кампании, неукротимая решимость полководца и доблесть солдат могли восполнить его недостатки. Исход швейцарского похода мог быть совсем иным, если бы не дальнейшая цепь неожиданностей.

Австрийцы снабдили Суворова неправильной информацией о расположении французов и об их численности (Готце сообщил, что у Массены 60 тысяч человек, а на самом деле их было 84 тысячи).

Что еще хуже, весь план, как вскоре выяснилось, был построен на грубейшем незнании топографии края: Готце указывал, что из Альторфа в кантон Швиц идет вдоль Люцернского озера «пешеходная тропинка»; аналогично этому, в разработанной Вейротером диспозиции говорилось: «колонна выступает из Альторфа до Швица и идет тот же вечер 14 миль далее». Между тем никакого сухопутного сообщения между Альторфом и Швицем не существовало. Здесь был тупик. Сообщение поддерживалось исключительно через Люцернское озеро, на котором полностью главенствовала французская флотилия. Это сводило к нулю весь план.

Если Суворову может быть брошен упрек в недостаточно тщательной проверке сведений, то поведение австрийцев, уже долгое время воевавших в Швейцарии, носило откровенно изменнический характер. Недаром барон Гримм несколько позже писал русскому послу в Лондоне, Воронцову: «Я не знаю, чем все это кончится, что с нами будет, но я спрашиваю: сколько французская Директория платит за все это и кому именно?»

И все-таки, вопреки сомнительному стратегическому плану, вопреки заложенной в нем грубой ошибке, суворовские «чудо-богатыри» восторжествовали бы и над врагом, и над коварным союзником, и над альпийскими безднами. Изучение кратковременного, но столь насыщенного событиями швейцарского похода дает достаточно оснований для такого вывода. И если этого не случилось, если поставленные перед походом цели не удалось осуществить и армии пришлось с трудом пробивать себе дорогу из окружения, в этом повинны новые неблагоприятные факторы, новые беды, в изобилии выпавшие на долю русских войск.

Пресловутое суворовское «счастье» решительно покинуло на этот раз измученного, преданного союзниками и собственным императором полководца. В этом была своя глубокая закономерность. Война 1799 года не могла закончиться победой Суворова. Его гений и изумительные боевые качества воодушевленных им солдат могли еще не однажды склонять на

свою сторону военную фортуна. Но за плечами Суворова стояли монархическая Россия и Австрия, стоял тяжкий реакционный режим, который должен был проявить свое бессилие перед идеями великой французской революции и несомыми ею экономическими изменениями. Правда, это было уже не «освободительное движение человечества» (Сталин) периода расцвета революции. Оно было отравлено восторжествовавшей после 9 термидора буржуазной контрреволюцией. Но все же обездоленным массам мерещился на остриях штыков французских солдат прежний лозунг: «Мир хижинам, война дворцам» — и казалось, что эти штыки помогут им по-новому устроить их жизнь.

В этом была сила республиканских армий, их преимущество над метавшимся в узах феодального режима, но крепко прикованным к нему Суворовым. Только когда французская революция была задушена наполеоновской реакцией, когда французские знамена перестали быть средоточием общих надежд и власть французов из источника нового свежего социального порядка сделалась ярмом для других наций, только тогда созрели предпосылки для их поражения.

Поэтому не то удивительно, что Суворов не осуществил оккупацию Парижа. Удивительно то, что он так успешно сражался против республиканцев, начальствуя над людьми, которыми не двигали никакие социальные идеи, которые были в своей отчизне бесправными и забытыми и в которых он сумел все же разжечь такое чувство воинской доблести и доверия к полководцу, что их героизм оказывался выше героизма их противников.

Из числа французских крепостей, продолжавших оказывать в Италии сопротивление, наиболее сильной была Тортона. Поражение французов под Нови лишило гарнизон этой крепости почти всякой надежды на освобождение. Тем не менее, Тортона не сдавалась. Осада принимала затяжной характер, и Суворов в нетерпении начал приготовления к штурму. Тогда комендант крепости предложил заключить перемирие на двадцать дней с условием, что если до конца этого срока французская армия не явится на выручку Тортоны, крепость капитулирует на почетных условиях. Суворов рассчитал, что пробитие брешей в толстых казематированных постройках крепости отнимет тоже немалый срок и, дабы избежать потерь, принял предложенные условия. Конвенция была заключена 22 августа.

Выяснив неизбежность швейцарского похода, Суворов не счел возможным терять время под Тортоной.

За три дня до истечения срока конвенции, 7 сентября, русские войска

двинулись к Сен-Готарду. Но в тот же день под Тортоной показались колонны французов, шедшие на освобождение крепости. Хотя формально фронт в Италии держала уже исключительно австрийская армия, хотя в Швейцарии австрийцы показали пример вероломства, Суворов, не задумываясь, приказал повернуть обратно. Увидев возвратившиеся русские корпуса, Моро снова отступил в горы. Тортона в назначенный день сдалась австрийцам, но русские потеряли несколько дней. Вместо 7-го они окончательно выступили 10-го, и эти три дня как нельзя лучше сумел использовать в Швейцарии Массена.

Французский главнокомандующий основал свой план на том, чтобы разбить Римского-Корсакова и Готце до появления Суворова. Фельдмаршал проник в его замыслы. Он убедился уже, что имеет дело с необычайно решительным противником, использующим каждый благоприятный шанс. Суворов более не повторял излюбленного им когда-то желчного афоризма Канта: «Всякий француз есть прирожденный танцмейстер». Он уважал отвагу и энергию французов и поэтому отлично уяснял, какой опасности подвергаются союзные войска в Швейцарии. В одном письме, отправленном в августе из Асти, он прямо писал: «Не ручаюсь, как пройду через горло сильного неприятеля только с 12 тысяч. Там русских 33 тысячи; хорошо хоть бы довести до 60 тысяч по малой мере. Мне надобно туда верные 100 тысяч»^[60].

Рыцарское возвращение к Тортоне отняло три дня, Суворов решил возместить их быстротой марша. За пять суток его войска прошли 150 верст и прибыли в город Таверно, у подножия Швейцарских Альп. По договоренности с Меласом, русские должны были получить здесь двенадцатидневный запас продовольствия и 1430 мулов, на которых предстояло везти в горах вьюки и артиллерию. Ни того, ни другого австрийцы не приготовили.

Суворов пришел в неистовство. «Нет лошаков, нет лошадей, а есть Тугут, и горы, и пропасти, — писал он РаSTOPчину и с горькой иронией добавлял, — но я не живописец». Он разослал курьеров к Меласу, к Павлу, к австрийскому императору, возмущался «двусмысленными постыдными обнадеживаниями» своих союзников, негодовал, что «Тугут везде, а Готце нигде». У него все сильнее крепла мысль, которую он через полгода высказал Фуксу:

— Меня выгнали в Швейцарию, чтобы там истребить.

До него тоже доходят слухи о подкупе, слухи, заслужившие, как мы видели, доверие Гримма. В одном письме Суворова встречаются очень многозначительные слова: «Французы брешут, что мне здесь не быть: они

подкупают в Вене. — Правда, даже у меня много якобинцев в бештимтзагерах»^[61]. Письмо это было отправлено из Италии незадолго перед выступлением в Швейцарию.

Но Суворов был из тех людей, которые мужественно пьют чашу до дна. Мысль об отмене похода не приходила ему в голову. Он использовал все возможности и через четыре дня раздобыл у австрийцев несколько сот мулов. Вместо недостающих мулов под вьюки были употреблены степные казацкие лошади, и 21 сентября поход возобновился.

Еще пять дней — с 15 по 20 сентября — пропали даром. Как показали события, эта потеря оказалась невознаградимой: Массена успел привести в исполнение свой замысел.

Одну колонну — под начальством Дерфельдена — Суворов направил прямо на Сен-Готард; другая колонна — под командой Розенберга — пошла на Диссентис, в обход Сен-Готарда.

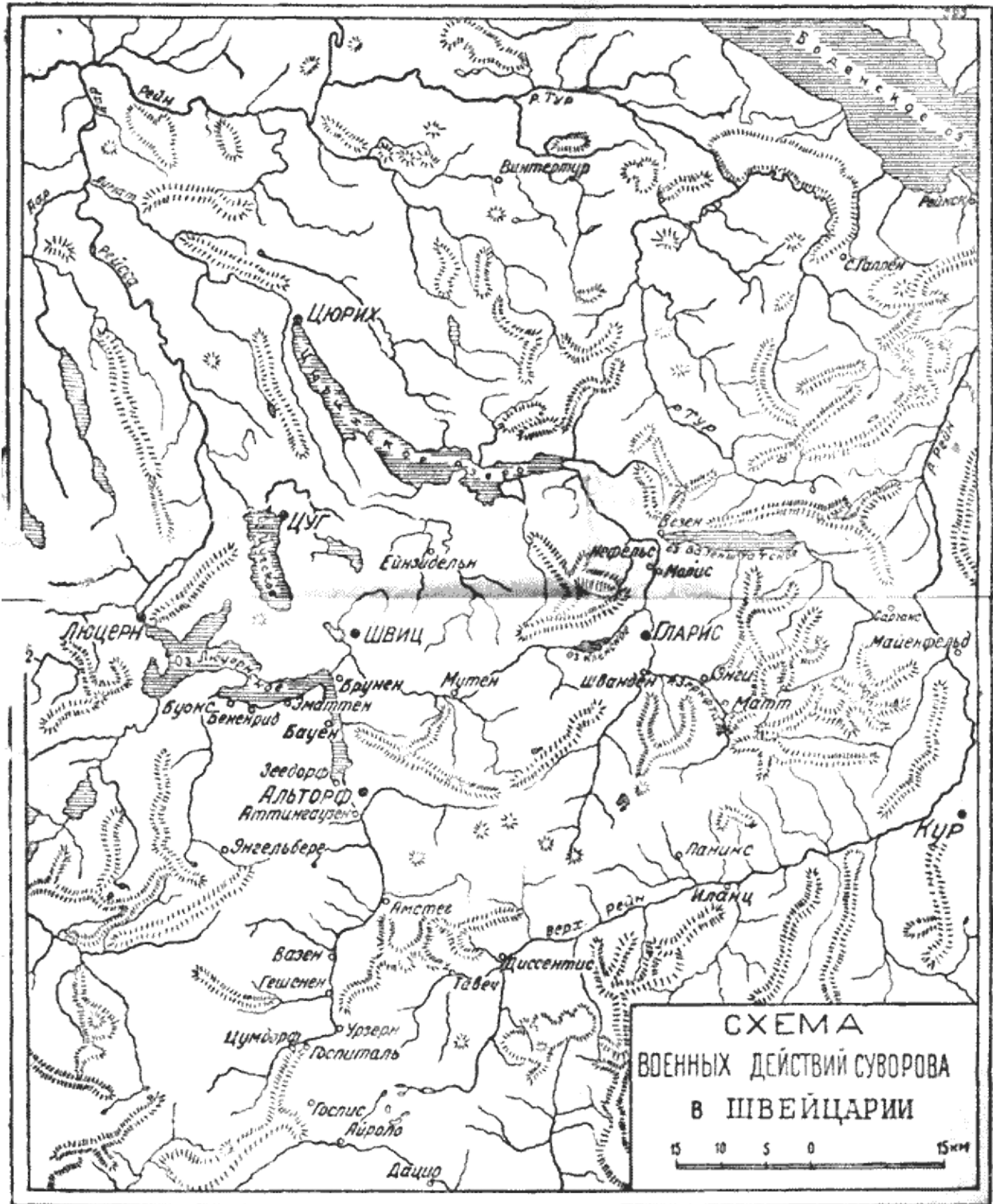


Схема военных действий Суворова в Швейцарии.

Суворов находился при корпусе Дерфельдена. Он ехал на каурой казачьей кобыле, укрытой от ледяного ветра только тонким синим плащом,

почему-то прозванным среди солдат «родительским» (хотя он был сшит в Херсоне), в круглой не по сезону шляпе с широкими полями. Рядом с ним ехал шестидесятипятилетний швейцарец Антонио Гамма. Фельдмаршал останавливался в Таверно в его доме и так обворожил старика, что тот покинул семью и отправился вместе с ним. Суворов недаром растрачивал свои чары: во время злополучной кампании. Гамма оказал крупные услуги в качестве проводника и переводчика.

Погода все время стояла скверная. «Дождь лил ливнем, резкий ветер с гор прохватывал насквозь», — описывает путь один из участников. То и дело приходилось перебираться через потоки по пояс в холодной воде. Французская пехота была снабжена специальной обувью на железных шипах, но австрийцы, конечно, не заготовили такой для русских. Солдаты, не привыкшие к горным дорогам и обремененные тяжелой кладью, выбивались из сил. В три дня было пройдено 75 верст, но люди и животные были утомлены, как будто они проделали гораздо более длинный путь.

Близ деревни Айроло расположились передовые отряды противника, французов было всего 9 тысяч — вдвое меньше, чем русских, но выгоды позиции и знание местности давали им огромное преимущество.

Солдаты с некоторым смущением глядели на обступившие их угрюмые горы, на каменистые кручи и глубокие ущелья, в которых гремели горные потоки.

Фронтальная атака Сен-Готарда была необычайно трудным предприятием. Однако бездейтельно ждать результатов начатого Розенбергом глубокого обхода Суворов не мог. Он опасался, что предоставленный самому себе Розенберг потерпит неудачу; отчасти сказалось и то, что в нем не было обычной уверенности, он явно нервничал, понимая, как трудно приходится солдатам.

Утром 24 сентября Суворов повел лобовой штурм Сен-Готарда. Войска были разделены на три колонны, две из которых предназначались для неглубоких, «частных» обходов. Карабкаясь по крутым, почти отвесным скалам, колонна Багратиона обошла левый фланг французов. Те, отступив, заняли еще более сильную позицию. Укрываясь в оврагах, Прячась за камнями, они почти на выбор поражали медленно взбиравшихся по кручам солдат. Две атаки русских были отбиты с огромными для них потерями. Хотя было только 4 часа дня, но мрачные горы стали покрываться ночной мглой. Остаться на ночь в неопределенном положении, не имея известий о Розенберге и об ушедшем в новый обход Багратионе, было невозможно. Суворов приказал штурмовать Сен-Готард в третий раз^[62].

Войска снова пошли навстречу летевшим отовсюду пулям, но в этот момент на снежных вершинах показались цепи вновь обошедшего французов отряда Багратиона. — Противник поспешно отступил, Сен-Готард был занят.

В этот день русские войска потеряли 2 тысячи человек. По мнению многих военных писателей, это была напрасная жертва, так как движение Розенберга в тыл Сен-Готарда все равно принудило бы французов ретироваться. Это замечание справедливо. Но оно не учитывает того, что Суворов не мог быть уверен в успехе Розенберга, а для армии был дорог каждый час.

Отряд Розенберга, преодолев колоссальные трудности, благополучно проделал обходное движение, но тут начальник отряда совершил крупную ошибку: вместо того, чтобы немедленно завладеть в тылу у французов деревней Урзерн, что обрекало на капитуляцию оборонявшие Сен-Готард части, Розенберг промедлил и дал возможность французам уйти.

Все же боевой дебют русских солдат в горной войне оказался удачным: в течение одного дня они выбили энергичного, гораздо лучше оснащенного противника из позиции исключительной силы.

Казалось, теперь войскам открывалась дорога к Люцернскому озеру. Суворов так и полагал и в 11 часов вечера отправил Корсакову и Готце записку: «Несмотря на задержку, на следующий день рассчитываю быть у Альторфа». Однако его карты были спутаны: командующий французской дивизией Лекурб, смелый и талантливый полководец, осуществил неожиданный дерзкий маневр. Побросав в реку артиллерию, он ночью двинулся через дикий хребет Бертцберг, без дорог перевалил через горы в 8 тысяч футов вышиной и к утру спустился к деревне Гешенен, снова став на пути Суворова.

На следующий день после взятия Сен-Готарда корпуса Дерфельдена и Розенберга соединились и совместно продолжали движение к Альторфу. В расстоянии одной версты от деревни Урзерн дорога преграждалась громадными отвесными утесами. Сквозь эту естественную стену пробито было узкое, низкое отверстие, носившее название Урзернской дыры; оно имело 80 шагов длины и было настолько узко, что два человека с вьюками не могли разойтись в нем. Выходя на свет, дорога круто огибала гору и через несколько сот шагов обрывалась на берегу Рейсы. Река неслась здесь неистовым, пенистым потоком, наполняя гулом окрестности. Над нею, на высоте 75 футов, была перекинута легкая арка, дрожавшая от рева реки и вечно обдаваемая водяными брызгами. Это и был знаменитый Чортов мост.

Самая смелая фантазия не могла придумать более недоступной

позиции. Лекурб был настолько убежден в невозможности для русских прорваться здесь, что даже не стал разрушать Чортова моста, который мог пригодиться ему самому. Он разместил отряд у выхода из Урзернской дыры, поставив в отверстии пушку, а два батальона сконцентрировал за Чортовым мостом, где они, укрытые за камнями и почти невидимые для противника, держали под обстрелом узкую тропинку и арку моста.

Авангард русских войск под командой Милорадовича втянулся в Урзернскую дыру. Он был встречен смертоносным ливнем пуль и картечи и отхлынул обратно. Суворов снова прибег к неизбежным обходам. Карабкаясь по гладким скалам на головокружительной высоте, 300 человек под командой полковника Трубникова зашли в тыл защитникам Урзернской дыры. Одновременно другие 200 егерей перебрались в брод через Рейсу; река была неглубока, но каменистое дно и бешеная быстрота течения погубили немало солдат. Увидев, что переправа все же возможна, фельдмаршал выслал еще батальон, приказав вместе с первыми егерями обходить Чортов мост.

Увидав над собой Трубникова, французы, боясь быть отрезанными, стали отступать. Милорадович тотчас повел атаку через Урзернскую дыру, прорвался сквозь редкую завесу пуль и совместно с быстро спускавшимися людьми Трубникова устремился на отступавших. Французы успели столкнуть в реку свою пушку; часть их перебежала Чортов мост, остальные были переколоты и сброшены в пропасть.

Местность перед Чортовым мостом покрылась тысячами русских солдат, но прямая атака моста была невыполнима. Первые бросившиеся смельчаки были тотчас поражены пулями, русские войска залегли за камнями и открыли огонь по неприятелю. Внезапно на скалах по ту сторону моста показалась перешедшая в брод Рейсу обходная колонна. Среди французов воцарилось смятение; второпях они разрушили часть каменной кладки моста и начали медленно отступать. Арка попрежнему оставалась под обстрелом французов, но уже далеко не столь губительным, как прежде. Группа русских солдат, разобрав оказавшийся поблизости сарайчик, добралась ползком до разрушенных свай и, связав с помощью шарфов и поясов несколько бревен, перекинула их через провал. Майор Мещерский первым пробежал по этому шаткому сооружению, но сраженный пулей упал замертво. Следовавший за ним казак споткнулся и свалился в клокотавшую бездну. Но уже десятки новых смельчаков, поддерживая друг друга, падая под пулями, перебирались на берег и тотчас бросались на французов. Чортов мост был форсирован [\[63\]](#).

К четырем часам дня, после исправления арки, вся армия Суворова

перешла Рейсу и двинулась вслед за отступавшим противником. То и дело приходилось снова переходить через вьющуюся Рейсу, однако уже не в столь тяжких условиях. Лекурб всюду уничтожал мосты, но этим лишь не надолго задерживал своих преследователей. По мере приближения к Люцернскому озеру ландшафт быстро изменялся. Горы как бы раздвигались; узкая котловина сменилась широкой долиной; появились луга и пашни; снеговые вершины скрылись за зеленой короной лесов. Дивная альпийская панорама предстала перед взорами солдат. Под ногами раскинулся живописный Альторф. Армия забыла перенесенные лишения. Казалось, уже недалеко до соединения с остальными силами, а тогда, покинув непривычные жуткие горы, руководимые гением любимого вождя, войска смогут спокойно взирать на будущее.

Но тут открылась ужасная истина — тотчас вслед за Альторфом кончалась сен-готардская дорога. На озере крейсировали французские суда. Сухопутной же дороги к Швицу не было, если не считать двух тропинок через снеговой хребет Росшток, ведущих в Муттенскую долину, откуда имелось сообщение со Швицем. Осенью эти тропинки считались непроходимыми даже для опытных швейцарских охотников.

Об австрийском отряде Линкена ничего не было слышно; среди жителей циркулировали слухи о происшедшем будто бы накануне сражении, из которого французы вышли победителями. Между тем армия Суворова уже несколько дней питалась чем попало, потому что вьюки не поспевали и растянулись на тридцать верст. Легкие отряды Лекурба отбили часть обоза, а в Альторфе удалось раздобыть очень немного продовольствия. Наконец, главные силы Лекурба (6 тысяч человек), сосредоточенные близ Фирвальшtedского озера, на фланге у Суворова, ждали удобной минуты, чтобы снова обрушиться на него.

Отрезанная от базы, лишенная продовольствия, с жалкими остатками боевых припасов, с истомленными, наполовину больными людьми, армия была в критическом положении.

Ко дню прибытия в Альторф Суворов был совсем болен. Его терзал жестокий кашель, непрерывно лихорадило, слабость во всем теле достигла предела. Но в этом обессиленном теле, в котором еле тлела жизнь, осталась та же несокрушимая, стальная воля героя.

Мысль об отступлении не приходила ему в голову. Над ним довлело лишь одно соображение: он опаздывал уже на сутки к назначенному по диспозиции сроку соединения в Швице и это опоздание может повести к разгрому Корсакова и Готце. Поэтому, не дав отдохнуть измученным войскам, он на другое же утро выступил из Альторфа. Если бы Суворову

стало известно, что Массена успел уже разбить оба корпуса союзников, он, вероятно, принял бы какое-либо другое решение и предоставил бы отдых многострадальной своей армии. Но сведений не было, кроме темных, невнятных толков, столь часто обманывавших его в Италии. Верный своему долгу главнокомандующего, он решил любой ценой пробиться к ждавшим его корпусам.

Руководствуясь этим, Суворов решился совершить невиданный переход. Он избрал путь через Росшток. Только неограниченная уверенность в себе самом и в своих солдатах могла продиктовать это, казавшееся безрассудным, решение.

В пять часов утра авангард князя Багратиона начал под'ем. Тропинка делалась все круче, потом почти совсем исчезла. Солдаты взбирались поодиночке, цепляясь за колючий кустарник. Из-под ног сыпались шиферные камешки и скользкая глина. Затем потянулась полоса рыхлого снега, в котором люди вязли по колена. Артиллерию и зарядные ящики всю дорогу подтаскивали на руках. Лошади и мулы то и дело срывались в пропасть, увлекая с собою драгоценные тюки с припасами. Путь армии был усеян трупами людей и животных.

«Каждый неверный шаг стоил жизни, — свидетельствует историограф этого изумительного перехода Милютин. — Часто темные облака, проносясь по скатам горы, охватывали колонну густым туманом, обдавали холодной влагою, до того," что войска были измочены, как проливным дождем. Погруженные в сырую мглу, они продолжают лезть ощупью, не видя ничего ни сверху, ни снизу. Выбившись из сил, на время приостановятся, отдохнут — и снова начинают карабкаться».

Расстояние между Альторфом и деревней Муттен равно шестнадцати верстам. Через двенадцать часов после начала этого страшного перехода авангард русских войск перевалил через хребет. Прогнав беспечно стоявший сторожевой отряд французов, он вошел в деревню Муттен. В это время хвост армии еще пребывал в Альторфе, так как по тропинке приходилось пробираться гуськом.

Наступившая ночь была ужасна для тех, кто был застигнут сю на скатах горы. Каждый остался до утра на том месте, где его застала темнота. Не бы» ло укрытия от ветра и снега; израненные, обмороженные руки не в силах были сжимать ненадежную точку опоры. Многие обрывались и, проносясь мимо своих товарищей, находили смерть на острых камнях пропасти.

Лекурб пытался атаковать в Альторфе русский арьергард, но был отбит и более не возобновлял попыток. Передавали, что отважный француз, узнав

о переходе русской армии через Росшток, выразил свое восхищение и преклонение перед нею.

Суворов тотчас выслал из Муттена разведку. Посланные вернулись с роковой вестью: и Корсаков и Готце разбиты и отступили; Муттенская долина окружена подавляющими силами Массены.

В результате героического перехода армия не только не улучшила своего положения, но оказалась в подлинной мышеловке.

Суворов с окаменевшим лицом выслушал это сообщение.

— Готце! — воскликнул он. — Да они уже привыкли, их всегда били. Но Корсаков, Корсаков — 30 тысяч и такая победа равным числом неприятеля.

Поражение Римского-Корсакова произошло 25 сентября, в день, когда Суворов штурмовал Чортов мост. Вынужденная задержка в Таверно позволила французам подготовить удар. Массена и Мортье обрушились на русских. Корсаков и помощник его генерал Дурасов проявили полнейшую растерянность. Только стойкость солдат, по собственному разумению исправлявших ошибки командования, предотвратила совершенный разгром. Все же в Цюрихском сражении корпус Корсакова потерял большую часть своего состава убитыми и пленными, двадцать шесть орудий, девять знамен и почти весь обоз. Уцелевшие войска откатились до самого Рейна.

В тот же день французы под начальством Сульта нанесли страшное поражение корпусу Готце. Австрийцы бежали в совершенной панике. Сам Готце был убит. Отряд Линкена самовольно удалился без боя из Глариса.

Таким образом, ко дню прихода Суворова в Муттенскую долину, в Швейцарии не осталось ни одного полка коалиции, который мог бы оказать ему военную или продовольственную помощь. А помощь эта была бы очень кстати, «В продовольствии, — рассказывает один участник похода, — чувствовался большой недостаток; сухари от ненастной погоды размокли и сгнили; местные селения были бедны и ограблены французами... Мы копали в долинах какие-то коренья и ели... Мяса было так бедно, что необходимость заставляла употреблять в пищу такие части, на которые бы в другое время и смотреть было отвратительно. Даже и самая кожа рогатой скотины не была из'ята из сего употребления: ее нарезывали небольшими кусками, опаливали на огне шерсть, обернувши на шомпол, и, таким образом, ели полусырую».

Несколько тысяч изнуренных людей, без хлеба, без патронов, стояли лицом к лицу с восьмидесятитысячной свежей могучей армией, союзником которой являлись непроходимые горы и холод. Борьба была безнадежна.

Казалось, остается только капитулировать.

В том, что для русской армии нет выхода, что она должна будет сдаться, не сомневался сам Массена. Выезжая из Цюриха к Муттену, он с усмешкой заявил пленным русским офицерам, что через несколько дней привезет к ним фельдмаршала и великого князя.

Среди офицеров суворовской армии также начался шепоток о почетной сдаче. Быть может, только у одного человека ни разу не мелькнула эта мысль — у больного, пылавшего в жару семидесятилетнего старика, который, сидя в казацком седле, делил с солдатами все невзгоды.

Первой мыслью Суворова было устремиться на Швиц, где можно было раздобыть продовольствие. Но благоразумие взяло верх: рано или поздно его пятнадцатитысячная армия была бы уничтожена сытыми, обеспеченными боевыми припасами дивизиями Массены. Тогда он решил пробиваться на Гларис, где надеялся соединиться с Линкеном и, отдохнув, «обновить» кампанию. Войскам предстояли новые невероятные затруднения. Надо было поднять их дух, перелить в них, от генерала до последнего солдата, неукротимую волю к борьбе. Суворов созвал на 29 сентября военный совет^[64].

Явившийся первым Багратион застал Суворова в необычайном волнении. Одетый в фельдмаршальский мундир, при всех орденах и регалиях, он ходил скорыми шагами по комнате и, не замечая Багратиона, бросал отрывистые слова:

— Парады... Разводы... Большое к себе уважение... Обернется — шапки долой... Помилуй господи... Да, и это нужно — да во-время... А нужнее-то — знать вести войну... Уметь бить... А битому быть не мудрено! Погубить столько тысяч... И каких... В один день... Помилуй господи...

Багратион тихо вышел, оставив фельдмаршала в тревожном раздумье. Повидимому, перед ним проносились жуткие призраки всех тех, кто были настоящими властителями армии и по чьей вине гибли теперь многие тысячи русских и подвергалась суровому испытанию его собственная слава.

Когда собрались все приглашенные, Суворов заговорил. Это не был более суматошный, чудаковатый старик. Голос его звенел от сдерживаемого волнения, энергичная речь электризовала слушателей. Он сделал краткий обзор итальянской кампании, перечислил все происки австрийцев, обрисовал старания удалить его из Италии. Он осудил преждевременное выступление из Швейцарии эрцгерцога Карла, приведшее к поражению

Корсакова, и с горечью упомянул о роковой потере пяти дней в Таверно.

— Теперь мы среди гор, — подвел он итоги, — окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Итти назад — постыдно; никогда еще не отступал я. Итти вперед к Швицу невозможно: у Массены свыше шестидесяти тысяч, у нас же нет и двадцати. К тому же, мы без провианта, без патронов, без артиллерии... Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели... Одна остается надежда: на бога, да на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские!..

Голос его пресекся, и он, не стыдясь, заплакал.

Генерал Дерфельден от имени всех присутствовавших заявил, что войско готово безропотно итти всюду, куда поведет его великий полководец.

Суворов оживился. Глаза его заблестали.

— Да, — сказал он с уверенностью, — мы — русские, мы все одолеем!

На следующий день Багратион выступил с авангардом в направлении на Гларис. За ним следовала дивизия Швейковского. Корпус Розенберга остался в Муттене удерживать приближавшегося от Швица неприятеля.

Массена, лично руководивший операциями, обладал крупным превосходством в силах. Но произведенный им натиск не увенчался успехом. Полки Милорадовича и Ребиндера совместно с казаками Грекова опрокинули французов и гнали их на расстоянии четырех верст. С зарею Массена опять повел атаку — и снова неудачно. Безостановочно преследуемые русской пехотой, французы в беспорядке отхлынули обратно. Поблизости от Муттена протекает речка Муота. Боковые стенки перекинутого через нее каменного моста были сломаны, так что осталась одна арка. Это обстоятельство оказалось роковым для французов. Мост был сразу загражден бежавшими французскими солдатами, всадниками, зарядными ящиками и увозимыми орудиями. Возникла ужасная давка, в результате которой люди десятками скатывались в реку. Казаки преследовали беглецов до самого Швица. Это была редкая в военной практике победа изможденных, окруженных, отступающих войск над гораздо более многочисленным, свежим, победоносным противником. Она показала, что суворовской армии было незнакомо уныние и что боевой дух ее оставался непоколебимым.

Задача арьергарда была, таким образом, блестяще выполнена, и он мог следовать за ушедшей к Гларису армией. Желая оторваться от противника, Розенберг прибег к хитрости: он послал магистрату Швица распоряжение приготовить на 2 октября продовольствие для 12 тысяч русских, которые якобы войдут в город. Массена, разумеется, тотчас узнал об этом, и весь

день ожидал приближения русских, в то время как Розенберг тихо снялся с бивака и пошел к Гларису^[65]. Французский полководец никогда не мог простить себе, что попался на эту уловку. Убедившись, что догнать русских не удастся, он бросился кружным путем к Гларису.

После панического отступления Линкена Гларис был занят французской дивизией Молитора. Отряд Багратиона героически атаковал французов, но условия местности и здесь представляли огромные выгоды для обороны. Ночь застала русских у подножия укрепленной горы; они лежали на снегу, не имея даже хвороста, чтобы разжечь костры. В это время подошли главные силы. Прибывший с ними Суворов отыскал Багратиона и стал буквально умолять его сделать еще усилие. Багратион взял егерский полк и четыре батальона гренадеров и, пользуясь густым туманом, пошел в обход неприятельского расположения. Добравшись по скалам в кромешной тьме до противника, солдаты бросились в штыки. Многие в темноте срывались с кручи и гибли на дне ущелья. В это время дивизия Швейковского возобновила фронтальную атаку. Комбинированный удар принудил французов отступить; с помощью прибывших подкреплений они оттеснили русские войска, но те снова обратили их в бегство. Некоторые пункты по шести раз переходили из рук в руки.

В конце концов, Гларис остался за русскими. Там нашлись кое-какие запасы продовольствия, и войска впервые за много дней получили горячую пищу. Через три дня — 4 октября — подошел арьергард Розенберга. Измученная, но все еще грозная армия могла двигаться дальше. Но куда?

Первоначальный план — соединиться в Гларисе с Линкеном и пройти затем к Саргансу, где расположились остатки корпуса Готце, — оказывался несостоятельным: Линкена и след простыл, а на пути в Саргане стояла армия Массены. В иных условиях Суворов не задумался бы напасть на Массену, но у русских совершенно иссякли патроны, войска в полном смысле слова голодали и так оборвались, что походили на сборище нищих. Генерал Ребиндер ходил в ботфортах без сапог, обернув ступни ног кусками сукна, чтобы хоть немного предохранить себя от снега и острых камней; солдаты не имели и этого.

Вновь созванный военный совет постановил уклониться от дальнейшего боя и, стремясь лишь к сохранению армии, повернуть на юг, в долину Рейна, на Иланц. Там, соединившись с Корсаковым и притянув артиллерию, можно было возобновить кампанию.

Оставив в Гларисе на великодушие французов тяжело больных, армия Суворова в ночь на 5 октября начала свой последний швейцарский переход.

Путь, предстоявший русским войскам, был еще труднее, чем все

прежние переходы. Надо было перебраться через снеговой хребет Ринненкопф (Паникс). Узкая тропинка, кружившая по краям отвесной кручи, сделалась совсем непроходимой, из-за неожиданно выпавшего в горах снега. Этот внезапный снегопад явился тяжелым завершением тех неудач, которые преследовали армию во все время швейцарского похода.

Пока Багратион прикрывал под Гларисом движение главных сил, выдерживая без патронов и без снарядов ожесточенные атаки французов, авангард Милорадовича начал страшный под'ем на Паникс. Теперь нечего было и думать перетащить артиллерию; оставшиеся 25 орудий были сброшены в пропасть, либо зарыты в землю. Около 300 выюков с продовольствием погибли из-за невозможности удержать скользивших по обледенелому снегу мулов и лошадей.

Солдаты с завистью вспоминали переход через Росшток. Чем выше, тем труднее было идти; местами приходилось ползти на четвереньках по обледенелой, гладкой коре. Все проводники разбежались, и войска лезли наобум, проваливаясь часто в снежные сугробы. Вьюга сметала все следы, так что каждому человеку приходилось искать самому точку опоры. Срываемые бурей камни с грохотом неслись в бездну, увлекая нередко людей. Каждый неверный шаг стоил жизни. Споткнуться значило умереть.

Суворов с горевшими от лихорадки глазами ехал среди солдат, дрожа от порывов ветра под своим легким плащом.

— Ничего, ничего, — повторял он, — русак не трусак... Пройдем.

Два казака вели под уздцы его лошадь. По словам очевидца, фельдмаршал порывался пойти пешком, но его телохранители молча придерживали его в седле, иногда с хладнокровием говоря:

— Сиди! — и Суворов покорно подчинялся им.

Гак взобрались на вершину Паникса.

Ни одна тропинка не вела вниз — только крутые, обледенелые обрывы. Передовые, попробовавшие спуститься, почти все погибли. Не было ничего, за что можно было бы удержаться при падении — ни деревца, ни кустика, ни даже выступающего утеса.

Сделалась такая стужа, что руки и ноги не повиновались; много солдат замерзло.

Тогда кому-то пришла в голову мысль сесть на край пропасти и покатиться в мрачную бездну. Тысячи людей последовали этому примеру. Прижимая к телу ружья, солдаты и офицеры неслись в бездонную пропасть. Уцелевших лошадей таким же манером сталкивали вниз. «Сие обстоятельство, — говорит участник похода Грязев, — действительно зависело от случая: иные оставались безвредны, но многие ломали себе

шеи и ноги и оставались тут без внимания со всем багажом своим».

К полудню 7 октября армия, перебравшись таким путем через хребет, собралась в деревне Паникс, а вечером прибыла в Иланц^[66].

Швейцарский поход был закончен.

— Орлы русские облетели орлов римских, — с гордостью произнес Суворов, оглядывая оборванных, исхудалых, но попрежнему бодрых солдат.

Беспримерные дни этого похода были грозным испытанием и для полководца и для русской армии. Испытание это было выдержано столь блестяще, что четырехнедельная кампания явилась венцом славы Суворова и окружила ореолом величия русский народ. Эта кампания показала, что сила духа русского солдата, его энергия и упорство могут быть доведены до таких размеров, что способны одолеть самые невероятные препятствия: физические лишения, природу и врагов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

В ЧАСЫ, когда Суворов, ежась от стужи, пробирался над провалами Паникса, его мысль неустанно работала над планом новой кампании. Прямо с Паникса он отправил эстафету эрцгерцогу Карлу о том, что готов снова предпринять наступление, если австрийцы поддержат его войсками, продовольствием и боевым снаряжением. Несколько дней спустя он послал эрцгерцогу конкретный план наступления, но, не дождавшись ответа, резко изменил свои намерения. До него дошли сведения о чрезвычайном обострении отношений между Веной и Петербургом: крепкий «задним умом», Павел сообразил, наконец, к чему привела русскую армию двуличная политика ее союзников; были запрещены молебны об австрийских победах, курьерам к Суворову приказано ездить, не заезжая в Вену, и т. п. Суворову император прямо писал: «Главное — возвращение ваше в Россию и сохранение ее границ».

Быть может, острое чувство горечи от безрезультатности швейцарского похода побудило бы фельдмаршала все-таки «обновить» войну. Но его переговоры с австрийцами приняли весьма неблагоприятный оборот. Эрцгерцог не желал в точности сообщить, какое количество солдат он выставит в помощь Суворову, и вообще так повел дело, что созванный фельдмаршалом военный совет единогласно решил: «Кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды; чего ради наступательную операцию не производить».

30 октября суворовская армия соединилась с корпусом Римского-Корсакова и с эмигрантским корпусом принца Конде; войска расположились на отдых близ Боденского озера. Австрийцы прилагали все усилия, чтобы договориться о новой кампании. Однако Суворов отклонил предложение о свидании с эрцгерцогом, пояснив графу Толстому, что «юный эрцгерцог Карл хочет меня обволшебить своим демосфенством»; переписка же обоих главнокомандующих от раза к разу приобретала все более раздраженные тона. Суворов услышал, будто австрийский император намерен лишить его мундира австрийского фельдмаршала, и этот слух подбавил горечи к существовавшим неудовольствиям.

По поводу одного замечания эрцгерцога о военном искусстве он отозвался: «Суворов разрушил современную военную теорию, потому правила искусства принадлежат ему». Иногда он допускал в письмах к эрцгерцогу явно обидные, даже оскорбительные выражения. Была,

например, такая фраза: «Такой старый солдат, как я, может быть проведен раз, но было бы с его стороны слишком глупо поддаться вторично». Поведение Суворова диктовалось накопившейся в нем ненавистью к австрийскому командованию. Теперь, когда его всегдашняя несдержанность возросла, он и не старался особенно скрывать своих чувств. Но к этим суб'ективным причинам прибавились другие, еще более веские.

Антагонизм между русским и австрийским генералитетом достиг высшей точки. Дошло до того, что на балу у Аркадия Суворова великий князь Константин выгнал явившуюся группу австрийских офицеров. Поведение фельдмаршала отражало в этом смысле господствовавшие в армии настроения.

Эти настроения находили себе отзвук и в дипломатических нотах русского правительства.

Когда начался швейцарский поход, Павел I еще был полон решимости раздавить французскую революцию. Его письма Суворову проникнуты ненавистью к революционному режиму.

«... Главная цель сей войны — восстановление королевства во Франции» (письмо Павла I от 7/IX 1799 г.).

«...Старайтесь достигнуть главной цели, без чего чудовище, во Франции существующее, неистребимо пребудет: разогнать правителей сей земли из Парижа и сделать из сего десятилетнего убежища всех преступлений единые развалины» (письмо Павла I от 18/IX 1799 г.).

Предвидя, что для Суворова с имевшимися у него силами окажется невозможным уничтожить французские армии, Павел измыслил разжечь во Франции новое восстание. «...Советую испытать все средства, — писал он Суворову, — прежде, нежели решиться отступить домой: старайтесь произвести инзурекций во Франции и пойдите, если можно, за ней, но не рискуйте армией» (письмо Павла I от 18/IX 1799 г.)^[67].

Однако последующие события кое-чему научили даже Павла. Бесцеремонное хозяйничанье австрийцев в Италии, приведшее даже к восстанию в Турине, начатые Веной тайные переговоры с Францией о заключении сепаратного мира, преждевременное выступление эрцгерцога из Швейцарии — все это, в конце концов, пересилило желание Павла прослыть спасителем Европы. В октябре месяце он в решительных выражениях известил императора Франца о разрыве союза между Россией и Австрией.

Суворову было предписано начать приготовления к обратному походу в Россию. Чтобы не зависеть при этом от Австрии, ему предписывалось

занять деньги у баварского курфюрста и оплачивать отныне все услуги австрийцев.

26 ноября русские войска выступили в обратный путь. Император Франц прислал Суворову отчаянный рескрипт, убеждая повременить с походом и обещая неограниченную поддержку в случае возобновления войны. «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» — подумал Суворов. Он ответил, что не может остановить войска без нового повеления, и в заключение дал австрийцам совет:

— Если хотите воевать с Францией, воюйте хорошо, ибо плохая война — смертельный яд. Всякий, изучавший дух революций, был бы преступник, умалчивая о том. Первая великая война с Францией должна быть также и последняя.

Под влиянием Англии Павел решил задержать армию в Европе; 16 декабря войска были остановлены и размещены в Богемии в верхней Австрии. Но все старания англичан оказались тщетными. Австрийцы продолжали вести вызывающую политику. Они требовали, чтобы русские войска избрали для зимовки неавстрийские области, отказывались при обмене вывезенных Суворовым пленных французов выменивать русских солдат, наконец, сорвали силой русский флаг при совместных действиях против крепости Анконы. О том, каковы стали отношения недавних союзников, можно судить из письма графа Растопчина Суворову: «Приятно мне и радостно, что вы презрением платите этой гнусной цесарской каналии. Австрийцев надобно дать бить и заставить на коленях просить милости... Славу и честь вам, смерть и презрение цесарцам»^[68]. С другой стороны, в столь возмущавшем Павла революционном режиме Франции произошли серьезные изменения. В начале ноября вернувшийся из Египта Бонапарт совершил переворот (18 брюмера), означавший такие кардинальные сдвиги в государственном строе, что в Европе воскресли были надежды на восстановление во Франции монархии.

Рупор господствовавших в Петербурге настроений, Растопчин, писал 8 ноября 1799 года Суворову: «Бонапарт опять в столице злодейств. Но я думаю, что два раза добровольно жертвою он не будет начальников сего правления в падучей болезни. Он захочет или быть римским императором или взвести на престол бурбонский бог знает кого».

Решающее влияние на перемену курса внешней политики России оказало обострение отношений с Англией.

Завоевание французами Голландии и организация там Батавской республики явились тяжким ударом для Англии и потому, что этим создавался военный плацдарм для французского десанта, и потому, что

Франция приобретала контроль над огромными богатствами голландских банкиров.

К защите своих интересов англичане опять сумели привлечь Павла I. Император отправил в Англию семнадцатитысячный русский корпус под командованием генерала Германа; там к нему должны были присоединиться 30 тысяч англичан, чтобы совместно высадиться в Голландии.

Русские войска попали в Англии в очень неблагоприятные условия. Их изолировали от населения, содержали почти как заключенных, скверно кормили и т. д. Когда начались боевые действия, англичане не выполняли своих обязательств по снабжению русского корпуса амуницией и военным снаряжением. Словом, повторялось на иной манер то же, что случилось в Италии и Швейцарии. Но в Голландии не было Суворова. Французы разгромили русский экспедиционный корпус и взяли в плен генерала Германа.

Павел I окончательно разочаровался в коварном Альбионе и с обычной экспансивностью изменил свои политические взгляды.

В начале января 1800 года Суворов получил собственноручное письмо императора: «Обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо виды венские те же, а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и не изнуряя себя мне ожидать должно... идите домой немедленно».

26 января армия двумя колоннами выступила в Россию^[69].

Сохранились известия, что, вернувшись из Швейцарии, Суворов очень тревожился о том, как будет воспринято безрезультатное окончание похода, не умалит ли оно его полувековой военной славы. Но опасения его были напрасными. Было ясно до очевидности, в чем крылась действительная причина его неудачи, а проявленные им самим и всей армией необыкновенные стойкость и мужество только укрепили за Суворовым и его войсками мировую славу. Павел присвоил Суворову чин генералиссимуса всех российских военных сил^[70] и слал ему необычайно дружеские письма: «Извините меня, что я взял на себя преподать вам совет...», «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля ни мало приедете ко мне на совет и на любовь», «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, оттого что были с вами, а других победили, оттого что не были с вами» — такими фразами пересыпаны письма императора Суворову в этот период. Армия получила щедрые награды; почти всем офицерам были присуждены ордена

и крупные денежные премии; все унтер-офицеры были произведены в офицеры; и даже нижним чином, героям Нови и Паникса, была выдана награда — каждый из них получил... по 2 рубля!

Европейские государи соперничали в выражении внимания и восхищения Суворовым. Австрийский император — не без больших, правда, дебатов в гофкригсрате — прислал ему большой крест Марии-Терезии, баварский курфюрст, сардинский король, саксонский курфюрст осыпали его наградами. Курляндская принцесса была помолвлена с Аркадием Суворовым. Лорд Нельсон в письмах снова уверял Суворова, что «в Европе нет человека, который бы любил вас так, как я».

В этом звонком хоре слышались, правда, и другие голоса. Массена напечатал самовлюбленную реляцию, в которой силился изобразить русскую армию уничтоженной им; во Франции выпускались пасквили и памфлеты против старого полководца. Суворов опубликовал веское опровержение массеновских преувеличений, а пасквили читал с удовольствием и справлялся, нельзя ли переиздать эти «бранные бумажки».

Хотя большинство склонялось к мнению, что стратегические дарования Суворова менее велики, чем его несравненный гений тактика, но все признавали его великим полководцем, отмечая, что он не был побежден ни в одном крупном сражении, что под Рымником он с 25 тысячами человек победил 100 тысяч, под Козлуджи с 8 тысячами разбил 40 тысяч, а под Треббией с 22 тысячами победил 33 тысячи.

В юношеских мечтах своих видел Суворов такую славу. Но она пришла слишком поздно; он чувствовал уже холодное дыхание смерти, воспоминания его хранили тяжкий груз обид и несправедливостей, которым он не раз подвергался в своей жизни. Лучи этой славы казались ему теплыми, но не обжигали его.

Все же он был в это время очень весел и подвижен. В последний раз ему удалось превозмочь болезнь, и он часами играл в жмурки, в фанты, в жгуты, строго соблюдая правила игры и внося в нее мальчишеский задор. Он заставлял немцев выговаривать трудные русские слова, либо подолгу повествовал об одной замечательной плясунье в Боровичах. Но под личиной веселья он таил тяжелые предчувствия. Однажды он заставил отвезти себя на гробницу Лаудона, долго стоял там и, глядя на длинную латинскую эпитафию, в задумчивости промолвил:

— Зачем это? Когда меня похоронят, пусть напишут просто: «Здесь лежит Суворов».

Ко дню выступления русских войск из Богемии в Россию он почувствовал себя нездоровым. В Кракове он сдал командование

Розенбергу и поехал вперед. Прощание с войсками было тяжелым. Полководец не мог произнести ни одного слова из-за подступивших к горлу рыданий. Солдаты безмолвствовали, понимая, что в последний раз видят Суворова.

Он еще был жив, но имя его уже стало достоянием легенды. Идя в поход, солдаты пели:

Число мало, но в устройстве.
И великий генерал.
Как равняться вам в геройстве,
Коль Суворов приказал?

Казачи, карабинеры,
Гренадеры и стрелки
Всякий на свои манеры
Вьют Суворову венки.

Новобранцы, приходя в полк, жадно слушали бесконечные рассказы ветеранов о любимом вожде.

Здравствуй, здравствуй, граф Суворов,
Что ты правдою живешь.
Справедливо нас солдат ведешь...

Справедливость была в то время очень нужна солдатам, и потому такой искренностью дышали слова их песни:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим.

Двенадцать лет спустя, когда русскому народу пришлось отстаивать свою национальную независимость в борьбе против Наполеона, русская армия, возглавляемая Кутузовым, вдохновлялась памятью о великом учителе своего вождя Суворове, о его заветах и боевых традициях.

...А сам полководец, слабея с каждым днем, медленно подвигался к Петербургу. Ему было известно, что для встречи его выработан

торжественный церемониал: придворные кареты будут высланы в Нарву, въезд в столицу будет ознаменован пушечной пальбой и колокольным звоном, в Зимнем дворце готовятся апартаменты для него. Все это тешило старика, поддерживало его дух, который, как всегда, был главной опорой его против болезни.

Тем не менее, пришлось отсрочить приезд в Петербург. Суворову стало хуже, и его, совсем больного, привезли в Кобрينو. Император немедленно отправил к нему лейб-медика Вейкарта. Суворов лечился по-обычному неохотно.

— Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашлица да квас, — говорил он полшутя, полусерьезно, — ведь я солдат.

— Вы генералиссимус, — возражал Вейкарт.

— Так, да солдат с меня пример берет...

В глубине души он не верил уже в свое выздоровление. Однажды, когда его поздравляли со званием генералиссимуса, он тихо говорил:

— Велик чин! Он меня придавит! Не долго мне жить...

В феврале он написал Растопчину: «Князь Багратион расскажет вам о моем грешном теле. Начну с кашля, в конец умножившегося; впрочем, естественно, я столько еще крепок, что когда час-другой ветра нет, то и его нет. Видя огневицу, крепко наступившую, не ел почти ничего 6 дней; а наконец осилевшую, не ел во все 12 дней. Чувствую, что я ее чуть не осилил. Но что проку? Чистейшее мое тело во гноище лежит. Сыпи, вереда, пузыри переходят с места на место. И я отнюдь не предвижу скорого конца».

Немного погодя, когда в состоянии его здоровья наступило некоторое улучшение, он сообщил Фуксу: «Тихими шагами возвращаюсь я опять с другого света, куда увлекала меня неумолимая фликтена с величайшими мучениями».

Болезнь Суворова, которую он называл фликтеной, развилась на почве перенапряжения и полного истощения всех сил организма. Словно все раны и лишения трудной семидесятилетней жизни давали себя знать. Сказывалось и то, что полководец никогда не имел компетентного медицинского ухода. Отчасти он сам был виноват в этом, но еще больше те, кто стремились лишь использовать его в своих целях, не проявляя к нему никакой заботы. Теперь, на склоне своих дней, он отдал себе отчет, в числе многих других горьких истин, и в этом. В марте он писал Хвостову: «Надлежит мне высочайшая милость, чтоб для соблюдения моей жизни и крепости присвоены мне были навсегда штаб-лекарь хороший с помощником, к ним фельдшарл и аптечка. И ныне бы я не умирал, есть ли

бы прежде и всегда из них кто при мне находился: но все были при их должностях».

Дошедшая до предела нервность и раздражительность делали Суворова нелегким пациентом. Вейкерт с трудом переносил его вспышки и резкие замечания. Единственно, что поддерживало больного, — это беспрестанные известия о всеобщем преклонении перед ним и о приготовлении к триумфальной встрече его. И вот тут дворянская Россия нанесла прославившему ее полководцу последний безжалостный удар.

20 марта^[71] император Павел отдал, при пароле, повеление: «Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременно дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии». В тот же день Суворову был отправлен рескрипт: «Господин генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов Рымникский!.. Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границею, имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава; то и удивляясь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас понудило сие сделать».

Суворов получил этот рескрипт по дороге в Петербург: незадолго перед этим Венкерт разрешил ему выехать, хотя и с соблюдением предосторожностей; лошади медленно влекли дормез, где на перине лежал больной старик. Новая нежданная опала потрясла его. У него не было уже сил бороться с судьбою. В нем сразу ослабел импульс к жизни, болезнь начала заметно прогрессировать.

В то время, как первая опала подготовлялась императором исподволь и многими предугадывалась, теперешняя была совершенно неожиданна. До последнего момента Павел ничем не проявлял своих намерений. Его письма больному генералиссимусу полны заботливости и внимания. Последнее из этих писем датировано 29 февраля; в нем император выражает надежду, что посланный им лейб-медик сумеет поставить на ноги Суворова. Затем наступил трехнедельный перерыв и 20 марта внезапный рескрипт. Больше того: столь пронизательный и ловкий придворный, как РаSTOPчин, все время оставался в неведении о назревавшей перемене в отношении Павла к тому, про кого он еще недавно сказал:

— Я произвел его в генералиссимусы; это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом.

16 марта РаSTOPчин отправил Суворову очередное письмо: «Желал бы я весьма, чтобы ваше сиятельство были сами очевидным свидетелем

радости нашей при получении известия о выздоровлении вашем»^[72]. Даже этот верный подголосок Павла не подозревал того, что произойдет через три дня.

Повод к новой немилости был так же ничтожен, как и в 1797 году; но, как и тогда, причина лежала глубже. Осыпая наградами и комплиментами прославлявшего его полководца, Павел втайне питал к нему прежние недоверие и неприязнь. Один характерный факт ярко иллюстрирует это: даровав Суворову княжеский титул, император не разрешил именовать его «светлостью». Суворов остался «сиятельством», хотя при возведении в княжеское достоинство Безбородко и Лопухина было добавлено: «с титулом светлости». С окончанием войны упорное недоброжелательство к Суворову, не сдерживаемое более обстоятельствами момента, вспыхнуло с прежней силой. Павел ни одной минуты не думал, что генералиссимус сделается теперь покорным проводником его взглядов и его системы. Командуя войсками, Суворов, конечно, расстроил бы всю с таким трудом созданную Павлом военную организацию. Этого император не мог допустить. Он предпочитал вызвать изумление Европы и скрытое возмущение всего русского населения, чем поступиться прусской муштровкой.

Раз было принято решение, нетрудно было найти предлог. Собственно говоря, таких предлогов всегда было более чем достаточно: в Петербурге знали, что окружавшие Суворова штаб-офицеры (Горчаков и другие) включают в списки представляемых к наградам фамилии людей, ничем не отличившихся, а он доверчиво скрепляет эти списки своей подписью; австрийцы всячески опорачивали полководца, обвиняя его в нелойальном к ним отношении; недруги Суворова из среды павловского окружения постоянно восстанавливали против него императора, приписывая ему почти все военные и политические неудачи.

Наконец, даже в суворовской армии имелись клеветы государя, старательно подбиравшие все факты, служившие во вред полководцу. К числу их нужно, прежде всего, отнести агента Тайной экспедиции Фукса. В августе 1799 года племянник Суворова, князь Андрей Горчаков, пишет из Италии неизменному суворовскому confidentу Хвостову: «...Если бы вы поговорили с генерал-прокурором, что находящийся здесь г. Фукс вдруг теперь зачал себе задавать тоны, теряя уважение к фельдмаршалу и к его приказаниям, выискивает разные привадки и таковые, что государь, получа от него какие-нибудь ложные клеветы, может приттить в гнев»^[73]. Таким образом, со всех сторон вокруг полководца плелась паутина интриг.

И если из массы верных и вовсе неверных фактов, которые исподтишка вменялись в вину Суворову, было выделено назначение дежурного ад'ютанта, то с таким же успехом можно было придаться к любому другому поводу.

Что касается Суворова, то, несмотря на его частые расхождения с образом действий правительства, выражавшиеся в почти неизменной фронде и подымавшиеся до высот серьезной принципиальной оппозиции против пруссифицирования армии, он оставался приверженцем монархического режима. Революция представлялась ему опасным смещением установленных граней, делающим народ «лютым чудовищем, которое надо укрощать оковами».

Но он мечтал об ином, о просвещенном и гуманном режиме.

— При споре, какой образ правления лучше, надобно помнить, что руль важен, а важнее рука, которая им управляет, — произнес он однажды, и в этой фразе слышен отзвук нередко терзавших его мыслей.

Фукс рассказывает весьма любопытный эпизод. Одного унтер-офицера, совершившего военный подвиг, Суворов представил к производству в офицеры. Из Петербурга пришел отказ, с указанием, что унтер не является дворянином и не выслужил срочных лет. Суворов был весь день мрачен и вечером со вздохом сказал:

— Дарование в человеке есть бриллиант в коре; надобно показать его блеск. Талант, из толпы выхваченный, преимуществоует перед многими другими. Он всем обязан не случаю, не старшинству, не породе, а самому себе... О, родимая Россия! Сколько из унтеров возлелеяла ты героев.

Произнесенные на сто лет ранее и услышанные Петром I, слова эти были бы встречены горячим сочувствием; услышанные Павлом I, они лишней раз подчеркнули коренное отличие взглядов их автора.

Та монархия, которую Суворов видел перед собой, знамена которой он покрывал славой, феодально-чиновничья монархия Екатерины и, тем более, Павла, вызывала в нем резкий протест; но самую сущность ее, как системы, как политического и социального порядка, он не подвергал сомнению. И новую немилость монарха он воспринял как тяжкий, незаслуженный, но непреодолимый удар.

23 апреля, когда город был залит ярким, но еще холодным весенним солнцем, Суворов медленно в'ехал в Петербург. Никто не встретил его. Для официальных кругов не было более увенчанного лаврами великого полководца; они видели в нем только нарушителя императорского указа.

Карета с больным генералиссимусом добралась до Крюкова канала, где помещался дом Хвостова. Суворов с трудом дошел до своей комнаты и

в полном изнурении свалился в постель. В это время доложили о приезде курьера от императора. Больной с заблеставшими глазами велел позвать его. Вошел Долгорукий и сухо сообщил, что генералиссимусу князю Суворову воспрещается посещать императорский дворец.

С этого дня началась последняя битва Суворова с неуклонно приближавшейся к нему смертью. Он изредка еще вставал, пробовал заниматься турецким языком, беседовал о военных и политических делах, причем ни разу не высказывал жалоб по поводу своей опалы. Но память изменяла ему; он с трудом припоминал имена побежденных им генералов, сбивался в изложении итальянской кампании (хотя ясно помнил турецкие войны), часто не узнавал окружающих. Разум его угасал. От слабости он иногда терял сознание и приходил в себя только после оттирания спиртом.

Через два дня после прибытия Суворова в Петербург император распорядился отобрать у него адъютантов. Лишь немногие осмеливались посетить умирающего героя. Время от времени наезжали с официальными поручениями посланцы Павла: узнав, что дни полководца сочтены, он проявил к нему скупое, лицемерное участие. Однажды император прислал Багратиона справиться о здоровье полководца. Суворов долго всматривался в своего любимца, видимо, не узнавая его, потом взгляд его загорелся, он проговорил несколько слов, но застонал от боли и впал в бредовое состояние.

Жизнь медленно, словно нехотя, покидала истерзанное тело. Неукротимый дух все еще не хотел признать себя побежденным. Когда Суворову предложили причаститься, он категорически отказался, не веря, что умирает; с большим трудом окружающие уговорили его. Приезжавший врач, тогдашняя знаменитость Гриф, поражался этой живучести. Как-то Горчаков сказал умирающему, что до него есть дело. С Суворовым произошла мгновенная перемена.

— Дело? Я готов, — произнес он окрепшим голосом.

Но оказалось попросту, что один генерал желал получить пожалованный ему орден из рук генералиссимуса. Суворов снова в унынии откинулся на подушки. По целым часам он лежал со сжатыми челюстями и закрытыми глазами, точно пробегая мысленным взором всю свою трудную жизнь. Древиц, Веймарн, Салтыков, Прозоровский, Румянцев, Репнин, Потемкин, Николев, Павел I, Тугут — длинная вереница жутких лиц, присваивавших его лавры, мешавших его победам, истязавших его солдат, являвшихся средостением между ним и народом, хотя все свое военное искусство он основал на тесной связи с народом. Однажды он вздохнул и еле внятно произнес:

— Долго гонялся я за славою. Все мечты!

На последней страшной поверке слава оказалась недостаточной платой за полную чашу горестей и за растроченные исполинские силы; а других результатов, иного оправдания прожитой жизни Суворов не мог отыскать в свой смертный час.

Но так сильна была в нем эта потребность, что он несколько раз повторял слова, написанные два месяца назад Хвостову: «Как раб умираю за отечество и как космополит за свет».

Смерть подступала все ближе. На старых, давно затянувшихся ранах открылись язвы; началась гангрена. Суворов метался в тревожном бреду. С уст его срывались боевые приказы. И здесь не покидали его призраки последней кампании. В забытьи, при последних вспышках своего воображения он исправлял ошибку австрийцев, осуществлял поход на Геную. В последнем иступленном усилии он прошептал:

— Генуя... Сражение... Вперед...

Это были последние слова Суворова. Он еще судорожно дышал, как всегда, в одиночестве ведя свою последнюю ужасную борьбу. В полдень 6 мая 1800 года дыхание прервалось на полу вздохе. В этот раз Суворов был действительно побежден.

В обтянутой черным крепом комнате водворили набальзамированное тело полководца. Вокруг были разложены на стульях все ордена и отличия. Лицо Суворова было спокойно; при жизни у него давно не видели такого выражения.

Весть о кончине Суворова произвела огромное впечатление. Толпы народа теснились перед домом Хвостова; многие плакали.

Державин, недавно воспевавший полководца:

Твой ли, Суворов, се образ побед?
Трупы врагов и лавры твой след...

теперь посвятил ему прочувствованное стихотворение «Снигирь».

Что ты заводишь песню военну.
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиенну?
Кто теперь вождь наш, кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстры! Суворов?
Северны громы во гробе лежат.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари.
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью Россиян все побеждать?

И он же выразил общее мнение в смелых строках:

Всторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся.
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

В армии воцарилась глубокая, безнадежная скорбь. Старые ветераны украдкой рыдали. Но приходилось таиться — дворянско-крепостническая павловская Россия мстила полководцу даже после его смерти. В официальном правительственном органе — «Петербургских Ведомостях» — не было ни единым словом упомянуто ни о смерти, ни о похоронах генералиссимуса.

Вопреки завещанию, Павел приказал похоронить тело Суворова в Александро-Невской лавре. Похороны были назначены на 11-е; император перенес их на 12 мая.

Аркадий Суворов разослал пригласительные билеты:

«Действительный камергер, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, с прискорбием духа, сообщает о кончине родителя своего, генералиссимуса князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, последовавшей сего мая 6-го дня во втором часу пополудни, и просит сего мая 12-го дня, в субботу, в 9 час. утра на вынос тела его и на погребение того же дня в Александро-Невский монастырь».

Густые толпы народа провожали останки полководца; почти все население Петербурга собралось здесь. Это не были праздные зеваки; по свидетельству очевидцев, на всех лицах была написана неподдельная

скорбь. И тем ярче бросалось в глаза, что в грандиозной торжественной процессии не участвовали ни придворные, ни сановники.

Воинские почести повелено было отдать рангом ниже: как фельдмаршалу, а не как генералиссимусу. В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

Павел I на похоронах не присутствовал. Он в это время производил смотр гусарам и лейб-казакам, был на вахт-параде, затем удалился в свои покои и только в 6 часов вечера, когда погребение давно закончилось, выехал на обычную прогулку по городу.

...Отгремели артиллерийские и ружейные салюты. Над тем, что было Суворовым, легла тяжелая каменная плита. Суворов-герой, столько раз бесстрашно глядевший в глаза смерти, и Суворов — человек своего века и своей страны, пугавшийся окриков фаворитов, окончил свой жизненный путь.

Окончилась «поэзия событий, подвигов, побед и славы», писал немного спустя Денис Давыдов и, вспоминая об ушедшем вожде, говорил: «Его таинственность, происходившая от своенравных странностей, которые он постоянно употреблял наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся задуманными «очертя голову»; его молниелетные переходы; его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках военных действий... все отзывалось... в России».

В анналах мировой военной истории долго будет жить имя полководца, больше чем кто-либо другой рассматривавшего победу не как плод доктринерских измышлений, а как искусство, как результат интуиции и расчета гения, опирающегося на воодушевленные народные массы. Советский народ никогда не забудет человека, который «положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение» и который в жестокий век себялюбивого, беспринципного угодничества произнес гордые слова:

— Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе своего отечества; мои успехи имели исключительной целью его благоденствие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПРИМЕЧАНИЯ

Апраксин, Степан Федорович (1702–1760) — в 1756 году был фельдмаршалом русской армии, в начале Семилетней войны. Одержал победу над пруссаками при Гросс-Эгерсдорфе, но не использовал ее, да и вообще проводил кампанию очень инертно, и под влиянием сторонников англо-прусской ориентации: великой княжны Екатерины Алексеевны (будущей императрицы) и канцлера Бестужева. Это послужило причиной смещения его Елизаветой и отдачи под суд; потрясенный Апраксин умер во время следствия.

Багратион, Петр Иванович (1765–1812) — князь, родом из древней грузинской фамилии. Любимец Суворова, Багратион в глазах армии был прямым продолжателем его деяний. Участвуя во второй турецкой войне, в польской 1794 года, в итальянском и швейцарском походах Суворова, Багратион неизменно проявлял крупный военный талант, стойкость и хладнокровие. «Он бывал там, где опасность больше и смерть ближе», — выразился о нем один историк. В 1805 году Багратион героически прикрывал отступление армии Кутузова, оказавшейся вследствие поражения австрийцев под Ульмом в критическом положении. В 1809–1810 годах командовал армией на турецком фронте. В 1812 году был назначен командующим 2-й армией, выдвинутой к Неману. Во время Бородинского сражения Багратион, сражавшийся наравне с солдатами в самом опасном пункте, был ранен осколком гранаты и через несколько дней скончался.

Бибиков, Александр Ильич (1729–1774) — принадлежал, по выражению Пушкина, «к числу замечательнейших лиц екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми». Выдвинувшись в Семилетней войне, он затем становится эмиссаром правительства по особо важным поручениям: жестоко усмирять волнения заводских крестьян на Урале, руководил составлением нового Уложения, умело проводя точку зрения Екатерины, и когда разрослось восстание Пугачева, был послан усмирять его. Сохранился анекдот, что вызванный для этой цели Бибиков, недовольный приемом Екатерины, привел ей слова народной песни: «Везде ты, сарафан, пригожаешься, а не надо сарафан, и под лавкой лежишь». Понимая классовый смысл Пугачевского восстания, Бибиков стал организовывать на борьбу само местное дворянство, но внезапно заболел лихорадкой и умер.

Бутурлин, Александр Борисович, граф (1694–1767) — один из

любимых денщиков Петра I, воевал против персов и с Минихом против турок. В 1760 году был назначен действовать против Фридриха II. Вследствие несогласованности действий с австрийцами не добился никаких результатов, за что попал в немилость. Однако вступивший в это время на престол Петр III, восторгавшийся прусским королем, оправдал все действия Бутурлина и восстановил его в должности московского генерал-губернатора. Бутурлин был мало образован и, например, совершенно не умел пользоваться картой, не различая на ней морей от суши.

Дерфельден, Вильгельм Христофорович (1735–1819) — происходил из эстляндских дворян. В 1754 году поступил на военную службу. Выдвинувшись в первую турецкую войну, получил чин бригадира. Во вторую турецкую войну, командуя дивизией, зарекомендовал себя как один из лучших боевых генералов русской армии. После Рымника Суворов — со свойственной ему, впрочем, склонностью к преувеличениям — сказал: «Честь не мне, а Вильгельму Христофоровичу; я только его ученик, ибо он поражением турок при Максимени и Галаце показал, как надо предупреждать неприятеля». Дерфельден участвовал во второй польской войне и в итальянской кампании, где должен был заменить Суворова в случае его смерти. Последние 20 лет жизни он провел в отставке.

Дюмурье, Шарль Франсуа (1739–1823) — был отправлен в Польшу в 1770 году в качестве французского комиссара. По возвращении из этой неудачной для него экспедиции получил другое назначение, неудачное выполнение которого привело его на длительный срок в Бастилию. Когда произошла революция, Дюмурье сразу примкнул к ней и в 1793 году был, при содействии Дантона, назначен командующим армией, которая одержала при нем победы над пруссаками («канонада» при Вальми) и над австрийцами (при Жемаппе). В дальнейшем Дюмурье решился восстановить военной силой конституционную монархию. Ввиду отказа солдат повиноваться ему в контрреволюционных замыслах, он бежал и после долгих скитаний поселился в Англии, где жил на пенсии правительства, помогая ему взамен советами в борьбе с Францией.

Косцюшко, Тадеуш (1746–1817) — изучал военное искусство в Варшаве и Париже, затем участвовал в войне Северо-Американских колоний против Англии. Большие военные способности сочетались в нем с высокими личными качествами. Взятый в плен пол Мацейовицами, он был перевезен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Павел I, сделавшись императором, вернул ему свободу. Тронутый этим, Косцюшко дал обещание никогда не обнажать шпаги против русских. Это обещание он сдержал: когда в 1812 году Наполеон звал его в свою армию, он ответил

отказом. Это решение, впрочем, было обусловлено и тем недоверием, которое Косцюшко испытывал к Наполеону. Умер Косцюшко в Швейцарии, упав с лошади.

Монтекукули, князь (1609–1681) — австрийский полководец, оставивший ряд ученых сочинений по военному делу. Так же как и Суворов, он поступил в армию простым рядовым, желая изучить быт солдат. В политических сферах весьма популярно было выражение Монтекукули: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги».

Мориц Саксонский (1696–1750) — маршал Франции, прославившийся своими победами над австрийцами. Ему принадлежит восторженно повторявшееся Суворовым изречение: «Тайна победы — в ногах». В 1732 году в течение тринадцати ночей Мориц написал трактат о военном искусстве — «Мечтания». Несмотря на безграмотность языка и выражений, трактат по идеям своим далеко опередил свой век. Фридрих II, ознакомившись с трактатом, воскликнул: «Этот маршал мог бы быть профессором всех генералов Европы».

Моро, Жан-Виктор (1763–1813) — после Бонапарта и Гоша лучший генерал, выдвинувшийся в годы французской революции. По вступлении на престол Бонапарта, был обвинен в заговоре против него, вследствие чего бежал в Америку. В 1813 году прибыл по приглашению Александра I в лагерь коалиции; предполагалось назначение его главнокомандующим союзными армиями. Однако во время Дрезденской битвы он был ранен и через несколько дней умер. Тело его было погребено в Петербурге.

Панин, Петр Иванович, граф (1721–1789) — начал военную карьеру под начальством Миниха, затем служил в Финляндии у сподвижника Петра I графа Ласси. Во время Семилетней войны состоял дежурным генералом при главнокомандующем Апраксине. По окончании войны выполнял ряд поручений (в частности, был членом суда над поручиком Миновичем, пытавшимся освободить из Шлиссельбурга Ивана VI). В 1769 году был назначен командующим армией на южном фронте и после осады и штурма взял г. Бендеры. Екатерина хотя и наградила его орденом Георгия 1-й степени, но отнеслась к нему сухо, будучи недовольна большими потерями и разрушением города. Это обстоятельство, а также продолжавшиеся трения с Чернышевым и Румянцевым побудили Панина выйти в отставку. Неприязнь к нему Екатерины усилилась и она даже повелела учредить за ним надзор.

Рост Пугачевского движения заставил Екатерину все же призвать Панина, которого она знала как способного и сильного характером человека. Восстание в это время уже исчерпало свои силы и вскоре

преданный своими товарищами Пугачев был доставлен к Панину; по словам Панина, «Пугачев отведал туг от моей распалившейся крови на его произведенные злодеяния несколько пощечин». Усмирение восстания производилось им чрезвычайно жестоко, но он был достаточно умен, чтобы провести некоторые экономические меры, облегчавшие положение крестьян.

С 1775 года Панин, вновь выйдя в отставку, не принимал более участия в государственных делах.

Платов, Матвей Иванович (1751–1818) — начал службу урядником, дослужился до высоких чинов и графского титула. Участвовал в войнах с Турцией при Екатерине II и в войнах, которые велись при Александре I. Особенную популярность приобрел Платов со времени войны с Наполеоном, когда он командовал Донским казачьим корпусом. В Англии был спущен корабль «Граф Платов», оксфордский университет присвоил Платову докторскую степень, не взирая на то, что он едва умел писать, и т. д.

Прозоровский, Александр Александрович (1732–1809) — князь, произведенный впоследствии (при Александре I) в фельдмаршалы. По оценке одного историка, это был «человек строгий и неподкупный, но талант, ограниченный настолько, что его хватит только для командования авангардом или отдельным корпусом». Даже эта характеристика военных дарований Прозоровского представляется чересчур лестной; что же касается «строгости», то не лишнее привести цитату из письма Потемкина к Екатерине, написанного в момент назначения Прозоровского главнокомандующим в Москву (1790): Потемкин написал императрице, что она «выдвинула из арсенала старую пушку, которая, несомненно, будет стрелять в назначенную ей цель, ибо своей не имеет, но зато может запятнать государыню кровью в потомстве».

Репнин, Николай Васильевич, князь (1734–1801) — в начале Семилетней войны вступил волонтером в армию Апраксина. В 1762 году был произведен в генералы и получил дипломатическое поручение к Фридриху II. Оттуда был переведен в Польшу в качестве эmissара Екатерины. В 1770 году, в начале войны с Турцией, был назначен в армию и успешно командовал авангардом под Ларгой и Кагулом. Затем он вновь выполняет ряд ответственных дипломатических поручений: заключение мира с Турцией, выработка военной конвенции с Фридрихом II и т. д. Во вторую турецкую войну начальствовал над Украинской армией. Одержав крупную победу под Мачиным, он заключил с турками прелиминарный мир. Екатерина весьма высоко ценила Репнина, но в 1792 году резко

охладела к нему. Причиной этого было подозрение Репнина в «мартинизме». Павел I, тесно связанный с Репниным, послал его в 1798 году за границу для заключения антифранцузской коалиции. Репнин принадлежит к числу наиболее образованных и добросовестных деятелей екатерининской эпохи. В то же время он был типичным баринем, высокомерным и чванливым. Суворов очень не любил Репнина, считая его своим соперником и врагом.

Румянцев, Петр Александрович, граф (1725–1796) — фельдмаршал, один из величайших военных деятелей XVIII века и вместе с тем один из крупнейших представителей агрессии крепостнической России. Под его начальством были одержаны блистательные победы при Ларге и при Кагуле, когда 23 тысячи русских разбили почти двухсоттысячную армию турок. С возвышением Потемкина, Румянцев, ставший к нему в глухую, но упорную оппозицию, несколько потерял свое значение. Суворов, имевший с Румянцевым, как и с другими своими начальниками, резкие столкновения, все же глубоко уважал его и даже называл себя иногда его учеником.

Салтыков, Петр Семенович, граф (1700–1772) — командуя русской армией в Семилетнюю войну, одержал с помощью австрийцев крупную победу над Фридрихом II при Кунерсдорфе (1759). Несмотря на бездарное, в остальном, ведение кампании, Екатерина высоко ценила Салтыкова, вплоть до 1771 года. Будучи вообще храбрым человеком, отмахивавшимся, по свидетельству очевидцев, от пуль хлыстиком, Салтыков, занимая в указанном году пост московского главнокомандующего, проявил в момент появления чумы полную растерянность и самовольно выехал в свое имение. «Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятие», — писала об этом Екатерина.

Суворов, Александр Аркадьевич — внук знаменитого полководца. Восемнадцати лет от роду поехал учиться в Париж, оттуда в Геттинген, где воспринял многие передовые идеи своего времени. Непосредственного участия в заговоре декабристов не принимал, но был связан с некоторыми из них. Когда его привели к Николаю I, тот театрально вскричал: «Не хочу верить, чтобы внук Суворова был злоумышленник» — и приказал прекратить дальнейшее следствие. Впоследствии А. А. Суворов достиг высокого служебного положения; в 1861 году он был петербургским генерал-губернатором и, когда возникли студенческие волнения, он своею властью смягчил многим студентам назначенные им наказания. Умер он в должности генерал-инспектора всей пехоты.

Тюрень, Анри де Латур д'Овернь (1611–1675) — внук Вильгельма

Оранского, начал военную деятельность в борьбе Нидерландов за независимость. В 1630 году перешел во французскую службу, участвовал в Тридцатилетней войне и, получив звание маршала, командовал французской армией. Затем воевал против испанцев и начал поход в Германию, где его противником был Монтекукули. В битве при Засбахе был убит. Тюрень заслуженно стяжал славу одного из величайших полководцев. Наполеон на острове Св. Елены продиктовал специальный анализ его походов, что он сделал еще только в отношении Юлия Цезаря и Фридриха II. Девизом Тюрени было: «Поменьше осад, побольше боев».

Фермор, Вилим Вилимович, граф (ум. в 1771 г.) — один из видных деятелей Семилетней войны. В 1759 году, отказавшись от главного начальствования над армией, остался однако в ее рядах. Суворов чрезвычайно высоко ценил Фермора как опытного и бескорыстного генерала — два качества, не часто встречающиеся среди высшего командного состава русской армии того времени.

II. ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИИ В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУВОРОВА

(Даты даны по старому стилю, в скобках — по новому стилю.)

- 1730 ноябрь 13 (24/XI 1730): Рождение.
- 1742 декабрь 22 (2/1 1743): Запись в Семеновский полк.
- 1747 апрель 25 (6/V 1747): Производство в капралы.
- 1748 январь 1 (12/1 1748): Начало действительной службы.
- 1749 декабрь 22 (2/1 1750): Производство в подпрапорщики.
- 1751 июнь 8 (19/VI 1751): Производство в сержанты.
- 1752 март 5 (16/III 1752): Командировка за границу.
- 1754 апрель 25 (6/V 1754): Производство в офицеры.
- 1754 май 10 (21/V 1754): Назначение поручиком в Ингерманландский полк.
- 1756 январь 1 (12/1 1756): Назначение обер-провиантмейстером.
- 1756 октябрь 28 (8/XI 1756): Назначение генерал-аудитор-лейтенантом.
- 1757 (1757): Назначение обер-провиантмейстером в Мемель.
- 1758 (1758): Производство в подполковники.
- 1758: (1758) Прибытие в армию (в Семилетнюю войну).
- 1759 декабрь 31 (11/1 1760): Назначение обер-кригскомиссаром.
- 1760 (1760): Назначение дежурным при Ферморе.
- 1761 (1761): Назначение начальником штаба в отряде Берга.
- 1761 август (1761): Назначение временно командующим Тверским полком.
- 1761 (1761): Сражения под Рейхенбахом, Гольнау, Нейгартеном.
- 1762 (1762): Возвращение в Россию.
- 1762 август 26 (6/1X 1762): Производство в полковники.
- 1763 май 6 (17/V 1763): Назначение командиром Суздальского пехотного полка.
- 1768 сентябрь 22 (3/X 1768): Производство в бригадиры.
- 1769 август (1769): Бой под Ореховым.
- 1770 январь 1 (12/1 1770): Производство в генерал-майоры.
- 1771 май 10 (21/V 1771): Сражение под Ланцкороной.
- 1771 сентябрь 12 (23/IX 1771): Сражение в Сталовичах.

1771 апрель 15 (26/IV 1772): Взятие Краковского замка.
1772 октябрь (1722): Выступление из Польши в Финляндию.
1773 апрель 4 (15/IV 1773): Назначение в первую (румянцевскую) армию.
1773 май 10 (21/V 1773): Первый поиск на Туртукай.
1773 июнь 17 (28/VI 1773): Второй поиск на Туртукай.
1774 январь 16 (27/I 1774): Женитьба на В. И. Прозоровской.
1774 июнь 10 (21/VI 1774): Сражение при Козлуджи.
1774 август 24 (4/IX 1774): Приезд к Панину (начало операций против Пугачева).
1774 октябрь 1 (12/X 1774): Доставка Пугачева в Симбирск.
1775 август 1 (12/VIII 1775): Рождение дочери Наташи.
1776 декабрь (1776): Приезд в Крым.
1780 январь 11 (22/I 1780): Назначение в Астрахань.
1781 декабрь 31 (11/I 1782): Перевод в Казань.
1782 октябрь 19 (30/X 1782): Приезд на Кубань.
1783 октябрь 1 (12/X 1782): Битва при Керменчике.
1784 апрель (1784): От'езд в Москву.
1784 (1784): Рождение сына Аркадия.
1784 (1784): Разрыв с женой.
1786 сентябрь 19 (30/IX 1786): Назначение в Екатеринославскую армию и производство в генерал-аншефы.
1787 август (1787): Приезд в Херсон (начало второй турецкой войны).
1787 октябрь 1 (12/X 1787): Сражение у Кинбурна.
1788 июль 27 (7/VIII 1788): Битва под Очаковым.
1789 июль 21 (1/VIII 1789): Сражение при Фокшанах.
1789 сентябрь 11 (22/IX 1789): Сражение при Рымнике.
1790 декабрь 11 (22/IX 1789): Взятие Измаила.
1791 июнь 25 (6/VII 1791): Назначение в Финляндию.
1792 ноябрь 10 (21/XI 1792): Перевод в Херсон.
1794 август 14 (25/VIII 1794): Выступление в Польшу.
1794 октябрь 24 (4/XI 1794): Штурм Праги.
1795 октябрь 17 (28/X 1795): Отозвание из Польши.
1796 март (1796): Выезд в Тульчин.
1897 февраль 6 (17/II 1797): Увольнение в отставку.
1797 май 5 (16/V 1797): Приезд в Кончанское.
1799 февраль 6 (17/II 1799): Вызов в Вену.
1799 март 14 (25/III 1799): Прибытие в Вену (начало итальянской кампании).

1799 март 24 (4/IV 1799): Выезд в армию.
1799 апрель 17 (28/IV 1799): Занятие Милана.
1799 июнь 7 (18/VI 1799): Сражение при Треббии.
1799 август 4 (15/VIII 1799): Сражение при Нови.
1799 август 28 (8/IX 1799): Выступление в Швейцарию.
1799 сентябрь 14 (25/IX 1799): Переход через Чортов мост.
1799 октябрь 19 (30/X 1799): Получение звания генералиссимуса.
1800 февраль 3 (15/II 1800): От'езд из армии в Петербург.
1800 апрель 20 (2/V 1800): Приезд в Петербург.
1800 май 6 (18/V 1800): Смерть Суворова.
1800 май 12 (24/V 1800): Погребение.

III. БИБЛИОГРАФИЯ

Печатные материалы

- Автобиография Суворова, сообщенная Голохвастовым, 1848 г.
Антинг Ф. — Жизнь и военные деяния генералиссимуса графа Суворова-Рымникского, в трех томах, 1799 г.
Анекдоты о Суворове, изд. Фуксом, 1827 г.
Алексеев — Суворов — поэт.
Биографический Русский Словарь, изд. Рус. Ист. Общ., 1912 г. —
Статья Д. Масловского «Суворов».
Бильбасов — История Екатерины II, в 2 томах. Берлин. 1896 г.
Бобровский П. — Суворов на Кубани, 1900 г.
Болотов А. — Записки в двух томах, 1871 г.
Брикнер — Потемкин-Таврический, 1891 г.
Булгарин Ф. — Суворов.
Васильев — Суворов, 1899 г.
Воспоминания суворовского солдата, изд. Масловским.
Геруа А. — Суворов — солдат, 1900 г.
Гейсман — Конец Польши и Суворов.
Глинка С. — Жизнь Суворова, им самим описанная, 1819 г.
Дубровин — Пугачев и его сообщники, т. I.
Дубровин — Суворов среди преобразователей Екатерининской армии, 1886 г.
Зуев — Суворов в 1799 г. (по австрийским источникам).
Ивашев — Записки о Суворове.
Исторический Вестник 1884 г. — Суворов в ссылке.
Исторический Вестник 1886 г. — Суворов в Кончанском.
Костомаров — Русская история.
Ключевский — Русская история (XVIII век).
Ключевский — Очерки и речи, сб. статей, т. II, 1918 г.\
Ковалевский М. — Генералиссимус А. В. Суворов.
Масловский Д. — Письма Суворова и Потемкина.
Масловский Д. — Записки по истории военного искусства в России, в 2 томах.
Милютин — История войны России с Францией в 1799 г... в 5 томах.

- Мышлиевский* — Две катастрофы.
Новицкий — Кучук-Кайнарджиевская операция.
Орлов Н. — Штурм Измаила.
Орлов Н. — Разбор действий Суворова в Италии в 1799 г.
Орлов Н. — Тактика Суворова.
Песковский М. — Суворов.
Порошин С. — Записки, 1881 г.
Письма и бумаги Суворова, из Суворовского сборника Императорской Публичной Б-ки, изданные Алексеевым, 1901 г.
Петрушевский А. — Генералиссимус Суворов, в 3 томах, 1884 г.
Полевой Н. — История Суворова, 1843 г Русский Архив 1866 г. — Письма Суворова.
Русский Архив 1871 г. — Жизнь Суворова в последние четыре года.
Русский Архив 1901 г. — Судьба Прошки по смерти Суворова.
Русская Старина 1900 г. — Письма Суворова.
Стремоухов и Симанский — Жизнь Суворова в художественных изображениях.
Симанский П. — Суворов (курс лекций).
«Суворов» — изд. кн. Голицына, в 2 томах.
Тактика в трудах военных классиков, 1926 г.
Энгельс Ф. — Избранные военные произведения, в 2 томах, 1936 г.
Guillaumanches Duboscage — *Precis historiques surle celebre Feldmarechal comte Souvorow*, a Hambourg 1808.
Klausewitz — *Die Feldzuge von 1799 in Italien und der Schweiz*, Berlin. 1858.

Рукописные материалы

Суворовский сборник. — 15 томов рукописных материалов; хранятся в Ленинградской Публичной Библиотеке. Цитированные в книге документы, заимствованные из этого сборника, в большинстве случаев публикуются здесь впервые.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Суворов на часах в Монтплезире. *Рисунок Тимма.*



Суворов. Гравюра А. Осипова (с неизвестного оригинала).



Румянцев. Гравюра Валькер с портрета Левицкого.



Генерал-фельдмаршал, князь Италийский, граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский.



Потемкин-Таврический. Гравюра Валькер с портрета Лампи.



Штурм Очакова 6 декабря 1788 г. Гравюра Бартч (1792) с картины Казановы.



А. В. Суворов (с гравюры на стали).



Тадеуш Костюшко (с литографии Ашенбреннера).



Генералиссимус князь Суворов (с литографии Греведока).



Флигель под названием «Полу домик» в с. Кончанском.



Светелка фельдмаршала Суворова в с. Кончанском на холме Дубихе.



«Суворочка» (портрет Наташи, дочери Суворова).



А. В. Суворов. С гравюры Уткина (1818), исполненной с портрета Шмидта (1800).

нов. гр. С. К. 218 ноября 1799 год.

27

(Последней моей Царюх Аркадий!

принимай жребия для истинности и воли
губительницы кони, воев. дитяе правде,
полагая менте правилата, воев поститий
хочутирнито иванский, устрелели праваче
время и просачи, воев себя вдобродителли,
всподв, воев воев: *Суворов*

Факсимиле письма Суворова сыну Аркадию.



А. В. Суворов (с редкой итальянской гравюры Лавинио).



Генерал Моро. Главнокомандующий французской армией в Италии в 1799 г. Гравюра Панье по рисунку Поке.



П. И. Багратион (с портрета Годби).



Сын Суворова Аркадий (1780–1811).



Суворов ведет русские войска для борьбы против Франции (С французской карикатуры 1799 г.)



Переход Суворова через Альпы. С картины Сурикова (масло).



Штурм с. Госпенталя 13 сентября 1799 г.



Переход Суворова через хребет Паникс.



Атака Чортова моста.



Маска Суворова.

notes

Примечания

1

Неотесанный самородок.

Записки А. Т. Болотова, т. I, стр. 98.

Записки Жихарева, стр. 388.

4

Совет штаб-офицеров полка, имевших решающее значение в полковых делах.

Между прочим, надо полагать, что опыт этих дежурств обусловил последующую нелюбовь Суворова к госпиталям и лазаретам, в которые он приказывал помещать только безнадежных.

В качестве примера стоит вспомнить известный эпизод с рублем, подаренным ему Елизаветой Петровной, который Суворов отказался принять, так как Караульный устав запрещал часовым брать деньги.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI, ч. 2, стр. 398.

Записка А. Болотова, 1871, часть VIII, стр. 18.

Кстати сказать, отец его был отозван Петром III еще раньше — за то, что, управляя завоеванными прусскими землями, он слишком соблюдал русские государственные интересы, чем вызвал страшное раздражение Фридриха.

Например, на состоявшихся в 1763 году маневрах Суворову поручили ответственную роль. Когда вслед за тем вышло описание маневров, его — единственного из штаб-офицеров — дважды отметили в нем.

Потоцким, Коссаковским, Зарембой, Красинским (братом Адама) и др.

Отрядами.

Да, таковы уж мы: без тактики а практики, а все же мы побеждаем наших врагов.

Имена его, заключавшие 6 тысяч душ крестьян, впо следствии были конфискованы и пожалованы Репнину. Репнин, однако, выдавал Огинскому пожизненно весь доход с конфискованных имений.

То есть, голова колонны. Смысл фразы тот, что авангарду надлежит атаковать, не дожидаясь подхода главных сил.

Академик Грот, например, полагал, что «тут все дело в словах: естественно, что такое помещение можно было назвать клеткою, хотя, конечно, и не была употреблена особая клетка, построенная с обыкновенным назначением».

Державин.

Ф. Актинг. «Жизнь Суворова-Рымникского», 1799, т. I, стр. 175.

Ногайцы, или ногаи — родственное татарам племя тюркской народности.

Сочтя момент подходящим, Суворов начал переселение до получения приказа от Потемкина, что тот ставил ему впоследствии в вину.

«Хромой генерал» — так турки прозвали Суворова. Как-то он наступал на иголку, она сломалась у него в пятке, в он начал прихрамывать.

Впрочем, цифра эта, может быть, преувеличена. По этому поводу вспоминается правдоподобный анекдот о Суворове, который, на вопрос ад'ютанта, сколько убитых турок указать в реляции, ответил: «Пиши как можно больше, что их жалеть, ведь это басурманы».

Однофамилец князя Таврического.

Начальниками отрядов были: де Рибас, Самойлов, Павел Потемкин.
Начальниками колонн: Кутузов, Львов, Ласси, Мекноб, Безбородко, Платов,
Чепега, Арсеньев, Марков.

Рукописный Суворовский сборник, т. IX.

Конец Польше!

Накануне штурма Вавжецкий отправил из Варшавы 11 тысяч человек на второстепенный участок войны.

Мир! Мир!

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X, стр. 38.

Намечалась армия численностью в 51 тысячу человек.

Рукописный Суворовский сборник, т. X.

Приводим в выдержках, в редакции 1796 года.

Ключевский. Очерки и речи, II сборник статей.

Восхитительный принц, неумолимый деспот!

Рукописный Суворовский сборник, т. X.

Рукописный Суворовский сборник, т. X.

«Русский Архив», 1866 г.

Дата перепутана. Речь идет, очевидно, о 1780 году. — К. О.

Имеется в виду сражение под Кинбурном. — К. О.

Рукописный Суворовский сборник, т. X.

Личность Аркадия Суворова заслуживает того, чтобы посвятить ей несколько строк. Вот как описывает его П. Х. Граббе, встречавшийся с ним в 1809 году: «Князь Суворов был высокого роста, белокурый, примечательной силы и один из прекраснейших мужчин своего времени. С природным, ясным умом, приятным голосом и метким словом, с душою, не знавшею страха ни в каком положении, с именем бессмертным в войсках и в народе, он был идолом офицера и солдата. Воспитание его было пренебрежено совершенно. Он, кажется, ничему не учился и ничего не читал. Страсть к игре и охоте занимала почти всю его жизнь и в конце расстроила его состояние. Но таковы были душевная его доброта и вся высокая его природа, что невозможно было его не уважать и еще менее не полюбить его».

В тех же чертах рисует Аркадия Суворова другой современник, принц Гиртембергский: «...Его знали за смельчака и человека горячего, который уцелел до сих пор только благодаря непонятному счастью... Охарактеризовать его можно было бы названием добродетельного развратника... Почти невероятно, какое множество сумасбродных проказ натворил молодой Суворов в течение своей кратковременной жизни, но в каждой из них проглядывала в то же время черта его добросердечия».

Сам Аркадий Суворов говорил про себя, что его можно сравнить с одною из тех женщин, которые стараются извлечь из жизни все, что она в состоянии дать им.

Его недюжинные военные способности, в соединении со славным именем, обеспечивали его карьеру: в 1809 году он уже командовал дивизией. В 1811 году, во время русско-турецкой войны, он переправлялся через небольшую речку Рымну (на берегах которой его отец одержал знаменитую победу). Неожиданно коляска его опрокинулась. Видя, что не умеющий плавать кучер пошел ко дну, Аркадий бросился спасать его, но не совладал с течением и утонул.

После него осталось четверо детей, из которых наибольшую известность приобрел сын его Александр.

По словам французского писателя Gulllaumanches-Duboscage'a, непринятое письмо содержало якобы разрешение переменить местожительство.

Первая колонна марширует.

Все происходившие в России события датированы по старому стилю. Пребывание Суворова за границей датируется, начиная с этого места, новым стилем.

Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.

Павел прислал его и вскоре вслед затем Аркадия Суворова, чтобы «учились побеждать врагов». С великим князем приехал Дерфельден, имевший поручение заменить Суворова в случае его смерти и ставший правой рукой главнокомандующего.

Клаузевиц отозвался о нем, что оно «сильно пахло турецким театром войны, на котором сражения большею частью не имеют другой цели, кроме взаимного избиения».

Небезынтересно, что некоторые иностранные писатели так отзывались об этом беспрецедентном переходе: «Кажется, тактический порядок перехода не заслуживал похвалы» (!).

«В заключение мы должны обратить самое серьезное внимание на влияние, которое оказал дух Суворова на события этого дня. В том пункте, где он появлялся, союзники одерживали решительную победу, даже если они не обладали никаким превосходством сил. Напротив того, Мелас всегда испытывал слабости, и этих слабостей было бы у него еще больше, если бы не близость Суворова» (Клаузевиц, «Кампания 1799 г. в Италии и в Швейцарии», Берлин. 1858 г., стр. 409).

Суворов окрестил Моро «генералом славных ретирад».

Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.

Наступайте! Всегда наступайте!

Мелас предположил, что Суворов хочет овладеть Генуей для России, и в этом смысле послал донесение Тугуту.

Перепало и верному Прошке: он получил от короля Сардинии две медали за заботы о господине.

Pycco.

Рукописный Суворовский сборник, т. XI.

Александр и его отец Филипп — македонские цари, знаменитые полководцы древности (IV век до нашей эры), Баярд — французский военачальник XVI века, идеал «рыцарских» качеств, остальные имена также принадлежат известным полководцам.

Замечательное отступление.

К тому же, ему было известно, что через Сен-Готард не давно прошли французские войска.

Рукописным Суворовским сборник, т. XI.

Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.

К этому моменту приурочен распространенный рассказ, будто солдаты отказались идти на врага и тогда Суворов велел рыть себе могилу. Это досужий анекдот и в то же время грубый поклеп на русских солдат, которые в невероятно тяжелых условиях швейцарского похода ни разу не дрогнули и не поколебались.

Необычайная энергия натиска, а также недостаточно четкая организация обороны французами привели к тому, что потери русских были в этот раз невелики и даже меньше, чем потери французов.

Характерно, что состоявший в армии Суворова австрийский генерал Ауфенберг не был приглашен на совет.

В Муттене были оставлены больные и раненые: 600 русских и тысяча пленных французов.

Из 20 тысяч человек, выступивших в Швейцарию, в Иланц пришли 15 тысяч. Они привели с собою около 1500 пленных французов, которые вынуждены были разделять с суворовской армией все лишения.

Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.

Рукописный Суворовский сборник, Т. XIV.

Кроме корпуса принца Конде, перешедшего на английскую службу.

Кроме Суворова, звание генералиссимуса имели в России: Меншиков (при Петре I) и принц Антон Брауншвейгский, отец не царствовавшего императора Иоанна VI.

Начиная отсюда, даты указаны вновь по старому стилю.

Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.

Рукописный Суворовский сборник, т. XI.